

АНДРЕЙ АМАЛЬРИК

РАСПУТИН

Источник: Андрей Амальрик, “Распутин”, Документальная повесть; Ф. Юсупов, “Конец Распутина”, Воспоминания.

Издания книжной редакции советско-британского совместного предприятия Слово/Slovo, Москва, 1992.

OCR и правка: Александр Белоусенко (belousenko@yahoo.com), 26 июня 2004.

Библиотека Александра Белоусенко — <http://belousenkolib.narod.ru>

Выражаем благодарность Гуверовскому фонду,
предоставившему возможность А.Амальрику
работать над книгой о Г.Распутине

Работа А. Амальрика посвящена жизни и деятельности Г. Распутина. Автор обстоятельно рисует общественно-политическую обстановку времени, нравы царской семьи, прослеживает духовную эволюцию Распутина, его отношения с высшими лицами России. К сожалению, А. Амальрик не успел довести повествование до конца. Поэтому публикация А. Амальрика дополняется воспоминаниями князя Ф. Юсупова, организовавшего убийство Г. Распутина незадолго до Февральской революции.

ISBN 5-85050-272-6 © Гюзель Амальрик 1993.

В трагической истории последних десятилетий старой России фигура Григория Распутина неизменно притягивает к себе внимание профессиональных историков и писателей, всех, кто пытается разобраться в той цепи событий, которая в конечном итоге привела к крушению монархии и к Октябрьской революции. Вполне понятно поэтому, что Андрей Амальрик, много думавший над судьбами нашей страны, тоже обратился к распутинской теме.

Это был большой труд, потребовавший от автора и увлеченности работой, и кропотливости. Он собрал практически все, что было напечатано о Распутине у нас в стране и за ее пределами, использовал неопубликованные материалы, осевшие после исхода первой

эмиграции в американских архивах.

Почти все, вспоминая о Распутине, делятся на две части — яростно его ненавидевших и восторженно его боготворивших. И от тех, и от других не приходится ждать правдивого описания человека, почти десять лет простоявшего рядом с тронем, человека, чья судьба неразрывно слилась с судьбой последних Романовых. Одной из целей, которые А.Амальрик ставил перед собой, и было разобраться, каким же был Распутин на самом деле, отбросить преувеличения его поклонников и ненавистников, написать портрет Распутина без «клубнички», так пышно цветущей во многих популярных романах. Много внимания, естественно, уделяет А.Амальрик Николаю II и Александре Федоровне. И здесь он стремится написать объективный портрет людей, самым своим положением оказавших очень большое влияние на судьбы России в ее последние предреволюционные десятилетия. А. Амальрику чужд тот «обличительный» тон, которым долго грешила советская литература. В то же время он свободен и от ностальгического монархического мифа, давно распространенного в эмигрантской литературе, а теперь все чаще выплескивающегося на страницы и наших изданий. Было бы очень кстати, если бы его книгу прочли те, кто поддался ныне обаянию этого мифа. Надеюсь, она подействует на них отрезвляюще. Наконец, рассказ о Распутине закономерно побудил А. Амальрика посвятить ряд страниц выяснению версии о «хлыстовстве» Распутина и в связи с этим вообще религиозным исканиям начала века. В наше время, когда вопросы религии снова вызывают широкий интерес, эта сторона книги А.Амальрика тоже, безусловно, может привлечь читателей.

К сожалению, А.Амальрик не успел дописать свою книгу. Чтобы довести биографию Распутина до конца, в этом издании печатаются и воспоминания Феликса Юсупова, одного из убийц «старца». Воспоминания были написаны в годы, когда русская эмиграция сводила счеты — либералы видели причину падения царизма в неуступчивости Николая, крайне правые — в действиях либералов, своей оппозицией расшатавших трон. Скрещивались копыта и вокруг убийства Распутина, что и вызвало к жизни юсуповские мемуары. Юсупов очень о многом молчит. Представитель богатейшего дворянского рода, женатый на племяннице Николая, он был желанным гостем во всех великокняжеских и великосветских домах и хорошо знал настроения их хозяев. С другой стороны он приходился по матери племянником председателю Думы М.В.Родзянко и мог быть осведомлен о том, что думает «дядя Миша». Этих сюжетов Юсупов избегает, слишком горячи они были в момент создания мемуаров. Но о самом убийстве Распутина никто не мог рассказать больше, чем князь Феликс. И хотя и здесь достаточно много недоговоренного, его воспоминания — основной источник сведений для историков, в этом их ценность.

Но, разумеется, главное в томе, который предлагается читателю, это исследование А.Амальрика. Сразу должен оговориться, что я не во всем согласен с автором. Но каждый имеет право на собственное мнение.

Первый вопрос, который встает перед каждым, кто задумывается над влиянием Распутина на Николая и Александру Федоровну, звучит так: как же могло случиться, что простой крестьянин, независимо от его личных качеств, смог так высоко вознестись и «ходить по гостиным лучше, чем другой царедворец»? Ответ на этот вопрос лежит в изучении не личности Распутина, а эволюции самодержавной власти на рубеже XIX-XX вв.

Власть неограниченного монарха огромна. Он по своей воле назначает и смещает министров и других высших чиновников, предписывая им, какую политику проводить. Взгляды и вкусы царя оказывают большое влияние на официальную идеологию. В таких условиях личность царя имеет важнейшее значение и периодизация истории по царствованиям — не только пережиток дворянской историографии. Время Петра I, Елизаветы или Екатерины II — реальные понятия с конкретным содержанием. В XIX-XX вв. существенные повороты во внутренней политике России совпадают с восшествием на престол нового царя. Но власть неограниченного царя далеко не неограниченна. Его свобода действий стеснена

бюрократической системой управления, с одной стороны, и придворным церемониалом — с другой.

Чем сложнее и разнообразнее становилась жизнь страны, тем многочисленнее и разветвленнее становилась и армия управлявших ею чиновников, тем большее влияние приобретала высшая бюрократия. В конце концов неважно, как возникала та или иная идея. Она могла прийти в голову самому царю или ее подсказывал какой-нибудь доверенный, но не облеченный властью человек. Для того чтобы стать законом, идея должна была пройти через бюрократическую машину, быть рассмотрена в Комитете министров или в Государственном Совете. На утверждение царя предлагалось два мнения — большинства и меньшинства. Царь мог утвердить любое, но даже то, которое исходило из внесенного по указанию «сверху» предложения, могло после согласования с разными ведомствами и ранее существовавшими законами во многом отличаться от первоначального проекта. Самодержец должен был либо подписывать закон, не вполне согласованный с его пожеланиями, либо требовать нового рассмотрения, отдаваясь на милость бюрократической волокиты.

Конечно, царь мог пресечь любые возражения, безапелляционно заявив: «А я решительно другого мнения» (как это не раз делал Александр II). Но, во-первых, признание неограниченности самодержавной власти царя сочеталось в умах самых лояльных его верноподданных с убеждением, что царь морально должен прислушиваться к «голосу земли» и к своим советникам. С этим приходилось считаться, и грубоватый Александр III согласился, например, изменить одну из своих резолюций, когда государственный секретарь А.А.Половцов стал ему объяснять, что резолюция обидна для Государственного Совета и министров. Во-вторых, с усложнением экономической и политической жизни царь все чаще оказывался перед проблемами, в которых он был не в силах противопоставить свое мнение позиции министра. Времена, когда, согласно легенде, Николай I по линейке прочертил на карте трассу железной дороги между Петербургом и Москвой, минули. При обсуждении финансовых дел Николай II иногда мог лишь тоскливо спрашивать С.Ю.Витте, а почему, собственно, нельзя поступить так, как хочет он.

Управление государством с каждым царствованием требовало от монарха все больше времени и сил. Надо было выслушивать и читать всеподданнейшие доклады министров, журналы заседаний Государственного Совета и Комитета министров, отчеты губернаторов и множество других бумаг, вникать в суть вопроса, писать резолюции или просто делать какие-то указания на полях. Пусть такая резолюция нередко подсказана кем-то, стоящим рядом, в его аргументацию тоже надо вслушаться. Погрязая в рутине повседневных государственных забот, царь все больше становился хотя и самым большим, но одним из колес бюрократической машины. И ощущение этого било по самолюбию самодержца всероссийского и хозяина земли русской.

Жизнь двора и особенно царствующей четы была подчинена жесткому церемониалу. «Рутинная, — вспоминал последний главноуправляющий е.и.в. канцелярией по принятию прошений В.И.Мамантов, — играла большую роль в строе придворной жизни, все делалось по давно заведенному шаблону и никаких отступлений от раз принятого не допускалось». Специальные правила определяли, кто и по какому случаю может быть принят во дворце или сопровождать царя во время поездок. Каждый визит фиксировался в камер-фурьерском журнале. По средам по случаю нового назначения Николаю представлялись все, получавшие должности от командира полка и равной ей в гражданской службе. Высшие чины представляются поодиночке, остальные чехом. У Николая отменная память на лица, но кроме фразы «представляюсь по случаю назначения на...» визитеру некогда сказать что-либо еще. Не больше возможности перемолвиться словом во время больших приемов и торжественных выходов, где расписано каждое движение. Когда-то Николай I, его жена и дочери ездили на великосветские балы и даже в маскарады. Постепенно стало считаться, что царям зазорно наносить визиты подданным. Только к родне, но отношения с ней у Николая II и Александры Федоровны не заладились.

Писать прямо царю кроме родственников тоже могут только высшие сановники, причем лишь по делам, им подведомственным. Когда Н.П.Балашов, обер-егермейстер и член Государственного Совета, в декабре 1916 г. прислал Николаю письмо, посвященное ситуации в стране, Александра Федоровна возмущалась: «У него такое высокое придворное звание, и он смеет писать, когда его о том не просят!». Всепопданнейшие адреса разных организаций, не говоря уже о прошениях и письмах частных людей, шли в Канцелярию прошений и в Министерство внутренних дел. Подавляющая часть их до царя вообще не доходила. В принципе это неизбежно, нельзя же занимать время царя всей этой почтой. Но тем самым МВД и Канцелярия прошений получали право решать, что именно из написанного ему узнает царь.

Отчасти Николай и Александра Федоровна прятались за церемониалом от неприятных им новых явлений, вторгавшихся в жизнь страны. Так, Николай не хотел допускать к царским выходам по случаю 100-летия Бородинской битвы и 300-летия дома Романовых членов нелюбимой Государственной Думы, ссылаясь на то, что в церемониале, составленном до 1906 г., Дума, естественно, не упоминается. Но в большей мере он их тяготил. Поэтому так дорожили они «маленьким домиком» Вырубовой у Царскосельского парка, где можно было встретиться с немногими друзьями или с тайными посетителями без всевидящего гофмейстерского ока.

Усиливающаяся изоляция царствующей четы, отчасти вызванная характерами Николая и Александры Федоровны, а в большой мере заформализованностью их жизни, все время побуждала Николая искать способ получать информацию неофициальным путем, от людей, далеких от бюрократии и придворной среды. Вот здесь появлялась та щель, сквозь которую в царское окружение мог проникнуть посторонний. Каким будет этот посторонний, тоже зависело не только от личных склонностей Николая.

60-80-е гг. XIX в. показали, что путь европеизации, на который Россия вступила со времен Петра, неизбежно ведет к отказу от неограниченного самодержавия. Это был магистральный путь развития человечества, вызывавший, однако, резкое отторжение всех сторонников идеи национальной исключительности России. Тем не менее время Александра II было временем своеобразного бюрократического конституционализма, когда проекты создания крайне ограниченных, но все же представительных учреждений разрабатывались крупнейшими министрами царствования. Резкий поворот во внутренней политике с приходом Александра III положил конец таким проектам, но одновременно исподволь набирает силу либерально-конституционное движение в обществе, опирающееся в первую очередь на дворянское в своем большинстве местное самоуправление — земство. Особенно заметным это движение стало уже при Николае II, в первой же публичной речи назвавшем надежды на более широкое участие земства в делах внутреннего управления «бессмысленными мечтаниями».

Но растущим конституционным настроениям нужно было противопоставить некий идеальный образ самодержавной монархии, в поисках которого идеологи самодержавия обращались к допетровской Руси. Монархия времен Алексея Михайловича (не случайно и долгожданный наследник Николая II был назван Алексеем) изображалась как время единения царя — помазанника Божия — с православной церковью и с народом, не отделенных друг от друга бюрократическим «средостением». Личные качества Николая, с детства воспитанного в атмосфере почитания допетровской старины и самого искавшего в ней противовеса реальной действительности европеизирующейся России, создавали условия для расцвета культа «доброе старое время». Это проявлялось и в имитации при дворе обычаев и нравов XVII в. как самим Николаем (костюмированный бал в этом стиле в феврале 1903 г. рассматривался им не как маскарад, а как первый шаг к восстановлению старомосковских костюмов и обрядов), так и наиболее ревностными его сторонниками вроде министра внутренних дел Д.С.Сипягина. Это находило выражение в распространении, еще со времени Александра III, псевдорусского стиля в архитектуре, особенно церковной.

Безусловная религиозность Николая тоже хорошо работала на образ «народного царя». Впервые после полувекового перерыва пасхальные торжества 1900 г. были проведены в Москве с участием царской семьи, и в правительственном отчете специально подчеркивалось, что Николай прибыл в Москву «по священному завету родной старины». Мистические наклонности Николая и Александры Федоровны, их непрестанные поиски чудотворцев тоже совпадали с определенными религиозными исканиями конца XIX в. и одновременно вписывались в идеологические схемы защитников самодержавия. В 1903 г. по настоянию Николая и Александры Федоровны была осуществлена канонизация почитаемого многими Романовыми монаха первой половины XIX в. Серафима Саровского, считавшегося в народе чудотворцем. На канонизации присутствовала царская семья и около 150 тысяч верующих. Это дало основание газете крайне правых «Московские ведомости» утверждать, что вокруг святых мощей собралась «вся Земля Русская» и «это такое представительство, перед внушительностью которого блекнут все всевозможные всенародные голосования». Меньше всего я хотел бы быть понятым так, словно считаю публичные оказательства Николаем и Александрой Федоровной их религиозных чувств притворством и политическим расчетом. Но каждый шаг главы государства неизбежно приобретает политический смысл и используется в политических целях, как бы искренен сам по себе он ни был.

Непосредственное участие в религиозных и юбилейных торжествах, привлекавших множество крестьян, еще сохранявших монархические чувства, не только укрепляло веру последних Романовых в любовь и преданность народа, веру, всегда составлявшую один из основных постулатов самодержавной идеологии. Оставаясь по существу царем дворянским и последовательно отстаивая интересы дворянского землевладения, Николай в то же время испытывал к дворянству сложное чувство. В литературе, в том числе в книге А.Амальрика, постоянно отмечается напряженность отношений Александры Федоровны и не принявшего ее великосветского общества, что не могло не отразиться и на позиции Николая. Кроме того, он был явно задет участием дворянства в либерально-конституционном движении до и во время революции 1905 г. Неприкрытая обида звучала в письме Николая к матери в марте 1908 г. «Теперь, когда стало спокойнее, — писал он, — дворянство начало жаловаться на разные нововведения и реформы, — но спрашивается, как и чем оно помогло правительству в страшную осень 1905 г. Ровно ничем». При таком настроении абстрактная идея единения царя с народом просто требовала живого воплощения не только в эпизодических встречах во время тех или иных массовых торжеств или в телеграммах и адресах «Союза русского народа». Если обстоятельства могли сложиться так, что в царском окружении оказался бы чуждый придворным сферам человек, то наибольшими шансами на успех обладал «богомольный крестьянин». Чудотворные же способности резко увеличивали такие шансы.

Но, опять-таки, слишком велико расстояние от «простого мужика» до царя, чтобы в нормальных обстоятельствах его можно было пройти. Требовалась в той или иной мере разделявшая мистические искания царской четы среда, в которую было легче попасть, чем ко двору, прежде чем с чьей-то помощью сделать последний шаг. Такая среда была, причем в том самом великосветском и великокняжеском кругу, связи с которым у Николая и Александры Федоровны, естественно, сохранялись. Неортодоксальная религиозность и мистицизм всегда находили своих адептов в России, но особенно много их оказывалось в кризисные, переломные эпохи. Рубеж XIX-XX вв. безусловно был такой эпохой. Чудом державшийся режим нуждался в чудесах и чудотворцах.

Вот теперь достаточно было епископа Феофана, вел. князя Николая Николаевича, его жены и жены его брата — «черногорок» Станы и Милицы, чтобы продвинуть Распутина к трону, тем более что последствий этого никто заранее предвидеть не мог. Люди, выдвигавшие Распутина, ошиблись в представлениях о масштабе его личности. Они надеялись получить марионетку, авантюриста, гонящегося за жирным куском с царского стола и готового отрабатывать за этот кусок тем, кто посадил его за стол. Они получили умного, хитрого, по-крестьянски практичного и не чуждающегося всех житейских благ, которые дает близость к

трону, но главное — независимого и властолюбивого человека, готового прислушиваться к советам, но не собирающегося играть роль исполнителя чужой воли.

На что же была направлена собственная воля Распутина? Здесь начинаются мои разногласия с А.Амальриком, хотя, конечно, я ни в коей мере не претендую на обладание истиной в последней инстанции. Для А.Амальрика Распутин — «сибирский странник, говоривший о любви и никому не хотевший зла» (с.121), человек, которого чуть ли не силком вовлекали в политику те, кто пытался его использовать или на него нападал, а особенно сами царь и царица, желавшие, чтобы он «поглядел душу» того или иного сановника (с.179). С такой оценкой мне трудно согласиться. Сам же А. Амальрик выделяет первые годы знакомства Распутина с Николаем и Александрой Федоровной как «безоблачный период его жизни, когда он как бы само собой занял место царского советника и конфиденанта, за которое остальные годы должен был жестоко бороться» (с.107). Вот — жестоко бороться! Почему бы ему, любвеобильному страннику, не уйти в сторону, когда именно этого требовали со всех сторон, когда близость к трону грозила самой его жизни? Но он боролся, говоря о любви и не гнушаясь далекими от нее средствами. Для того, чтобы так себя вести, нужно очень любить власть или быть глубоко убежденным, что ты свыше призван к этой власти и не вправе от нее отказаться. В глубокую внутреннюю убежденность Распутина, как и в глубокую его привязанность к Николаю и даже Александре Федоровне мне поверить трудно. Перечитайте в этой книге многочисленные неуважительные высказывания его о царе, описания демонстративно грубых, на публику, телефонных разговоров с Царским Селом (даже если это инсценировки), вспомните о письмах Александры Федоровны и царевен, которые из его рук попали к Илиодору. Допустим, половину всего этого безобразия можно списать на некультурность, хотя как не припомнить об умении проявлять, когда нужно, и сдержанность, и благолепие. А ведь А.Амальрик строго придерживается по отношению к Распутину презумпции невиновности и отбрасывает самые возмутительные примеры как вызывающие сомнение.

Большое внимание уделяет А.Амальрик политическим взглядам Распутина.

Противники Распутина, — а историческая литература в основном опирается на их свидетельства, — как правило, отказывают Распутину в существовании у него политических взглядов. Разница заключается в том, что одни вследствие этого вообще преуменьшают воздействие Распутина на политическую жизнь, а другие ищут его тайных руководителей, его «штаб». К числу последних относится, например, и Феликс Юсупов. «Моему воображению, — пишет он, — рисовался чудовищный заговор против России, и в центре его стоял этот „старец“, волею неумолимого рока или игрою несчастного случая ставший опасным орудием наших врагов». Он вспоминает о разговоре с Распутиным, в котором-де тот упоминал о своих таинственных руководителях, называя их «зелеными» или «зелененькими» (с.292). Правда, чуть позже он описывает встречу Распутина с предполагаемыми «зелененькими», во время которой Распутин, «небрежно развалившись, ... сидел с важным видом и что-то им рассказывал» (с.299). Не очень-то похоже на разговор с руководителями или даже их посланцами. Юсупова можно понять: он, монархист и родственник царя, оправдывал свое участие в убийстве, ему надо было подчеркнуть, что оно задумывалось как акт защиты страны и династии. Другие авторы, тоже писавшие о «штабе Григория Ефимовича» (вроде французского посла Мориса Палеолога), как правило, просто хотели произвести впечатление людей более осведомленных, чем это было в действительности. Но материалы полицейского наблюдения и свидетельства близко знавших Распутина людей не дают оснований выделить из его непрерывно менявшегося окружения какой-либо руководивший им «штаб». Два директора Департамента полиции, очень близко стоявший к Распутину С.П.Белецкий и его преемник Е.К.Климович, считали, что для Распутина и его окружения не существовало идейных побуждений и речь шла только об «извлечении личных выгод». На показаниях этих двух людей в большой мере держится историческая традиция.

А.Амальрик с нею не согласен. Он доказывает, что «в сущности каждый политик —

„самоучка“, порой необходимо как можно более упрощенно интуитивно схватывать сущность проблемы — чем в более сложные детали входить, тем труднее будет принять решение» (с.178). По его мнению, Распутин, «пройдя через все слои русского общества от деклассированного „дна“ до верхушки аристократии», получил достаточную широту взгляда для такого интуитивного постижения сущности проблем (с.178), а потому определенные политические взгляды, хотя и не сведенные «в законченную систему», у него были (с.179).

Абстрактно говоря, с такой постановкой вопроса трудно спорить. Но какое же политическое исповедание веры Распутина «как лоскутное одеяло, по кусочкам, отрывкам» (с.179) собрал и представил читателю А.Амальрик?

Основа этого исповедания — «царь и народ» (с.179). Распутин -сторонник "сильной самодержавной власти, способной защитить «слабых» от «сильных» (с.181). «Он своим мужицким инстинктом понимал, что России нужна — самодержавная или какая угодно — но сильная власть, способная много переделать по-новому, в частности покончить с земельной аристократией» (с.182). В итоге он отнесся отрицательно к столыпинской реформе как к попытке сохранить дворянское землевладение и «был недоволен тем, что Дума не смогла или не сумела решить земельный вопрос в интересах крестьян», «накануне революции поддержал проект принудительного отчуждения помещичьих земель» (с.180). Дума, по его мнению, «выражала только интересы привилегированных классов» и «народная вера в царя представлялась Распутину более стабильным фактором, чем надежды на Думу» (с.181-182). Он считал, «что один царь лучше будет управлять Россией, чем пятьсот помещиков, заводчиков, попов и профессоров» (с.222).

Таковыми словами Распутин думать не мог. Но не вносит ли автор вместе со словами и мысли? Сноски к книге потеряны, и не всегда можно понять, насколько заслуживает доверия источник, использованный в данном месте А.Амальриком. Под проектом принудительного отчуждения подразумевается, очевидно, предложение генерала П.Г.Курлова одновременно с роспуском Думы объявить о дополнительном наделении крестьян землей. А это наделение предлагалось провести, не трогая помещичьи владения, за счет земель, отнятых у немцев-колонистов. Припугнуть помещиков принудительным отчуждением А.Д. Протопопов предложил уже после убийства Распутина. Сомнительно и стремление Распутина «покончить с земельной аристократией». Как собирался это сделать сторонник «классового мира» (с.180)? Остается вера в самодержавие и неприязнь к Думе. Разве для того, чтобы защищать при дворе такие взгляды, надо было с кем-то «жестоко бороться»?

Но, говорит А.Амальрик, у Распутина свои, особые представления о самодержавии. В то время как Александра Федоровна понимала формулу «царь и народ» как «народ для царя», Распутин, подобно Витте, его «единственному союзнику среди государственных деятелей» (с.177), истолковывал эту формулу как «царь для народа» (с.179). Тему «Распутин и Витте» придется оставить в стороне, несмотря на неоднократное подчеркивание А.Амальриком близости их политических взглядов. Во-первых, это все-таки несопоставимые фигуры — крупнейший государственный деятель, изощренный политик и полемист и необразованный крестьянин, лишь интуитивно постигающий суть проблемы в первом приближении. Во-вторых, взгляды Витте так сложны, что здесь нет места для даже упрощенного их изложения. Пути Витте, мечтавшего вернуться к власти, и Распутина действительно пересекались. Я тоже считаю, что некоторые идеи Витте могли запастись в память Распутина (например, устойчивая нелюбовь к Англии, недаром человеколюбивый «старец» так радовался гибели фельдмаршала Китченера). Но формула «царь для народа» явно не из круга понятий Витте, да и правильность такой трактовки того, что А.Амальрик считает политическими взглядами Распутина, не кажется мне доказанной.

А.Амальрик подчеркивает демократизм Распутина. «Царь и мужик протянули друг другу руки поверх голов привилегированного общества, вот что пугало», — пишет он (с.122). Но ведь сам А.Амальрик подчеркивает, что Распутин вели наверх «национально-консервативные

круги» (с.51). Для них как раз надо было изобразить, будто царь и мужик протянули друг другу руки, это входило в тщательно создаваемый образ «народного царя», монарха допетровского времени. Другое дело — вот тут А.Амальрик совершенно прав, — что Распутин оказался неуправляем и, сколько бы ни относить соответствующие свидетельства на счет преувеличений противников, достаточно «неблаголепен». Именно потому у либеральной оппозиции оказывалась удобная возможность использовать близость Распутина ко двору для критики режима. Именно потому часть сторонников режима хотела сначала удалить «старца» от двора, а потом и убрать любым способом.

Существует понятие «черносотенный демократизм». Главный его отличительный признак — сочетание монархизма с неистребимой крестьянской тягой к помещичьей земле. Возможно, она была и у Распутина. Только проявить ее в общении с Николаем он не мог. Ощущая недостаток доказательств, А.Амальрик поворачивает свою мысль в другую сторону: Распутин «был демократом не в смысле социального и имущественного уравнивания, но признания ценности каждой личности и ее права на независимое существование — все равны перед Богом и царем» (с.181). Все равны перед царем — это опять из самодержавного мифа о Московской Руси. Что же касается ценности каждой личности — то о Распутине ли это? Его методы «смирения гордыни» поклонниц об уважении к личности не свидетельствуют. А.Амальрика ввели в заблуждение религиозная терпимость Распутина (естественная для человека, ушедшего от ортодоксального православия) и отсутствие у него узкого национализма. Это действительно так. Но в целом и после ссоры с Гермогеном и Илиодором распутинские политические симпатии оставались в черносотенном стане. Просто в этом стане было много грызшихся между собой группировок и Распутин под конец жизни сблизился с московским Отечественным патриотическим союзом, возможно потому поддержавшим последнего любимца Распутина — А.Д.Протопопова.

Из каких бы кусочков и отрывков ни составляли мы лоскутное одеяло политического исповедания Распутина, в нем не будет ничего, кроме приверженности самодержавию в самой общей форме. Поэтому, — и вот здесь А.Амальрик совершенно прав, — «главной причиной растущего распутинского влияния становилась его способность внушать царю и царице уверенность в себе... и санкционировать их действия именем Бога» (с.103). Что же касается конкретных политических советов, то он пользовался подсказками то тех, то других более сведущих в делах государственного управления людей. И, начиная от Гермогена, многим из них забредала в голову мысль — не убрать ли ставшего, как им казалось, ненужным посредника. Так что «жестоко бороться» Распутину приходилось не за какое-то свое видение единения царя с народом, а просто за место возле царя.

Распутину была нужна власть. Не над государством — над душами людей. И чем более высокое положение занимал человек, тем больше хотелось властвовать над ним Распутину. Кроме того, он имел все основания полагать — он жив, пока его защищают царь и царица. Поэтому Распутину были важны не оттенки во взглядах людей, которых он рекомендовал на высокие посты, а их отношение к нему. Его вмешательство в государственные назначения представляло собой, по наблюдениям П.Н.Милюкова, «попытки взять политику в руки лично доверенных лиц, исключая вообще даже политические стремления, а просто вследствие постепенно растущего чувства небезопасности и потребности некоторой самообороны». Но потребность Распутина в самообороне оказывалась, по сути дела, политической платформой, заставлявшей Александру Федоровну придавать при подборе высших сановников все большее значение их готовности не просто мириться с существованием Распутина, но и «слушаться, доверять и спрашивать совета» у него. Это увеличивало самоизоляцию династии даже от тех, кто хотел ее спасти.

Конечно, Николай был обречен. История не фатальный, но закономерный процесс, и не так уж часто останавливается она перед выбором пути, как это думается некоторым сейчас. Время неограниченного самодержавия, давно миновавшее в Европе, кончалось и в России. И чем больше Николай пытался стать поперек дороги неизбежному, тем больше он его

приближал. Это не значит, что все обязательно должно было случиться в феврале 1917 г. Дело ускорила война. Но война тоже была неизбежностью. Не Распутин не дал начаться ей в 1912 г., как это думает А.Амальрик, зря доверившись воспоминаниям Вырубовой (с.185). И не смог бы Распутин остановить мировую войну. Ее готовили и Антанта, и центральные державы. Предлог нашелся бы. А война означала революцию в России, это видели многие уже тогда. И все-таки, цепляясь за Распутина, не понимая, какое впечатление, неважно даже — справедливо или несправедливо, производит этот «сибирский странник» рядом с российским тронem, Николай и Александра Федоровна, пусть ненамного, еще больше приблизили свой конец.

* * *

Почему я так много полемизирую с уважаемым мною автором, которого сначала преследовали, потом замалчивали, а теперь, наконец-то, издают на родине?

Русская история обладает той особенностью, что разговор о прошлом неизбежно выводит на споры сегодняшнего дня. В последнем абзаце, который А.Амальрик успел написать в этой книге, есть слова: «Страну могло спасти сильное правительство, готовое к кардинальным изменениям, она имела слабое правительство, не желавшее ничего менять» (с.234). Вряд ли А.Амальрик, задавший когда-то вопрос, доживет ли СССР до 1984 г., не думал над ним и тогда, когда писал о весне 1916 г. Так что пафос этой фразы понятен — призыв к переменам. Но в том, как формулировал А.Амальрик отношение Распутина к проблеме «царь и Дума», мне послышалось столь неожиданное для автора предпочтение «сильной власти» парламенту. Может быть, я ошибся. Но спор о сильной власти и демократии сейчас слишком важен, чтобы промолчать.

Конечно, для реформ нужно сильное правительство. Но без парламены тоже сильного и независимого — оно не сделает ничего. Потому что без парламента оно может совсем не там и не так применить свою силу. Вера в то, что «один царь лучше будет управлять Россией, чем пятьсот помещиков, заводчиков, попов, профессоров», уже один раз привела страну к краху. Сейчас наши молодые парламены делают свои первые шаги. Они совершают массу ошибок, изобретая давно изобретенные велосипеды, вместо того чтобы посмотреть Наказ Государственной Думы. Они не научились еще выделять группы единомышленников, отстаивающих общую линию. Российская анархичность — родное дитя насильственного единомыслия — тормозит принятие спешных решений. Все это болезни роста, которые нужно как-то пережить. Но нельзя снова допускать в массовое сознание мысль, будто можно обойтись без «пятисот кооператоров, арендаторов, юристов, экономистов» или как там еще будут обзывать наши парламены те, кому они придутся не по душе.

А.Амальрик писал свою книгу, когда парламента в СССР еще не было. Поэтому он взывал к сильной власти, предлагая ей начать кардинальные перемены. Давайте пойдем его только так.

В. С. Дякин

Как жена покойного Андрея Амальрика — историка и писателя, считаю своим первым долгом поблагодарить генерального директора Григория Ерицяна и всех сотрудников СП «Слово», которые подготовили к печати эту книгу. Хочу также выразить признательность архивному институту имени Гувера «Война и Мир» в городе Стамфорде (штат Калифорния, США), который в 1978 году предоставил моему мужу возможность в течение года работать над необходимыми материалами по предреволюционной истории России. Работа в институте содействовала рождению этой книги о Распутине.

Надо сказать, что в Свердловской тюрьме Андрей сначала задумал другую книгу — книгу о первом русском террористе Нечаеве. Работая в Гуверовском институте, мой муж имел возможность приступить к расследованию дела Нечаева, но неожиданно наткнувшись на интересные материалы, касающиеся загадочной личности Распутина, отложил книгу о Нечаеве и решил сначала написать о Распутине. Увы, внезапная гибель в автомобильной катастрофе оборвала жизнь моего мужа, и ему так и не удалось закончить оставшиеся главы о последних днях жизни Распутина.

В заключение я желаю всем серьезным читателям, а их в России много, проанализировать этот предреволюционный период России и сделать правильные выводы, чтобы нынешняя Россия не вверглась снова в пучину анархии, хаоса и разрушающую, кровавую революцию, приведшую затем к истребительной и бессмысленной войне, стоившей России 20 миллионов жизней. Нельзя повторять подобных ошибок.

Я желаю, чтобы Россия вышла наконец из мрачного тупика к свету, как возрожденный из пепла феникс. Да поможет ей Бог.

Гюзель Амальрик

Глава I

РАСПУТНИК СТАНОВИТСЯ СТРАННИКОМ

Село Покровское, где родился Григорий Распутин, лежит на левом берегу Туры, притока Тобола. Пейзажи Западной Сибири ровны, бескрайни и унылы, реки вяло текут между плоских берегов в сторону севера, бесконечно тянется болотистая тайга. Несмотря на болота, климат — жаркий летом и холодный зимой — очень здоров. Знаю это, так как бывал в этих местах дважды: в ссылке на Оби и в тюрьме на Урале.

Вопреки распространенной легенде, «Распутин» не было прозвищем, данным Григорию за распутный нрав, ту же фамилию носил и его отец, и многие в Покровском. Вообще в русских селах все в сложном родстве, и у нескольких семей одна и та же фамилия. Как давно переселились Распутины в Сибирь и когда и почему прозвались Распутиными, я не знаю. Быть может, от «распутья» — развилки дорог: Покровское лежало на тракте между Тюменью, уездным городом, и Тобольском, губернским. Быть может, от «распуты» — мудрого человека, способного распутать сложную проблему. Быть может, от распутывания «пут» ремней, которыми связывают передние ноги коням во время пастьбы, мне самому в Сибири приходилось неоднократно путать и распутывать коней. Быть может, от «распутства» — ибо человеческая природа несовершенна. Во всяком случае фамилия досталась Григорию уже готовой, он впоследствии официально получил другую — но «Распутин» так и осталось за ним.

Вопреки другой распространенной легенде, Григорий Распутин родился не в 1871 или 1872 году, но на восемь лет раньше. По словам приходского священника, он начал странствовать с 1892 года, а по его собственным словам — с двадцати восьми лет. По словам его дочери, ему в 1904 году было около сорока лет. В предисловии к его книге, изданной в 1915 году, сказано, что «сейчас старцу пятьдесят два года». По этим косвенным подсчетам, Распутин родился в 1863 или 1864 году, а по данным следственной комиссии Временного правительства — в 1864 или 1865 году.

«Во знамение союза членов церкви земной с членами церкви, торжествующей на небесах» наречен он был по имени Св. Григория Нисского (335-394), по проискам ариан лишенного

епископского сана. Св. Григорий Нисский поминается 10 января, в русских деревнях обычно ребенка называют по имени святого, «память которого совершается или в день рождения, или в день наречения имени, или в день крещения, или в восьмой день по рождении!» Так что скорее всего Григорий Распутин родился в январе 1864 года.

Распутины были люди крепкие, душевнобольных в семье не было. Но мать Григория, Анна Егоровна, умерла рано, возможно при родах, во всяком случае ни в одном из описаний жизни Распутина в Покровском я не нашел ни слова о ней. Отец, Ефим Андреевич, «работящий и юркий старикашка», дожил до конца 1915 года: по рассказам односельчан, «пил он сильно водку» — но «ее же и монаси приемлют». Был он мужик не бедный, имел восьмикомнатную избу, двенадцать коров, восемь лошадей и занимался ямщицеством. Покровское считалось богатым селом, вообще сибиряки не знали скученности и бедности европейской России, не знали крепостного права и отличались чувством достоинства и независимостью.

Когда Григорию было двенадцать лет, его старший брат Михаил умер от воспаления легких, после того как они оба, купаясь в Туре, чуть не утонули; других братьев и сестер у него не было. Для впечатлительного мальчика быть на грани гибели и видеть смерть близкого сверстника было сильным переживанием. Не знаю, научился ли он читать и писать — корявыми каракулями — в детстве или в зрелые годы. Иногда зимними вечерами его отец читал вслух Евангелие — величайшая драма человеческой истории разворачивалась перед крестьянским мальчиком, вера, любовь, измена, лицемерие, несправедливость, властолюбие и бремя власти, страдание, жестокость, грех и искупление, поэзия и правда — кто сам слышал или читал Евангелие в детстве, может представить его силу для души, склонной к принятию чуда.

По рассказам Григория дочерям, он в детстве обладал ясновидением: всегда знал, если кто-то из его товарищей что-то украл и куда спрятал, потому сам никогда не крал, думая, что и другие так же будут знать о нем; когда в деревне пропала лошадь, он указал на укравшего ее мужика. Сам он очень любил лошадей, говорил, что знает их язык — и они охотно ему подчинялись! В целом же жизнь его едва ли отличалась от жизни обычного деревенского мальчика. По показаниям односельчан, рос он грязным и нечистоплотным, «так что сверстники иначе не называли его, как сопляком», а с пятнадцати лет начал пить водку. Показания эти, впрочем, давались недоброжелателями и перед следователем, заинтересованным собрать компрометирующие Распутина материалы.

Девятнадцати лет Григорий женился на Прасковье Федоровне Дубровиной, светловолосой и черноглазой девушке из соседнего села, которую он повстречал на празднике в Абалахском монастыре, и ввел ее в дом своего отца. Она была на четыре года старше мужа, но брак их, несмотря на полную приключений жизнь Григория, оказался счастливым — во всей многочисленной антараспутинской литературе я не нашел ни одной жалобы жены на мужа, напротив, она всегда защищала его, он же постоянно заботился о ней и детях.

До женитьбы и после Григорий занимался обычной крестьянской работой в хозяйстве отца. «Много в обозах ходил, много ямщичал и рыбу ловил и пашню пахал, действительно это все хорошо для крестьянина», — пишет он в своем «Житии опытного странника». По словам односельчан, натура у Распутина была буйно-разгульная, гонял он лошадей в пьяном виде, любил подраться, сквернословил — женитьба его не остепеняла. «Вытул», а то «Гришка-вор» звали его за глаза, — пишет А.Сенин. — Сено украсть, чужие дрова увезти — было его дело. Шибко дебоширил и кутил... Сколько раз бивали его; вытаскивали в шею, как надоедливую пьянчугу, ругавшегося отборными словами. Поедет, бывало, Григорий за хлебом либо за сеном в Тюмень, — воротится домой, ни денег, ни товару: все прокутил".

Утверждают, что в юности Распутин был конокрадом. В действительности есть только одно сомнительное свидетельство. «Я поймал Григория на краже у меня остожья... — показывал Е.А. Картавец, крестьянин старше Распутина на полтора десятка лет. — Ударил его колом

настолько сильно, что у него из носа и рта ручьем потекла кровь и он, потеряв сознание, упал на землю. Сначала я подумал, что его совсем убил, а когда он стал шевелиться, то я его... повел в волостное правление. После кражи жердей у меня с выгона была похищена пара лошадей... Лошадей этих в ночь кражи караулил я сам лично и видел, что к ним подъезжал Распутин со своими товарищами... Сейчас же после этого я пошел... проверить, дома ли Распутин. Последний на следующий день был дома, а товарищей его дома не оказалось...» Картавцев настаивал перед обществом на высылке Распутина в Восточную Сибирь — крестьянский сход имел право ссылать своих односельчан. По приговору общества, однако, выселили только двух его товарищей — против Григория улики не нашли.

«А скорбей было мне, где бы какая сделалась ошибка, будто как я, а я вовсе не при чем». — пишет сам Распутин. Думаю, однако, что свидетельства о кражах его и буйствах хотя и преувеличены, но верны. Русская деревня не отличается почтением к тому, что «плохо лежит», по пословице «не за то отец бил, что крал, а за то, что попался». По семейным преданиям, дед моей матери был конокрадом, да и сам я в ссылке в Сибири крал колхозные дрова, чтобы не умереть от холода.

Такой жизнью, переходя от крестьянского труда к крестьянскому разгулу, прожил Григорий до двадцати восьми лет. В 1892 году отправился он в Верхотурский монастырь Екатеринбургской губернии — и вернулся через три месяца совсем другим человеком: бросил пить, курить, есть мясо, стал сторониться людей, много молиться, учился читать по-церковнославянски. Вернулся в село он ненадолго, через месяц отправился в новое паломничество.

Ходил Григорий в Верхотурье якобы вместо отца, который дал обет идти туда пешком, но выполнять его не торопился. По теории самого Ефимия Андреевича — наиболее прозаической из всех — сын его сделался паломником из лени, чтобы избежать тяжелого крестьянского труда. По теории Матрены Распутиной, старшей дочери Григория, — теории более поэтической и основанной на его собственном рассказе — ему было в поле видение Казанской Божьей Матери, после чего он последовал указанным ею путем: на месте, где было видение, Григорий поставил деревянный крест.

Односельчане считали, что Распутин отправился в монастырь на время скрыться от следствия волостного суда о краже жердей; по мнению самого Картавцева, Григорий Распутин и стал таким «странным» после того, как он ударил его колом по голове. Другие полагали, что решающее влияние на Григория оказала беседа с монахом Милетием (Заборовским), впоследствии епископом Барнаульским и Томским, которого он отвозил из Покровского в Тюмень. Наконец, сильное впечатление на Григория могли оказать рождение и смерть первого сына: он родился на девятый год брака и через шесть месяцев умер.

Быть может, долгое бесплодие жены способствовало разгульной жизни Григория — а незаконное рождение сына и его смерть вызвали чувство вины и толкнули его на богомолье. Впоследствии Прасковья Федоровна родила ему троих детей: сына Дмитрия в 1894 году, дочь Матрену в 1897-м и дочь Варвару в 1900-м. Но произошло это, когда Григорий бывал дома только наездами, странствуя то по нескольку месяцев, а то и по нескольку лет.

Перелом в Распутине был несомненен. Встретивший его дорогой из Верхотурья односельчанин Подшивалов вспоминает, что «возвращался он тогда домой без шапки, с распущенными волосами и дорогой все время что-то пел и размахивал руками». Другой односельчанин, Распопов, говорит: «На меня в то время Распутин произвел впечатление человека ненормального: стоя в церкви, он дико осматривался по сторонам, очень часто начинал петь неистовым голосом». Такое же впечатление Распутин произвел и на Сенина пятнадцать лет спустя: он «раньше священнослужителей является в храм Божий, встает на клирос и молится. Быстро, быстро и истово крестится и резко взмахивает головой, бьет лбом в землю, лицо и губы его при этом искривляются, зубы оскалываются, как будто он дразнит

кого-то невидимого и хочет укусить, жестикулирует руками и вертит головой во все стороны, оглядывается при поклонах на молящихся и вращает глазами».

Со времени первого паломничества у Григория навсегда остался какой-то надрыв, движения стали порывисты, нервное возбуждение чередовалось с депрессией, речи были отрывисты и бессвязны, порой с заиканием. Он «с трудом подыскивает слова, лицо его при этом передергивается, глаза блуждают и как бы стараются уловить в воздухе ту фразу, которая выразила бы его мысль», — пишет Сенин. «Ни одной фразы он никогда не произносил ясной и понятной. Всегда отсутствовали либо подлежащее, либо сказуемое, либо и то, и другое. Поэтому точно передать его речь абсолютно невозможно, а записанная дословно она не может быть понята», — вспоминает князь В.Н.Шаховской, знавший Распутина последние годы его жизни.

Что бы ни было последней причиной или причинами для Григория начать новую жизнь, почва для этого готовилась постепенно: с юности задумывался он иногда над вопросами «вечными», над вопросом смысла жизни, не умея достаточно ясно сформулировать и понять, что мучает его. «Пахал усердно, — пишет он, — но мало спал, а все ж таки в сердце помышлял, как бы чего найти, как люди спасаются». В двенадцати верстах от Верхотурья, в Пермских лесах, жил схимник старец Макарий, у которого Григорий провел большую часть своего трехмесячного паломничества и которого всю жизнь считал своим учителем. Здесь, по приказу старца, изнурял он свое тело долгими молитвами и постом, чтобы закалить неокрепший дух. Он рассказал Макарию о своем видении, и тот, сказав, что Бог избрал его для великих дел, отправил Григория с паломничеством в Святую землю.

Побывав еще у двух северных схимников — Ильи Валаамского и Адриана Кыртымского, Распутин со своим другом Михаилом Печеркиным отправился в Афон, а оттуда в Иерусалим. Большую часть пути прошли они пешком, Печеркин остался в Иерусалиме, а Распутин вернулся в Россию — и всю ее исходил за десятилетие. Был в Киеве, Троице-Сергиеве, на Соловках, в Валааме, Сарове, Почаеве, в Оптиной Пустыни, в Нилове, Святых Горах, во всех местах, сколько-нибудь знаменитых своей святостью.

«Много путешествовал и вешал, т.е. проверял все жизни, — пишет Григорий, — паломничеством мне пришлось переносить нередко всякие беды и напасти, так приходилось, что убийства предпринимали против меня... и не один раз нападали волки, они разбегались, и не один раз нападали хищники, хотели похитить и обобрать, я им сказал, что не мое, а все Божие, вы возьмите у меня — я вам помощник, с радостью отдаю. Им что-то особенно скажет в сердцах ихних, они подумают и скажут: откуда ты и что такое с тобой? Я сей человек, посланный, брат вам и преданный Богу. Теперь это сладко описать, а на деле-то пришлось пережить». Он, однако, вынес отрицательное впечатление о монастырской жизни, найдя в ней много лицемерия, смутило его, в частности, сожитительство монахов с женщинами. Поделился он сомнениями со старцем Макарием, и тот якобы сказал: «Не удалось спасти душу в монастыре — спасай в миру».

Обычно летом Григорий возвращался в Покровское, «по-прежнему жал, косил наравне с женой и стариком-отцом, а как только кончалось время полевых работ, он брал палку, одевался странником и уходил в монастырь». Только один раз исчез он из дому на целых два года, по-видимому, в 1901-1903 годах. Возвращения его были праздником для жены и детей, дети особенно любили слушать его рассказы о путешествиях, о святых старцах. Но он предавался с детьми и простым забавам: играл с ними в мяч, катал на тележке и учил сына, как обращаться с лошадьми.

В своем дворе Распутин вырыл яму, где устроил молельню — «вдруг проникла во мне, — пишет он, -...что вот сам Господь не избрал царские чертоги, а выбрал себя ясли убогие... Мне, недостойному, пришло в голову достигнуть, взял выкопал в конюшне — вроде могилы — пещерку, вот я там уходил между обеднями и заутренями молился... Так продолжалось лет

ВОСЕМЬ».

Иногда из паломничеств он возвращался с двумя-тремя странницами, а постепенно вокруг него сложился кружок почитателей из односельчан — Николая Распопова, Николая Распутина, Ильи Арапова, Екатерины и Авдотьи Печеркиных; число «братьев» с годами особенно не увеличивалось, число же «сестер» росло.

"Раньше братья выпивали и песни мирские пели, а как уверовали в Григория, все бросили. Живут трезво, мирно, скромно, замечательно трудолюбивы и с помощью Григория построили себе новые хорошие домики... Все «сестры»... девицы, дочери зажиточных родителей. Намеревались они для спасения души в монастырь идти, да остановились у Григория, тут и «спасаются».

Работают по полевому и домашнему хозяйству, ведут себя скромно и тихо, платочки на голове навязывают, точно монашенки, низко кланяются, неукоснительно посещают службы церковные и обращаются с посторонними смиренно, по-монастырски. Слушаются они Григория и подчиняются ему беспрекословно, с благоговением и, видимо, с большой охотой... Живут они у Григория с согласия родителей", — пишет Сенин, но тут же замечает, что выглядят они «бледными, испитыми, а приходят для спасения свежими, цветущими», и рассказывает о двух девицах Дубровиных, которые, по словам односельчан, умерли из-за «издевательств Григория». Прочитав это, Распутин раздраженно заметил: «Видишь... Теперь я уже убийца... А бедненькие скончались от чахотки... От болезни... Она ведь приходит без спроса».

«Несть пророка в своем отечестве», да и слава о буйных похождениях Григория была еще свежа, чтобы большинство односельчан приняло его всерьез, над его чудачествами смеялись и за глаза называли «святой» или «Гришка». По селу поползли слухи, поддерживаемые местными батюшками, что перед каждым сборищем у Распутина сестры Печеркины моют его в бане, переносят затем в дом, где все поют духовные стихи и пляшут — но проверить это не удавалось. Катя и Дуня Печеркины оставались при Распутине до последних дней его жизни. Когда в 1910 году газеты писали, что у него гарем из двенадцати красивых девушек, рассказывает Г.Л.Сазонов, один газетчик «поехал сам на Покровское, чтобы своими глазами увидеть и описать гарем... Оказалось, в доме Григория издавна проживали две девицы, его родственницы... Означенные девицы ради Бога умоляли разрешить им приехать в Петербург, дабы подвергнуться какому угодно медицинскому освидетельствованию, т.е. они девственницы».

Сенин, относящийся к Распутину скорее критически, в 1907 году был у него на одном подобном сборище: «Все чинно расселись по местам, и началось пение. „Братья“ и „сестры“ под руководством Григория начали: „Спит Сион и дремлет злоба, спит во гробе Царь Царей“. Выходило стройно, гармонично и красиво... Создавалась таинственно-благоговейная атмосфера, точно в храме... Тонкие женские голоса печально и нежно переливались, им глухо и грустно аккомпанировали басы. Мирное, спокойное настроение создавалось в душе, и становилось жаль чего-то, жаль до бесконечности...»

Глава II

ВЕСЕЛИЕ ВО ГОСПОДЕ

Подчинение Константинопольскому патриарху и веротерпимость татар позволили русской православной церкви в годы татарского владычества (XIII-XIV века) играть независимую от светской власти роль. Флорентийская уния и захват турками Константинополя прервали связь

с греками, хотя поставить русского патриарха удалось лишь сто лет спустя. После распада Золотой Орды и Византии московские князья стали смотреть на себя как на фактических преемников татарских ханов и формальных — византийских императоров. Процесс «обрусения» церкви и «огосударствления» России изменил отношения между церковью и государством.

К началу XVI века два течения боролись внутри церкви — «иосифлян», во главе с игуменом Волоцкого монастыря Иосифом Саниным, и «нестяжателей», во главе со старцем Нилом Сорским. Поддерживать государство и пользоваться его поддержкой — такова была цель «иосифлян»; «нестяжатели» считали, что князьям нечего советоваться с умершими для мира иноками, но и пастыри не должны «страшиться власти». «Иосифляне» настаивали на казни еретиков; «нестяжатели» говорили, что церкви подобает действовать лишь убеждением и молитвой. «Иосифляне» видели «благочестие» в пышной утвари, стройном пении, преданности «букве» — «всем страстям мати мнения»; «нестяжатели» стремились к внутреннему устройению души, духовному деланию, не чужды были и «мнению», т.е. критическому подходу к Писанию. «Иосифляне» полагали силу церкви в богатстве монастырей; «нестяжатели» считали, что имущество следует раздавать нищим.

Взгляд «иосифлян» был понятней: аскетическая византийская церковь и языческое русское общество несколько веков шли навстречу друг другу, чтобы сойтись именно на обрядности, на освященных традицией и овеянных красотой формах, малиновом звоне, сладкоголосом пении, долгих церковных стояниях, строгих постах, старого письма иконах, драгоценных ризах. Тем более ожидаемо было, что на сторону «иосифлян» стало государство — оно не тронуло монастырских земель, чего боялся Иосиф Волоцкий, но постепенно поглотило самую церковь, чего боялся Нил Сорский.

Победой «иосифлян» первый шаг к подчинению церкви государству был сделан. Но был сделан — хотя и подавленный — шаг в сторону «духовного делания», толкования Евангелия, живой проповеди. «Обрусение» церкви и победа «старины» оказались непрочными — в середине XVII века возникло в церковных кругах течение, стремящееся сблизить паству и пастырей не путем обрядов только, но путем проповеди, возникло сомнение в «благочестии» многих русских обрядов и богослужебных книг как явно расходящихся с греческими.

Сомнения эти патриархом Никоном разрешены были с русской решительностью — заменой многих обрядов и исправлением, а то и новым переводом богослужебных книг. Эта реформа повела к расколу, не только положив начало делению русских на «западников» и «славянофилов», но и сделав государство окончательным арбитром в делах церкви. Встав на сторону Никона против «раскольников», царь Алексей затем заменил его более послушным Иоасафом. Следующий шаг был сделан Петром, в начале XVIII века заменившим патриарха Синодом — коллегией высших церковных иерархов, назначаемых самим государем на время, с «обер-прокурором» в роли его представителя. Царь превратился в главу как светской, так и церковной власти, а Россия — в теократическое государство.

Далеко не все русские приняли новую церковь. Ни в народе, ни в западническом «образованном обществе» не прекращались поиски более глубокой и независимой от власти веры. Образованный класс качнулся в сторону «вольтерьянства», «безбожных сочинений анциклопедистов», и в XIX веке «атеизм» стал исповеданием значительной части интеллигенции. Но параллельно шли и религиозные поиски — «общество» интересовалось то масонством, то католичеством, то протестантством, то мистическим сектантством, то сектантством рациональным, то принималось за составление собственных учений, а к концу XIX века возникло религиозно-философское движение за реформу православной церкви. В религиозно-философском обществе в Петербурге, где собирались писатели и философы вместе с иерархами церкви, Василий Розанов заговорил об «одухотворенности плоти», а Дмитрий Мережковский об «оплотнении духа». Все эти искания — в форме более упрощенной — захватывали и светские и обывательские круги.

Для народа дух религиозного протеста нашел прежде всего выход в «старообрядчестве». Отход старообрядцев от официальной церкви — или отход церкви от старых обрядов — и преследование старообрядцев государством повели к их дальнейшим расколам — на тех, кто желал сохранить традиционную структуру церкви, и тех, кто в ожидании скорого конца света ее отрицал. Начались «беспоповщина», самосожжение, воздержание от брака, ожидание в гробах Судного дня. Последние времена, однако, все не наступали, явился Антихрист в мир «чувственно» или только «духовно», было неясно, старообрядчество постепенно отказывалось от крайностей, но работа народному сомнению была дана.

Рубеж XVII-XVIII столетий был началом русского сектантства. Последователи отдельных сект были в России и раньше, главным образом под влиянием из Литвы и Швеции, но при склонности массы к обрядовой стороне религии учения их до поднятого расколом брожения отклика не получили. Первой русской рационалистической сектой — то есть основанной на разуме как посреднике и судьбе Откровения — были «евангелисты». Из их учения, что «человек есть живая церковь», был уже путь к «христианству духовному», имевшему подготовленную почву. Состояние, при котором человек чувствует себя во власти нечеловеческой воли, видит образы и произносит бессвязные слова, давно было известно русскому язычеству, в деревнях «пророки» и «пророчицы» тряслись, падали и кликушествовали. Объяснялось это силой дьявола, однако с конца XVII века некоторые «пророки» стали уверять, что говорят они «от Духа Святого».

Первой и наиболее известной русской мистической сектой — то есть основанной на эмоционально постигаемом Откровении — были «Божьи люди», как они сами себя называют в противоположность «мирским», или «хлысты» — прозвище, данное им «мирскими». Скорее всего «хлысты» — искаженное «Христы», ибо они считали, что Христос может воплотиться в каждом из них. Секта возникла на Верхней Волге, в местах, где шла проповедь самосожжения, быть может, из одного из направлений «беспоповщины», на что указывает двуперстное знамение и восьмиконечный крест у «хлыстов».

По учению «людей Божьих», Господь впервые сошел на землю в Риме и Иерусалиме насадить веру христианскую, вера сияла много лет, затем триста лет падала, пока не появился «Антихрист от монашеского чина» и окончательно не истребил ее. Люди заспорили, по каким книгам спастись: по старым или по новым, костромской крестьянин Данила Филиппович разрешил спор, бросив все свои книги в реку — для спасения нужна одна книга:

Книга золотая,

Книга животная,

Книга голубиная,

Сам сударь Дух Святой.

Стали «Божьи люди» молить Бога снова сойти на землю, и вот в Стародубской волости, в Егорьевском приходе, на гору Городину «сокотил среди облаков на огненной колеснице сам Господь Бог Саваоф и вселился в пречистую плоть Данилы Филипповича». Патриарх Никон сразу же посадил Данилу Филипповича в темницу, но тогда настала тьма на всей земле — и его выпустили. Вернувшись домой в Кострому, дал он двенадцать заповедей: 1. Я тот Бог, который пророками предсказан, другого Бога не ищите. 2. Нет и не ищите другого учения. 3. На чем поставлены, на том и стойте. 4. Храните заповеди Божьи и будете ловцами вселенной. 5. Вина и пива не пейте, блуда не творите. 6. Холостые не женитесь, женатые живите в посестрии. 7. Матерно не бранитесь, дьявола не поминайте. 8. На крестины,

свадьбы и гулянья не ходите. 9. Веру держите в тайне, никому, ниже отцу родному, ниже духовному, не объявляйте, даже под огнем, кнутом и топором. 11. Друг к другу ходите, хлеб-соль водите, любовь творите, Богу молитесь. 12. Духу Святому верьте.

Если «Бог Саваоф» Данила Филиппович — личность легендарная, то первый хлыстовский «Христос» Иван Тимофеевич Суслов, якобы родившийся от столетних родителей, — реальная. При нем и его преемнике Прокопии Лупкине хлыстовщина достигла Москвы и перешла в южные губернии. С 1733 года начались судебные процессы, на время хлыстовщину приостановившие, но не прекратившие. В начале XIX века она проникла даже в петербургское общество — с 1817 по 1837 год существовал там «корабль» Екатерины Филипповны Татариновой. Ни этическую, ни догматическую стороны хлыстовского учения она полностью не приняла, но главным образом обряд радений и пророчествований, «ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». В ее секту вовлечены были некоторые аристократы, посещал ее министр духовных дел князь Голицын, а Александр I принял Татаринову и долго беседовал с ней. В 1837 году она была помещена в монастырь, где провела десять лет, пока не «покаялась в заблуждениях».

Главные идеи хлыстовства: эмоциональное откровение, стимулируемое путем изнурительных скаканий и кружений, и многократность божественных воплощений. Высшая степень совершенства — постижение таинственной смерти об Адаме и таинственного воскресения о Христе. Нужен пост, целомудрие, самоистязание, неустанная молитва и радение — тогда удастся возжечь в себе искру Божества, и «воскресший во Христе» не имеет своей воли, своего я, но одержим Духом Святым, и его пророчества — единственный источник мудрости. Чья же душа не сумела совершить этого усилия, после смерти человека переселяется в тело какого-нибудь животного.

Считая, что Храм Божий — в душе человека, «хлысты» отрицали видимые церкви и если наружно исполняли православные обряды, то только «страха ради иудейска», только их вера — истинна, только их церковь — царство Христово, царство правды и любви. Во главе общины хлыстов, «корабля», стоял «кормщик», который мог быть воплощением Христа, также могли быть в общине «Богородица» и «пророки». Считалось, что Дух может «накатить» на каждого, равенство всех перед Богом — основа царства Божия на земле, тем не менее в общинах быстро сложилась иерархия, и большинство только «чаяло» получить Духа.

По преданию, «святые беседы» и «радения» учредил Иван Суслов. Собрания общин — мужчины и женщины были в длинных белых рубахах, босиком, со свечами в руках — начинались с пения духовных стихов, мужчины и женщины сначала сидели у противоположных стен, затем начиналось хождение по кругу посолонь вокруг кадки со Святой водой, которой кропили друг друга, ритм песен все убыстрялся, иногда били себя ремнями или цепями для «умерщвления плоти», приговаривая: «Хлыщу, хлыщу, Христа ищу...» — пока, изнемогая, не начинали выкрикивать пророчества — это была кульминация радений.

Несмотря на ремни и цепи, плоть требовала своего: наиболее трудной заповедью Данилы Филипповича было «с женами не жить» и «блуда не творить». Постепенно стало признаваться сожителство «по согласию» между «сестрами» и «братьями» как «чистая Христова любовь» в отличие от благословенного «церковью Антихриста» брака. Нашлись и такие оправдания: раз Дух руководит волей, человек за свои поступки уже не ответствен, а удовлетворять желаниям плоти — кратчайший путь к ее умерщвлению. Со временем это вызвало протест внутри хлыстовства, и из него обособился как бы монашеский орден скопцов, во имя целомудрия самих себя оскоплявших. Основателем новой секты был один из «Христов» Кондратий Селиванов, после оскотления, или, как говорят скопцы, «убеления», в 1765 году он объявил себя не только Богом, но и императором Петром III.

Тяга к соединению власти небесной с властью земной отвечала, быть может, идее о тысячелетнем царствии Божиим на земле, а быть может, русской традиции соединения

власти над церковью с властью над государством. Царем объявлял себя и «Христос» Прокопий Лупкин, а после смерти Александра I существовала легенда, что он скрывается под именем старца Федора Кузьмича. Старец этот появился в 1836 году в Пермской губернии, показал властям, что он семидесяти лет, холостой, православный, как бродяга получил двенадцать ударов плетьюми и был сослан в Сибирь, где скончался в Томске в 1864 году, в год рождения Распутина. Отличался он широким образованием, знал языки, знаком был с историей войны 1812-15 годов, имел сведения о петербургском обществе. Кем он был в действительности, осталось загадкой.

Большинство сведений о секте хлыстов получены методами полицейского розыска — поэтому к сообщениям, что «после радений, кто с кем любит, предъявленную плотскую любовь, яко в темном месте, и чинили», следует относиться с осторожностью, а особенно к обвинениям в «изуверстве». Слово «хлыст» у миссионеров имело тот же смысл, что впоследствии слово «фашист» у коммунистов — им могли назвать всякого не согласного с ортодоксальным учением, вне зависимости от его собственных взглядов.

«Веротворчество» не прекращалось в России, как и желание иметь живого Бога, — к концу XIX века сформировалась секта иоаннитов, видевших в о. Иоанне Кронштадтском сначала воплощение Иисуса Христа, а затем Бога Саваофа. Отец Иоанн в молодости поступил священником в Андреевский собор в Кронштадте, где оставался до смерти, получив своими проповедями, прозорливостью и раздачей милостыни славу «молитвенника земли Русской», упрочившуюся после призвания его к умиравшему Александру III. Постепенно иоанниты усвоили характерные для мистических сект веру в близкий конец мира, отказ от брака, отрицательное отношение к духовенству. Сам Иоанн Кронштадтский перед смертью предал проклятию своих последователей.

Распутин за годы странствий мог обращаться в поисках «как бы чего найти, как люди спасаются» к адептам разных сект. На человека полуграмотного, с повышенной эмоциональностью, с сильной волей особенное влияние должны были произвести «мистические секты», идея эмоционального постижения Бога. Распутин не был в состоянии ясно сформулировать свое «учение» и обладал не законченной системой взглядов, а скорее цельным чувством, которое можно описать словами одного из ранних пиетистов: «Спасется не самый терпеливый в выстаивании церковных служб и не самый ученый в знании богословских книг, а тот, кто все свои мысли и волю направит на Бога».

«Духовенство вообще в настоящее время не духовной жизни, — пишет он, — наипаче следят, кто ищет бисера — и смотрят с каким-то удивлением, как будто пришел сделать святотатство...» Он не находит ответа у священников: «Посмотрю по поводу примеров на священников, нет, все что-то не то, поет и читает резко, громко, как мужик дрова рубит топором... Ему надо было быть исправником, а он поступил в батюшки». Не лучшего мнения он о епископате: «Епископ заплачет, если креста не дадут...», «...Это как бы чиновники или ремесленники. Они увольнения на покой боятся даже больше, чем Страшного суда». Критически отзываясь о монастырях: «Если хорош ты был в миру, иди в монастырь — там испортят. Не по душе мне монастырская жизнь, там насилие над людьми». Монахи, «которые в монастыре жир нажили — этим трудно подвизаться, давит их лень». Впрочем, он тут же оговаривается, что «у Бога все возможно, есть некоторые толстые монахи, которые родились такими — ведь здоровье дар, в некоторых из них тоже есть искра Божия...».

«Все для души, и церковь для души... — якобы говорил Распутин, показывая на свою ученицу. — Вот ей хорошо со мной, тут и церковь». Он замечает, правда, что нужно ходить в храм и, «какие бы то ни были батюшки, считать их хорошими... Мы не к духовенству идем, а в храм Божий». Однако «в храме духа нет, а буквы много — храм и пуст». «Распутин считал, — пишет Сенин, — что церковь утратила чистоту апостольских времен, потому власть благодати свободна и может снизойти на непосвященных, посредством истовой молитвы человек приходит в экстаз и начинает прорицать и наставлять». «Он нас, священников, ни во

что не ставит, — говорил о. Петр Остроумов, приходский священник в Покровском. — Ишь, выдумал учение, что благодать с недостойных пастырей отлетает и ложится на простецов...» «Простяки» — любимое слово Распутина, и чем более бесхитростен человек, тем более, по его мнению, он приближен к Богу.

По чувству Распутин скорее пантеист. Бог — это некое высшее благо, разлитое в природе. «Ходил берегами, в природе находил утешение и нередко помышлял о самом Спасителе, как он ходивши берегами. Так меня природа научила любить Бога и беседовать с Ним... Так природа много может научить ко всей премудрости...» Отсюда все, что естественно совершается в природе, несет в себе отпечаток божественного, и высшее проявление благодати — это любовь: любовь к Богу, к природе, а наипаче к ближнему своему. «Все заповеди покорны любви — в ней великая премудрость, больше, чем в Соломоне, и такая высота, что только одна любовь и существует». Любовь, однако, «не даром достают», нужно, «чтоб опыт пересиливал букву, чтобы он был в тебе хозяином и чтобы была жена такая опытная, как и сам, еще в мире потерпела все нужды и скорби... вот тогда совершится на них Христос в обители своей».

Вторым столпом распутинского исповедания была «правда». «Правды ищите», — сказал Христос... «Все человеку простится... и воровство, и убийство, и блуд, а лицемерие — никогда», — говорил он. «Правда» — необычайно емкое русское слово и в первую очередь означает не соответствие сказанного сделанному, но определенный идеал жизни. «Жить по правде», «жить по справедливости» означает жить в соответствии с нравственными идеалами, близкими раннему христианству: должно быть равенство между людьми, братская помощь друг другу, независимость личности от внешней власти. «Он ставил всех людей на один уровень, вне зависимости от имен и титулов», — вспоминает дочь Распутина.

«Это натур-философ со дна народного, человек почти безграмотный, но начитанный в Писании, да сверх того с природным экстазом мысли, — пишет М. Меньшиков. — Некоторые его изречения меня удивили оригинальностью и даже глубиной... что-то вещее разворачивалось из загадочных слов, что-то нелепо-мудрое». Взгляды Распутина во многом лежали в русле мистически-анархического христианства, с первых веков развивавшегося параллельно официальным церквам — отчасти как вызов их огосударствлению и иерархичности. В частности, заметно сходство с учением средневековой секты амальрикан, последователей Амальрика из Бены. Учение его было осуждено католической церковью, прах выброшен в поле, а многие последователи сожжены — но не все, мой род идет если не от него самого, то от одного из его учеников. Вкратце его учение сводилось к трем пунктам: 1) Бог есть все; 2) каждый христианин — член в теле Христа; 3) пребывающим в любви не вменяется в вину никакой грех. Ученики его отсюда сделали вывод, что тот, в ком пребывает Божественный дух, не может грешить.

Бог есть любовь, Бог есть правда, Бог есть природа, Бог есть радость и веселье. Как религиозный идеал Распутину представлялась не монашеская аскеза, не умерщвление плоти, что могло повести только к гордыне, а оттуда прямо к дьяволу, но жизнь в радости — «он не отделял религию от радости». «Молиться Богу можно в танце так же хорошо, как и в монастыре, хвалить Его в радости за то добро, что Он создал, — говорил он. — И царь Давид танцевал перед ковчегом Господа». «Нет, Бог веселым от рая не откажет, а наипаче их возлюбит, но только веселиться нужно во Господе».

Он против самоистязаний — нравственных и телесных, против долгих паломничеств, изнурительных постов, вообще всех крайностей. «С большого поста... нервы расстраиваются и не хочет человек разговаривать ни с кем, все кажутся в очах его из грешников грешники... Вот где нас добыл враг, где нам поставили сети: в посте, в молитве, достал нас чудотворцами, и явилась у нас на все прелесть, тут-то мы забыли дни и ночи, и евангельское слово отстоит далеко от нас». Не нужно ни пренебрегать, ни изнурять себя молитвой, а «брать пример самый легкий с животных, с лошадей: посмотри, если на сытой лошади

поедешь — она убьет, а на голодной — устанет, держись середины — тогда не убьет, не пристанет, а как раз добежит до столба. Так и молиться надо». Как ни стараться достичь святости, человеческая природа остается несовершенной. «Нет святых на земле, пока человек жив, он грешен», — любил повторять Распутин.

Для взглядов Распутина характерен экуменизм, редкий в то время. Он говорил, что все религии представляют не что иное, как разное понимание одного и того же Бога. «Триста вер в свете — триста истин... У каждого человека в душе своя библия...», «Я вот убедился в том, что платье у турок такое же, как у христиан и евреев... Сначала уничтожили это различие, а потом и на веру перейдет, — простодушно пишет он, — сначала на одежду прельстятся все инородцы, а потом из них будет Единая Церковь».

Эти взгляды сложились у Распутина постепенно, и подчас одно противоречило другому. Он порицает идущих в монастыри, хотя пишет о пользе монастырей, порицает странников — «все ходят, ходят, и до того, бедняжки, доходили, что враг в них поспел», — и сам пространствовал много лет. Несомненно, что начальным его идеалом была именно монашеская аскеза, он описывает, как пытался носить вериги, не мылся годами, посещаем был видениями. Смирив свой буйный нрав, отказавшись от мяса, табака и вина — изнемог он, однако, в борьбе с «блудным бесом».

Глава III

БОРЬБА С «БЛУДНЫМ БЕСОМ»

Увы, «блудный бес» наиболее искушает как раз тех, кто бросил ему вызов. Буде же враг рода человеческого не сумеет соблазнить такого аскета, все-таки бросит тень на него. В повести XV века об Иоанне Новгородском рассказывается, как горожане, «проходя в келию святого для благословения, видели там мниста девичьи, и обувь женскую, и одежду, и негодовали за это, не зная, что сказать. А все это бес наваждением своим показывал им, чтобы восстали на святого...» — и когда разгневанный народ собрался у кельи погруженного в молитву инока, «то бес перед глазами всех побежал в образе девицы, будто из кельи святого». Иоанна с поношениями посадили на плот, чтобы выплыл по реке из города, «но Божья благодать пересилила, вера святого в Бога и его молитва» — неожиданно плот поплыл против течения, «дьявол же, видеv это, посрамился и возрыдал».

И Распутин долго пытался перебороть беса молитвой. «Прислуга наша, — показывал Г.П.Сазонов, у которого Распутин часто останавливался, — говорила, что Распутин по ночам не спит, а молится... Дети видели его в лесу погруженным в глубокую молитву». Их соседка, «которая без отвращения не могла слышать имени Распутина... не поленилась пойти за ребятишками в лес, и действительно, хотя уже прошел час, увидела Распутина, погруженного в молитву». Но, видимо, с XV века и бес кое-чему научился.

Трудность побороть искушение увеличивалась тем, что в Распутине было нечто, несомненно притягивающее женщин. Так, во время очередной поездки в Сибирь он, по сообщению сопровождавших его агентов, познакомился в поезде с дамами — их встречали два офицера, и, "выслушав рассказы дам, подполковник обратился к обер-офицеру: «Видите ли, если бы они проехали еще одну станцию, то, наверное, потеряла бы мать дочку или наоборот». Было в Распутине также интуитивное понимание женщин, дополненное опытом. «Он как-то сразу, каким-то чутьем угадывает не только характер своей собеседницы, но и некоторые стороны ее интимной жизни», — заметил встречавшийся с ним журналист. Если преувеличение говорить о женщинах вообще, то о тех, кто был надломлен горем, пережил тяжелую травму, чувствовал неудовлетворенность жизнью.

«У мужчин — всякие занятия, на которые идет много времени, — говорил Распутин. — А женщины больше в себя уходят. Вот, душа-то у них и болит, а поговорю я с ними, смотришь — и легче станет. А говорю я им по простоте, что мне Бог подскажет». «Попы и крестьяне упрекают: „Зачем ты, Григорий, с женщинами постоянно?...“ А женщина разве не такой же человек? Их любить не надо?... И разве не страдает она? Не нуждается в утешении? Не могут они понять, что иначе можно любить женщину, как у вас вот, например, социалистов».

«Почти всегда общение с ним вносило подъем, интерес, а в скорбную душу — бодрость, надежду, утешение и даже радость, — пишет Б.Н.Смиттен, допросивший сотни близких к Распутину людей. — Как умный и чуткий человек, он умел расшифровывать чужое страдание и иногда несколькими вовремя сказанными словами, каким-нибудь сравнением ослабить или даже совсем изъять его из души». «Мы потеряли двух детей почти одновременно, — рассказывал В.Шульгину один из его знакомых. — Моя жена была в ужасном состоянии. Ее отчаяние граничило с сумасшествием... Доктора ничего не могли сделать... Кто-то мне посоветовал позвать Распутина... И можете себе представить: он поговорил с ней полчаса, и она совершенно успокоилась... Пусть говорят все что угодно — все это, может быть, правда, но и это правда... что он спас мою жену».

В течение двух десятилетий тысячи женщин — начиная крестьянкой и кончая императрицей — тянулись к Распутину за утешением, другие — из любопытства, а многие — когда он вошел в силу — за получением каких-то конкретных благ, готовые заплатить за них своим женским естеством. Но только с некоторыми из них он действительно был в близких отношениях — и Вырубова едва ли шутила, наивно говоря допрашивающей ее следственной комиссии: «Никакая женщина бы не согласилась любить его, ведь он старый человек». С годами, однако, он проделал эволюцию от человека, борющегося с искушением, затем старающегося оправдать его с религиозной точки зрения, а под конец свободно отдающегося ему и даже настойчиво помогающегося женщин. Обольщал ли Распутин женщин или был обольщен ими, однако мистическое обожание одних, недвусмысленное заигрывание других и настойчивые предложения третьих не могли не оказывать на него деморализующего эффекта.

В последний период его жизни «эти сцены обычно протекали с невозможной простотой, — пишет его секретарь А.Симанович, — и Распутин в таких случаях соответствующую даму выпроваживал из своей рабочей комнаты со словами: Ну, ну, матушка, все в порядке! После... Распутин обыкновенно отправлялся в напротив его дома находящуюся баню. Но данные в таких случаях обещания всегда исполнялись... Он терпеть не мог навязчивых особ. Но с другой стороны он надоедливо преследовал не поддававшихся его вожделениям дам. В этом отношении он становился даже вымогателем и отказывался от всякой помощи в делах... Бывали также случаи, что приходившие к нему с просьбами дамы прямо сами себя предлагали... В таких случаях Распутин... читал просительнице самое строгое нравоучение. Их просьбы все же исполнялись».

Не в силах побороть влечения к женщинам, Распутин выработал «теорию бесстрастия»: прикосновением к женщине, поцелуями он не возбуждает ее страсть, а, наоборот, от страстей освобождает. По словам Е.А.Казаковой, в 1903 году Распутин «говорит молодым девушкам, что странники ходят по святым местам... насилуют девушек и запрещают им говорить об этом. Средством против этих соблазнов, по учению Распутина, являлись его поцелуи девушкам до тех пор, пока поцелуи не сделаются противными». Так сказать, идея «сексуальной гомеопатии» — лечение в малых дозах тем, что опасно в больших. По словам Илиодора (Сергея Труфанова), «целовал старец только молодых, но так как и старые — и гораздо усерднее молодых — лезли освятиться поцелуями „старца“, то он их бесцеремонно отталкивал». Илиодору хотя и жалко было старушек, но он рассудил, что у них за старостью «блудных страстей нет — правильно Григорий поступает».

«Снимая с женщин страсти и как бы забирая их греховные помыслы на себя, Распутин для проверки полноты покаяния приглашал с собою мыться в бане молодых девушек и женщин».

Цель этих совместных омовений была показать как бесстрашие Распутина, так и покорность его учениц. "В первое же свидание я спросил Григория, правда ли это, — пишет Г.П.Сазонов. — Он как-то по-детски спокойно признал это. На мою возмущенную реплику он так же спокойно ответил: «...Гордыню принижал. Великий грех гордыня. Пусть не думают, что они лучше других». И.Манасевич-Мануйлов передает рассказ Распутина о посещении его в Покровском светскими попечительницами из Петербурга: «Я видел их гордость... Они считали себя превыше всех... Я полагал, что надо их смирить, унижить... Когда человек унижится, он многое постигает... Они мыли меня и претерпели все унижение...»

Распутин якобы говорил Илиодору (Труфанову): «Мне прикоснуться к женщине али к чурбану все равно... Я хотение направляю отсюда, из чрева, в голову, в мозги, и тогда я неуязвим. И баба, прикоснувшись меня, освобождается от блудных страстей. Потому-то бабы и лезут ко мне: им хочется с мужиком побаловаться, но нельзя... Вот и обращаются ко мне с просьбой снять с них страсти...» Труфанов приводит рассказ Распутина о поездке в Сибирь с петербургскими поклонницами: «Легли все на полу. Сестры попросили меня раздеться, чтобы они могли прикоснуться к моему голому телу и освятиться, сделаться чистыми... Что ж, с бабами дурами спорить, что ли, будешь? Этак они сами тебя разденут. Разделся. А они легли около меня кто как мог...»

По мысли Распутина, быть голым среди голых женщин и побороть себя было большим «подвигом», чем отсидеться от соблазна за монастырскими стенами. Это значило как бы вернуться к временам Адама и Евы, когда мужчина и женщина не стыдились друг друга, еще не зная первородного греха. Однако от «изгнания страстей» с помощью поцелуев и бань недолго был шаг к более радикальным средствам. Описание Труфановым, как они с Распутиным в 1910 году в Царицыне изгоняли «блудного беса» из одержимых, читается наподобие Декамерона. Если Труфанов считал, что бес сидит «под ложечкой» и изгонять его нужно «молитвой, крестом да водой», то Распутин усматривал беса в другом месте, и соответственно другое орудие требовалось для его изгнания.

Вот он уединился изгонять беса из «здоровой, полной» купчихи, муж которой «часто отлучается из дома и путешествует по святым местам». "В комнате началась страшная возня, — пишет Труфанов. — Тянулась она долго. Я начал нервничать. Не вытерпел, заглянул в дверь сквозь стекло и увидел такую картину, что, крайне смущенный, прямо-таки отскочил от дверей. Минут через пять вышел из «кабинета» и «старец». Вид у него был ужасно усталый, он тяжело дышал.

«Ну, брат, вот бес так бес. Фу, какой большой. Во как я уморился! Мотри, вся сорочка мокрая!...» Когда «старец» это говорил, несчастный муж плакал..."

Случались, однако, и осечки. Одна царицынская купчиха, «как только Григорий поцеловал ее, подняла свою большую сильную руку и со всего размаха ударила „старца“ по лицу». Распутин опешил и выбежал, заметив потом: «Вот стерва-то, как она меня шарахнула!» В другой раз он уже полез в постель к одной матушке, но та с криком: «Куда, куда! Ах ты черт!» — ударила его. Он отскочил и говорит: «Ты первая меня так ошарашила, ведь все бабы дуры, с ними что хочешь, то и делай, а ты не такая — проучила меня».

Впрочем, книге Труфанова, написанной с огромными преувеличениями, путаницей и ложью, особенно доверять не следует. В нем самом — при отсутствии сдерживающего начала — было что-то садистское, так, в детстве он бросал щенку кусок мяса и наступал на хвост, чтобы тот не мог дотянуться. Страницы, посвященные «блудобесию» Распутина, пожалуй, лучше всего разоблачают одержимость этой темой самого Илиодора. Вот как пишет этот монах о женщинах: «красивый кусок мяса», «очень симпатичная, полная, упругая», «симпатичная, полненькая», «в высшей степени красивенькая и нежная дамочка»... По словам Матрены Распутиной, Илиодор в своем монастыре в Царицыне пытался изнасиловать Ольгу Лохтину, и когда на ее крик сбежались послушники, то объяснил, что это она его

домогалась — для «изгнания беса» Лохтину привязали к хвосту лошади и прогнали по двору. Илиодор описывает этот случай так: «Когда я рано утром еще лежал в постели, она незаметно пробралась ко мне и бросилась на меня. Я закричал и приказал ее увести». Илиодор впоследствии от монашества отказался, куда уж было выдержать Распутину «в миру».

Более правдива и более интересна для понимания отношений Распутина с женщинами исповедь Хионии Берландской. Она ушла от изменявшего ей мужа, и тот покончил с собой, оставив у нее чувство вины. «С таким чувством жила и страдала, все время была в работе, посте, не спала и не ела, ходила, не отдавая отчета, что на мне надето... дошла до того, что не могла стоять в церкви, от пения делалось дурно... Так жила постоянно одинокая, без улыбки, с тяжким камнем». Подруга предложила ей "познакомиться с одним человеком, мужичком, который очень успокаивает душу и говорит сокровенное сердца... Я захотела его видеть... Звонок. Торопливо раздеваясь, быстро, быстро подбежал ко мне человек с особенным взглядом, положил руку на темя головы и проговорил: «Ведь у Господа были ученики, и то один из них повесился, так это у Господа, а ты-то что думаешь?» Глубоко вошла эта фраза в мою тайну души и как бороздой раскопшила и встряхнула. Я как-то ожила: сказано было так твердо, как бы снялось горе с меня этими словами... Я хотела еще видеть его... Хотелось знать, что в нем и кто он... Мне уже хотелось расправить свое скорченное нутро, как замерзшему воробью — крылья в тепле...

Меня ласкал он, говорил, что грехов на мне нет... и так постепенно у меня созрело убеждение полного спасения и — что все мои грехи он взял на себя, и с ним я в раю... Кто уходил от него, те, по его убеждению, не спасались как отступники от Святого. Я стала жить: явилось сознание жизни христианской, желание исправиться и следить за собой... Я уже ходила в церковь... Меня мучило то, что я пользуюсь любовью учителя, научаюсь духовной жизни и беру с усладой, а к самому ему не влекло...

Мои родные, видя во мне перемену от смерти к жизни... решили пустить меня с моим сыном в Покровское... Ехали Григорий, одна сестра, я и сын. Вечером, когда все легли — но, Господи, что вы должны услышать, — он слез со своего места и лег со мной рядом, начиная сильно ласкать, целовать и говорить самые влюбленные слова и спрашивать: «Пойдешь за меня замуж?» Я отвечала: «Если это надо». Я была вся в его власти, верила в спасение души только через него, в чем бы это ни выразилось. На все это: поцелуи, слова, страстные взгляды, на все я смотрела как на испытание чистоты моей любви к нему, и вспомнила слова его ученицы о смутном испытании, очень тяжком. Господи, помоги. Вдруг он предлагает мне соблазниться в грешной любви, говоря, что страшно меня любит и что это будет тайна... Я была тверда, что это он испытывает, а сам чист, и, вероятно, высказала, потому что он предложил мне убедиться, что он меня любит как мужчина — Господи, помоги написать все, — заставил меня приготовиться как женщине... и начал совершать, что мужу возможно, имея к тому то, что дается во время страсти...

Он совершал тогда все, что ему надо было, полностью, я томилась и страдала, как никогда, но я же и молилась, и всю себя отдала Господу. Господу известно, что было со мной... я только помню мимолетное, но глубокое чувство горечи и боли осквернения моего чего-то драгоценного. Но я стала тотчас же молиться, увидев, что Григорий кладет бесчисленное множество поклонов земных с его всегда какой-то неестественной быстротой... Моя страсть эта улеглась и как бы уснула...

Утром и днем Григорий очень ласкался и этим возбуждал ревность в сестре, даже большое огорчение. Вечером лег с ней, я молилась за нее. Потом опять пришел ко мне с тем же и сказал, что у него не было еще ни одной, которая перенесла бы так твердо, и что каждую, на которую он надеется, «испытывает». Я спрашивала: «Неужели нельзя иначе исцелить эту страсть в нас?» — и он отвечал: «Нет». Я ему сказала: «Значит, вы особо от всех святых, прежде бывших, призваны исцелить нас преимущественно от первородного греха, так

увлекшего все человечество?» Ему очень понравилось мое определение, он ответил: «Вот истинно ты сказала».

Когда то же самое повторялось потом, Хиония видела в этом доказательство, что в ней «страсть» все никак не хочет умирать, тогда как «у него же для меня, в сознании моем, было все убито и все снято». Она описывает и сцену в бане, и как укладывались спать все вместе, добавляя, впрочем, что «дурного ничего не было».

"Хиония, вдова офицера, обиделась на меня за то, что я про ее отца сказал, что он будет в аду вместе с чертями угли в печи класть, — якобы жаловался Распутин Илиодору. — Обиделась, написала про меня разной чуши целую тетрадь и передала царю. А царь вот вчера пригласил меня и спрашивает: «Григорий, читать эту тетрадь али нет?» Я спрашиваю: «А тебе приятно читать в житиях святых, как клеветники издевались над праведниками?» Он говорит: «Нет, тяжело». «Ну, как хочешь, так и делай». Николай взял тетрадь, «разорвал на четыре части и бросил в камин».

При несомненной искренности этой тетради не надо забывать, что она написана не только с оправданием собственной чувственности, но с горечью и разочарованием — тогда как большинство «сестер» Распутина навсегда сохранили первое чувство возвращения «от смерти к жизни». Далеко не из всех изгонял Распутин «блудного беса», но для некоторых эмоциональных женщин отдача себя «духовному» чувству кажется неполной без отдачи «всей себя».

«Когда ты в духе, плоть умирает», — объяснял Распутин, а раз его «плоть» это только «передаточный механизм», через который Бог делает свою работу, то ученицами Распутина сделан был вывод, им самим усвоенный: «Люди делают грех, а он тем же только освящает и низводит благодать Божию!» Так говорила Ольга Лохтина, юродствующая генеральша, а Акилина Лаптинская, променявшая монастырь на секретарство у Распутина, упрекала двух отрицавших близость с ним москвичек: «Если бы это было так, это ваше счастье было бы... Думаем: согласились московские барыни благодать принять, а вы в обиду». Те поклонницы, кто не принимал «теорию благодати», могли считать, что падением «старца» дьявол хитроумно искушает крепость их веры — и потому Распутина следует тем более почитать.

Как общее место повторяется о «растлении» и «изнасиловании» Распутиным женщин. Председатель Государственной Думы Родзянко утверждал, что в его «распоряжении находилась целая масса писем матерей, дочери которых были опозорены наглым развратником». Однако ни одного примера не приводит, да и вообще в своих эмоциональных воспоминаниях часто выдает слухи за факты. Известны только три случая, когда девушки жаловались на «растление» их Распутиным: это дочь сибирского купца Зинаида Пепеляева, воспитанница Епархиального училища Елена Тимофеева и няня наследника Мария Вишнякова.

У Зинаиды Пепеляевой, «послушницы Ксении» — «очень симпатичной, полной, упругой, в высшей степени набожной и целомудренной» — Илиодор под угрозой отлучения от церкви выведal все подробности сношений с Распутиным. По ее рассказу, Распутин предложил ей раздеться и лечь с ним в постель — и когда она, доверяя его святости, с чистой душой сделала это, то он «радел» на ней четыре часа, успокаивая ее, что делает это с одобрения иеромонаха Илиодра, епископа Гермогена и самого «батюшки-царя»! Эти «четыре часа» особенно потом не давали покою Гермогену с Илиодором.

Елену Тимофееву, «девицу Елену», Распутин, как пишет Илиодор, «склонил на жительство с ним». Жила она с ним несколько лет, пока они не расстались, — и она обратилась к епископу Феофану, confidentу разочаровавшихся в Распутине поклонниц, а затем подняла шум на всю Россию «и показывала это чересчур демонстративно, шумливо как-то... — говорил Г.Л.Сазонов. — Последнее не вяжется с тяжелым личным горем... Кричат шантажистки,

интриганки... Злобная мстительность, тянущаяся годы, как материал для врагов Григория, не внушает к себе доверия».

Мария Вишнякова, «Меря», как называл ее Распутин, была старшей няней царских детей. Ей было уже тридцать пять лет, когда она познакомилась с Распутиным и, «не желая выходить замуж и лишаться через это высокого придворного места, решила лечиться» у него от «блудного беса». Ездил к нему в Покровское вместе с другими поклонницами и "даже дралась с Лохтиной из-за того, кому лежать по правый бок «старца». Все тому же Феофану на исповеди она рассказала, что, прижавшись к «бесстрастному» Распутину, она «заснула» — и, воспользовавшись этим, патетически пишет Илиодор, «Григорий растлил чистую невинную девушку». Скорее всего страх потерять место при дворе толкнул ее разыгрывать из себя «жертву Распутина», она пожаловалась императрице — но была на время уволена и вольна поднимать шум.

Не известно случаев насилия со стороны Распутина. Все слухи строятся на таких примерно показаниях: «Была допрошена просвирня, которая показала, что однажды, спускаясь с ней вместе в погребицу, Распутин чуть не изнасиловал ее». А.А.Вырубова пишет, что сведения о «разврате» Распутина черпались главным образом из полицейских источников и что «когда после революции начала действовать следственная комиссия, не оказалось ни одной женщины в Петрограде или в России, которая выступила бы с обвинениями против него».

Что касается «благочестивых» объяснений отношения Распутина с женщинами, всех теорий «святости», «бесстрастия» и «благодати», то не исключаю, что они постепенно были внушены ему жаждущими веры поклонницами. Сам Распутин, полуискренне-полуцинично принимая эти объяснения, все же не чувствовал себя в глубине души спокойно — слишком противоречили его отношения с женщинами таящемуся в нем, но так и не осуществившемуся идеалу аскезы, не мог он не видеть, что все эти объяснения прикрывают и рационализуют его непреодолимое влечение. Поэтому так по сердцу пришлась ему услышанная в Святой земле легенда, что крест, на котором распят был Христос, сделан из дерева, посаженного согрешившим с дочерью Лотом. «Как Господь даже грешников прославляет! — пишет он. — Лот... пал в великий разврат, но покался. Вот первое спасение — если ради Бога кто живет, то хотя искусит его сатана, все-таки спасется...» Меньшиков заспорил с ним, что в Библии этого нет, что греки-монахи болтают чепуху русским паломникам. «Ай нет, — заволновался Гриша, — ты, миленький, не того... Уж раз святые люди говорят...» Не хочется расставаться с такой легендой.

Распутина злило истерическое поклонение женщин. Пытался он урезонивать Ольгу Лохтину, называвшую его земным воплощением «Бога Саваофа», писал ей: «Умоляю, не фотазируй... Боле дома сиди, мене говори, не иши в двадцатом веке Бога на земле». Лохтина, однако, не успокаивалась. «На пороге показалась странная женская фигура вся в белом... — описывает В.Подревская появление Лохтиной у Распутина. — Над самыми глазами к парикку был прикреплен особый широкий венчик, на котором крупными буквами было написано: „Аллилуйя“. Приблизившись к „старцу“, дама в лентах вдруг упала перед ним на колени... пронзительно крикнув: „Отец!... Бог-Саваоф“... Она кидалась к нему на шею, старалась обнять его, но он отбивался от нее, крича: „Отстань, отстань от меня, Христа ради... Тварь поганая!“ А она продолжала цепляться за него, продолжала хватать его руки, покрывая их поцелуями. „Отойди от меня, дьявол! — орал „прозорливец“ во все горло, — а не то, вот как перед Истинным, расшибу тебе башку“. Услышав, как Распутин договаривается позвонить по телефону, Лохтина закричала: „До чего мы дожили? Он сам, Бог-Саваоф, будет звонить по телефону какой-то девчонке...“ — это снова вызвало его гнев. На вопрос одной из дам, почему он так сердится — „А пошто она... меня за Бога почитает?“ — угрюмо проговорил он наконец, почесывая жилет».

С другой стороны, влечение к женщине — а что может быть естественнее в мужчине — отвечало общему взгляду Распутина на религию как радость и на земную любовь как удобное

Богу дело. Почему считать дурным то, что одновременно может доставить радость мужчине и женщине? «Какой я святой, я грешнее всех, — отвечал Распутин на упрек, что не дело-де „святому“ домогаться женщин. — А только грех не в этом. Греха в этом нет. Это люди придумали. Посмотри на зверей, разве они знают грех?!» По мнению Протопопова, Распутин «был несомненно эротоман». Сенин нашел, что отношения Распутина с женщинами «не совсем чистые с точки зрения общепринятой морали. Но если Григорий и творит грех, то с неизменным условием: грехом он это не считает, а лишь актом проявления наивысшей любви». А по словам местного священника, уговаривая односельчанку, Распутин сказал ей, «что в этом нет никакого греха, так как ему раз во время сношения с женой являлась в свете Пресвятая Троица».

Глава IV

«ПРОРОК ПРОЗОРЛИВЫЙ»

Поцелуи и объятия не всегда носили эротический характер — так Распутин приветствовал знакомых и даже незнакомых, равно мужчин и женщин. Обниматься и троекратно целоваться при встрече был распространенный в России обычай среди близких людей. Распутин же говорил, что «он смотрит на всех людей, как на своих родных», — и поцелуи были, так сказать, внешним выражением этого взгляда. «Эта неприятность, как я потом узнал, ожидает почти каждого, кто посетит «прозорливца», — вспоминает недоброжелатель Распутина, А.С.Пругавин.

Распутин легко заговаривал с незнакомыми — на улице, в поезде, на пароходе, — вызывая иногда любопытство, иногда смущение, а часто раздражение тех, кого он считал «своими родными». Сам же он — за исключением редких вспышек гнева — был приветлив и ровен со всеми: я не встретил ни одного упоминания о его высокомерии или намеренной грубости, возмущало недоброжелателей как раз то, что «грязный мужик» держит себя с ними как равный. По словам ссыльного революционера в Покровском, Распутин встретил его «любезно и радушно... Без тени какой-либо неловкости и застенчивости... прямо и просто обратился ко мне: «Ну что, миленький, долго еще страдать-то здесь придется?» А по словам последнего министра внутренних дел, Распутин подкупил его тем, что «зло не говорил про людей».

Приобретая влияние, Распутин почти никогда не отказывал в помощи. Он не требовал, но принимал предлагаемые ему подарки и деньги — с безразличием большие деньги от богача и с признательностью малые от бедняка. «Деньги он принимал лишь в тех случаях, если он мог ими кому-нибудь помочь», — пишет один из его друзей; он рассказывает, что если к Распутину приходил с просьбой богач, тот говорил: «В доме находится богатый человек, который хочет распределить свои деньги среди бедняков». «Распутин не был ни сребролюбцем, ни стяжателем, — пишет один из его врагов. — Он мог получить сколько угодно средств... он и получал много, но зато он щедрой рукой и раздавал получаемое». Это не значит, конечно, что он не заботился о своей семье и о себе самом, — о его посетителях в Петербурге и его финансовых делах я буду говорить далее.

Открытость Распутина, с которой он к незнакомым обращался как к друзьям, его готовность выслушать человека в беде и помочь ему имели обратную сторону: он не умел хранить чужих тайн, считая, видимо, что раз все люди родные — то ничего сокровенного нет. «Он всем рассказывал, какие знал самые сокровенные тайны, которые ему поведают в минуту искренности, — пишет Хиония Берландская. — Особенно это было больно за „высших“: не нам это было знать». Человеческая натура, однако, противоречива — был он иногда способен и на умолчание.

Мог Распутин проявлять и злопамятность — несравнимую, впрочем, со злопамятностью его врагов. «Он против меня злобится теперь, — говорил он в 1914 году о своем прежнем друге и покровителе епископе Феофане, — но я на него не сержусь, ибо он большой молитвенник. Его молитва была бы сильнее, если бы он на меня не злобился...» Если враги или недоброжелатели Распутина делали ему шаг навстречу, то и он шел навстречу им, русскую поговорку «худой мир лучше доброй ссоры» повторил бы охотно. Все же с годами копилась в нем горечь — слишком много он видел попыток «использовать и выбросить» его и слишком много он слышал нападков, чаще несправедливых.

Г.П.Сазонов несколько раз предлагал Распутину подать на ту или иную газету в суд за клевету, но каждый раз тот отвечал: «Ты, миленький, вспомни, как Господь наш страдал! Что же обо мне говорить! Бог им простит...» По словам его дочери, Распутин, когда ему показывали какую-нибудь неприятную заметку в газете, усмехался и говорил: «Пусть журналисты зарабатывают деньги хоть такой писаниной!» Он, впрочем, немного побаивался журналистов, особенно в первые годы своей известности.

Распутин находил в себе учительское призвание. Им было написано и надиктовано шесть брошюр, изданных А.Ф.Филипповым. Заполнены они такими рассуждениями: «Горе мятущимся и злым, им и солнце не греет, алчных и скучных весна не утешает, у них в очах нет дня — всегда ночь... Зло и зависть до сих пор в нас, между большим и более великим, и интрига царствует в короне... Очень много умных, а веры в них нет, с ними очень нужно говорить, но не о вере, а о любви, спаси их Бог!...» Те же слова — под обаянием его голоса и взгляда — его слушателям казались более глубокими.

«Распутин любил поучать людей, — пишет А.Симанович. — Но он говорил немного и ограничивался короткими, отрывистыми и часто даже непонятными фразами. Все должны были внимательно к нему прислушиваться, так как он был очень высокого мнения о своих словах». «Человек он с замашкой стоять с образованными людьми на одной ноге», — замечает Труфанов. А знавший его последние годы Белецкий говорит о «желании его быть все время центром общего к нему одному интереса». Стремление быть на виду часто присуще одаренным натурам — у Распутина, на которого многие смотрели как на «мужика», было оно болезненно развито. Поэтому он так часто, иногда в ущерб и себе и своим покровителям, старался подчеркнуть свою значимость, близость «высшим», по-детски сердился, когда ему не верили.

По словам Сенина, «натура нервная, экзальтированная, способная глубоко заглянуть в душу человека, как и сама способная чувствовать сильно и глубоко», Распутин притягивал к себе людей. «Успех его проявился преимущественно в самых низах народных и в самых верхах... — говорит Труфанов. — Это объясняется тем, что в низах и в верхах ищут Бога». По-видимому, это верно, но постепенно Распутин приобрел сторонников и среди представителей других сословий, причем не только женщины поддавали под его обаяние. Кроме «братьев» в Покровском, были среди его приверженцев — на долгий или короткий срок — и журналисты, как Г.П.Сазонов, И.А.Гофштеттер, А.А.Кон, и придворные, как А.Э.Пистолькоре, Д.Н.Ломан, и священники, как А.И.Васильев. Он «привлек меня к себе своим странно влекущим взглядом, и с тех пор я готов идти за ним куда угодно», — сказал один из его поклонников.

Одной из удивительных особенностей Распутина была его сила врачевателя. "Произошло что-то странное, — вспоминает Джанумова, у которой умирала племянница в Киеве. — Он взял меня за руку. Лицо у него изменилось, стало, как у мертвеца, желтое, восковое и неподвижное до ужаса. Глаза закатились совсем, видны были только одни белки. Он резко рванул меня за руки и сказал глухо: «Она не умрет, она не умрет, она не умрет».

...Потом выпустил руки, лицо приняло прежнюю окраску, и продолжал начатый разговор, как будто ничего не было... Я собиралась вечером выехать в Киев, но получила телеграмму:

«Алисе лучше, температура упала»... "На просьбу сделать «еще так» Распутин ответил: «То было не от меня, а свыше. И опять это сделать нельзя».

Известно несколько достоверных случаев излечения Распутиным больных или хотя бы дарования временного облегчения: например, дочь сибирского купца он вылечил от экземы, Ольгу Лохтину от неврастении кишок, сына Арона Симановича от паралича, возвратил к жизни попавшую в железнодорожную катастрофу и признанную безнадежной Анну Вырубову. Хорошо известно — и я буду писать об этом дальше, — что он был способен останавливать кровотечение у наследника. Менее достоверно, хотя и вполне вероятно, что Распутин лечил царя от пьянства — «запрещал» ему пить на две-три недели. Арону Симановичу он «запретил» играть в карты — и тот до гибели Распутина не играл.

Целительную силу Распутина, во-первых, объясняли мошенничеством: никто в действительности не исцелялся, эти слухи сочиняли и распространяли поклонники Распутина, в лучшем случае могли быть случайные совпадения. Что до помощи наследнику, то Анна Вырубова сама доводила его до кровотечения, давая «травки» доктора тибетской медицины Бадмаева, а затем призывала Распутина и одновременно прекращала давать «травки». Ни засвидетельствованная всей жизнью преданность Вырубовой царской семье, ни ее неосведомленность в медицине, ни долго дурные отношения с Бадмаевым не позволяют принять всерьез эту выдумку. «Целительную силу» Распутина признавали многие его недоброжелатели. «Уже то обстоятельство, — пишет Г.Шавельский, — что Распутин заставлял задумываться над ним таких отнюдь не склонных ни к суеверию, ни к мистицизму, напротив, привыкших на все смотреть прежде всего с позитивной точки зрения людей, как проф. Федоров, уже это одно вызывает серьезный вопрос».

Во-вторых, многие считали, что Распутин лечил гипнозом.

Вот рассказ дружески настроенного к Распутину Арона Симановича. Сын его «страдал болезнью, которая считалась неизлечимой. Его правая рука постоянно тряслась, и вся правая сторона была парализована... Я привез... сына на квартиру Распутина, посадил его в кресло в столовой, сам постучал в дверь спальни и быстро покинул его квартиру. Мой сын вернулся домой через час. Он рассказывал, что Распутин вышел к нему из своей комнаты, сел напротив него в кресло, опустил на его плечи свои руки, направил свой взгляд ему твердо к глазам и сильно затрясся. Дрожь постепенно ослабевала, и Распутин успокоился. Потом он вскочил и крикнул на него: „Пошел, мальчишка! Ступай домой, иначе я тебя выпорю!“ Мальчик вскочил, засмеялся и побежал домой».

Вот рассказ враждебно настроенного к Распутину Юсупова. Он пожаловался: «Работать не могу — очень быстро утомляюсь и становлюсь больным... „Старец“ уложил меня на диван, стал передо мною и, пристально глядя мне в глаза, начал поглаживать меня по груди, шее и голове. Потом он вдруг опустился на колени и, как мне показалось, начал молиться, положив обе руки мне на лоб. Лица его не было видно, так низко он наклонил голову. В такой позе он простоял довольно долго, затем быстрым движением вскочил на ноги и стал делать пассы... Сила гипноза Распутина была огромная. Я чувствовал, как эта сила охватывает меня и разливается теплотой по всему моему телу. Вместе с тем я весь был точно в оцепенении. Я пытался говорить, но язык мне не повиновался, и я медленно погружался в сон... Лишь одни глаза Распутина светились передо мной каким-то фосфорическим светом, увеличиваясь и сливаясь в один яркий круг...»

Гипноз приводился вообще как самое простое объяснение влияния Распутина. Он «поразительный гипнотизер, — говорил министр внутренних дел А.Н.Хвостов. — На меня вот он не действует, потому что у меня есть какая-то неправильность, что ли, в строении глаз. Но влияние его настолько сильно, что ему поддаются и самые заматерелые филеры, на что уж, знаете ли, эти люди прошли огонь, воду и медные трубы...» «Когда я его видел, я ощущал полную подавленность, — говорил он позднее, противореча себе. -...Распутин на меня давил,

у него была большая сила гипноза». «Какая-то неправильность» была у А.Н.Хвостова не только в глазах, доверять ему следует с осторожностью. Однако и его преемник А.Д.Протопопов считал, «что Распутин имел гипнотическую силу».

По словам директора Департамента полиции СЛ.Белецкого, в 1913 году Распутин брал уроки гипноза. Белецкий, «собрав более подробные сведения об этом гипнотизере, принадлежавшем к типу аферистов, спугнул его, и он быстро выехал из Петрограда». Об «уроках» Белецкий узнал из перлюстрированных писем гипнотизера его подруге, и не ясно, не выдавал ли тот, возлагая «большие надежды... на Распутина», желаемого за действительное. Дочь Распутина, напротив, пишет, что "у него было не только отвращение, но просто ужас к таким вещам. Я вспоминаю, как однажды известный гипнотизер «пришел к моему отцу со словами: „Мой дорогой коллега“. Отец в раздражении вышвырнул его из дома». По всему мироощущению Распутина слова его дочери кажутся мне ближе к правде. Возможно, что своим взглядом, движением рук он приводил тех, кто обращался к нему за помощью, в более податливое, внушаемое состояние. Гипнотическое состояние иногда необычайно повышает внушаемость — но вовсе не обязательно для внушения. Нельзя исключить, что Распутин обладал редчайшей способностью генерировать еще не изученное наукой «биологическое поле». Его дочь пишет о «нервной силе, витальности, исходившей из глаз отца, из его исключительно длинных прекрасных рук». По Труфанову, распутинская сила «исходит у него не через руки, а преимущественно через его серые, неприятные, пристальные, резкие глаза. Этой силой он прямо-таки покоряет себе всякую слабую впечатлительную душу». Сам Распутин считал, что от его тела, от прикосновений исходит сила — «разве можно зарывать талант в землю?!»

С большей уверенностью можно сказать, что целительная сила Распутина опиралась на силу его веры и силу его воли, и я согласен с Колином Вилсоном, который сравнивает его с Финеасом Квимби, Мери Бекер Эдди и Георгием Гурджиевым. Правда, у Распутина не было образования, чтобы создать какое-то подобие системы. Единственным объяснением его силы для него было, что через него действует Божья воля. С внушением и самовнушением мы имеем дело тысячелетия — и тысячелетия этот вопрос остается одним из самых загадочных. Загадочных, если говорить о причинах и пределах суггестивной силы, но ее медицинские приложения общеизвестны. Если алкоголику дать стакан воды, сказав, что это водка, он почувствует опьянение, если гипертонику дать нейтральный порошок под видом болеутоляющего средства, ему станет легче. В тюремной камере меня мучил нарастающий шум в ушах, я начал внушать себе, что усилием воли могу остановить шум, сначала в правом ухе, затем в левом. Я сосредоточился и повторял про себя: шум прекращается, я приказываю шуму прекратиться — и шум прекратился, с тех пор каждый раз мне удавалось прекращать его мгновенно.

Почти каждая болезнь — явление психосоматическое. По-видимому, в той степени, в какой вовлечена психика, может действовать и суггестивная сила. Ею можно совершенно вылечить неврастению кишок, но не гемофилию — только на время останавливать кровотечения. Распутин чувствовал своего пациента, верил, что может его вылечить, и усилием своей воли передавал эту веру ему. В сущности, его лечение «тел» не отличалось от лечения «душ» — и требовало от пациента доверия и подчинения. Если его воля встречалась с чужой, то большая часть силы могла просто уйти на ее преоборение.

Распутин считал, что для приложения данной ему Богом силы к больным «духом» или «телом» нужны доброта и любовь — а первое условие «излечения» это пробуждение в больном веры. «Ну, а как же вы узнаете, чем болен человек?» — спрашивал его Сенин. «Пока в душу не заглянешь, что можно сказать?... У всякого свое горе... И труднее всего заставить человека поверить». Безверие — это та же болезнь, но «нет такого человека, которого нельзя было заставить поверить и утешить. Хотя с настоящими неверующими плохо... Будешь говорить с ними, меньше всего упоминай про Бога... Главное, полюби, узнай, отчего страдает человек... Не можешь полюбить человека — ничего не выйдет». Как пример

своего лечения рассказывает он о сановнике, на глазах которого революционеры убили петербургского градоначальника фон Лауница. Потрясенный сановник «целых три дня кричал... никого видеть не хотел. Позвали меня. Начал я за ним ухаживать: то подушечку поправлю, то нежно и любовно погладишь, то уговорить стараешься: „Все, дескать, пройдет, простить надо и все забыть...“ „Забывать, — вскричал, наконец, больной, — в тебя бы, старый черт, стреляли, так другую песню запел“. Как сказал он это, отлегло от сердца, и выздоравливать стал».

Исходящую от Распутина силу чувствовали не только близко его знавшие. Вырубова вспоминает, как «на одной из маленьких станций на Урале... стояли два поезда теплушек с китайцами-рабочими... Увидя Григория Ефимовича у вагона, вся толпа китайцев кинулась к нему, его окружила, причем каждый старался до него добраться. Напрасно уговаривали их старшины. Наш поезд тронулся. Китайцы провожали его восклицаниями, махая руками».

Силу Распутина чувствовали и животные. «Григорий с кучером пошли искать след... — описывает Берландская путешествие в Покровское. — Вдруг тройка вздрогнула, захрапела и помчалась испуганная, не разбирая куда. Сын испугался, а сестра и я стали кричать, лошади еще больше от крика понесли... Вдруг за несколько сажен от тройки распростер руки Григорий... а тройка прямо на него — но перед ним сразу остановилась».

Другой удивительной особенностью Распутина считался его пророческий дар — дар, признаваемый и друзьями, и врагами. «Сильная воля дала ему возможность круто повернуть от разгульной жизни к подвигам поста и молитвы, — пишет его друг, а затем враг Илиодор. — Сначала этими подвигами, а потом крайним половым развратом он утончил свою плоть и довел нервы свои до высшего колебания... Распутин — пророк прозорливый, натура сильная духом, экзальтированная, глубоко чувствующая и проникающая в души других». Он выработал в себе «пытливость и тонкую психологию, которая граничит почти с прозорливостью», — считает долго наблюдавший за ним Белецкий.

Конечно, у людей есть склонность преувеличивать все «таинственное», вероятно, сбывшиеся предсказания запоминались лучше несбывшихся. Однако отрицать возможность ясновидения, предвидения и телепатии только потому, что позитивная наука не дала им еще объяснения, не кажется лучшим подходом. Это вроде истории, как, услышав впервые голос по телефону, «скептики» полезли смотреть, кто прячется под столом. Подлинный скептицизм не есть уверенность в мистификации.

Ни мистического, ни рационального объяснения пророчеств Распутина я давать не берусь. Но если исходить из того, что корни будущего — в прошлом, то ничего загадочного в предсказаниях нет, я сам делал предсказания — и некоторые из них сбылись. Можно предсказывать на основании формальной обработки статистического материала, хотя всегда остается множество неучтенных данных. Можно предсказывать на основании интуиции — некоего внезапного озарения, механизм которого лежит на грани сознательного и бессознательного. Остается неясным, как много осознанных, а еще более неосознанных наблюдений скапливается, прежде чем это озарение наступает, но у некоторых эта способность достигает огромных размеров. Интуитивное убеждение для того, кто к нему пришел, как правило, более убедительно, чем основанное на общепонятных доказательствах. Однако и другим нельзя внушить его с помощью рациональных доказательств, но только путем эмоционального вовлечения.

Таким эмоциональным вовлечением и убеждал Распутин, с его глубоким и основанным на большом опыте интуитивным пониманием людей и событий. Он мог предсказать кровотечение у наследника — и кровотечение начиналось. Царь отправился в ставку на десять дней, Распутин предсказал ему, что он пробудет ровно месяц — так и получилось. Чувствительность его была на грани мистического. В.Шульгин приводит эпизод, как Распутин сидел в салоне баронессы В.И.Икскуль и "вдруг чего-то заволновался... заерзал... привстал:

«Уйти надо... враг идет... сюда идет... сейчас здесь будет...» И правда, позвонили — и в комнату вошла приятельница баронессы, действительно ненавидевшая Распутина. Шульгин рассказывает также, как Распутин в Киеве ни с того ни с сего дал деньги пьяной бабе. «Она бедная, бедная... она не знает... У нее сейчас ребенок умер... Придет домой — узнает», — объяснил он своему удивленному спутнику. На вопрос Шульгина о ребенке тот ответил: «Умер... Нарочно проверял, спросил ее адрес».

Глава V

ГОСТЬ ЕПИСКОПА СЕРГИЯ

Странствия Григория Распутина по монастырям продолжались десять лет. За эти годы он сложился — со всеми его светлыми и темными сторонами — как «старец», то есть человек, призванный к духовному наставничеству. Слово «старец», в широком смысле значащее «старый, почтенный человек», в узком означало монаха, особенно духовного руководителя других монахов или мирян, но в редких случаях применялось и к лицам недуховного звания, выдвинувшимся исключительным благочестием, опытом и пониманием людей. Недоброжелатели Распутина называли его «старцем» только с иронией.

За это десятилетие круг его поклонников и поклонниц не выходил из социально низких слоев: крестьян, монашек, таких же, как он, странников и странниц. Но с 1903 года начинается его вхождение в иные круги и путь к известности, когда не стало человека в России, который не слышал бы имени Распутина.

В 1903 году на богомолье в Абалакском монастыре он повстречал тобольскую купчиху-миллионершу Башмакову, недавно потерявшую мужа. Как и многих, он сумел утешить ее. «Простая душа, — говорил он о ней впоследствии. — Богатая была, очень богатая и все отдала... Новое наследство получила, но опять все раздала... И еще получит, и опять все раздаст, такой уж человек». Башмакова отвезла Распутина в Казань, где познакомила с некоторыми купцами и иереями, и на них он произвел сильное впечатление, во всяком случае на викария Казанской епархии Хрисанфа (Щетковского), который дал Распутину рекомендательное письмо к ректору Петербургской духовной академии епископу Сергию (Страгородскому).

Слухи о Распутине предшествовали его появлению в Петербурге. «Есть еще Божьи люди на свете, — якобы говорил архимандрит Феофан, инспектор академии, своему студенту Сергею Труфанову. —...Такого мужа великого Бог воздвигает для России из далекой Сибири. Недавно оттуда был один почтенный архимандрит и говорил, что есть в Тобольской губернии, в селе Покровском, три благочестивых брата: Илья, Николай и Григорий...Сидели как-то эти три брата в одной избе, горько печаловались о том, что Господь не посылает людям благословенного дождя на землю... Григорий встал... помолился и твердо произнес: „Три месяца, до самого Покрова, не будет дождя!“ Так и случилось. Дождя не было, и люди плакали от неурожая... Вот вам и Илья-пророк, заключивший небо на три года...» Труфанов был в умилении, и душа его «загорелась желанием видеть этого божественного старца и показать ему все свое гадкое и нехорошее нутро».

Этот случай ему представился осенью 1904 года. Проходя по темному академическому коридору, он «увидел о.Феофана и какого-то неприятно склабившего мужика. „Вот и отец Григорий из Сибири!“ — застенчиво сказал Феофан, указывая на мужика, перебиравшего в это время своими ногами, как будто готовившегося пойти танцевать в галоп».

«Все равно как слепой в дороге, так и я в Петербурге, — вспоминает Распутин, — пришел

первое в Александро-Невскую лавру поклониться мощам... Отслужил я молебен сиротский за три копейки и две копейки на свечку, выхожу из Невской лавры, спрашиваю некоего епископа духовной академии Сергия, вот тут полиция подошла: „Какой ты есть епископу друг?! Ты хулиганам приятель!“ По милости Божьей пробежал задними воротами... швейцар оказал мне милость, я стал перед ним на колени, он что-то небесное понял во мне и доложил епископу, который призвал меня».

Так с первого же шага в Петербурге Распутин обратил на себя внимание церкви и полиции. Думаю, что двум этим могучим силам стал он впоследствии обязан своей зловещей репутацией. «На меня никто не обратил бы внимания, — говорил он позднее, — если бы некоторые архиереи не враждовали и не завидовали...» Но пока что епископ Сергей благосклонно принял его и познакомил с архимандритом, вскоре епископом, Феофаном.

Примерно в то же время Распутин познакомился с Иоанном Кронштадтским. По одной версии, о.Иоанн заметил Распутина в толпе в соборе, призвал к себе, благословил и сам попросил благословения, так сказать, определил себе преемника. По другой — а с Распутиным мы почти всегда имеем две версии — о.Иоанн, спросив его фамилию, сказал: «Смотри, по фамилии твоей и будет тебе». Распутин всю жизнь почитал о.Иоанна, и потому версия с благословением кажется более вероятной.

Распутин появился в Петербурге в смутное для церкви время. Расшатывание государственной системы, ускоренное неудачным ходом русско-японской войны, и все большее ослабление духовного влияния церкви ставили иерархов перед трудным выбором: поддерживать ли традиционную связь с государством или добиваться независимости. 12 декабря 1904 года царским указом был намечен ряд реформ, в том числе и установление свободы вероисповеданий. 17 марта 1905 года группа столичных священников во главе с митрополитом Санкт-Петербургским Антонием (Вадковским) опубликовала записку, что может создаться положение, когда свободой будут пользоваться все религиозные общества, но не «православная церковь, хранительница подлинной Христовой истины», что «только свободно самоуправляющаяся церковь может обладать голосом, от которого горели бы сердца человеческие», и что необходим созыв поместного собора для выбора патриарха. За созыв собора в Москве и восстановление патриаршества единогласно высказался Синод. Но против был обер-прокурор Синода К.П.Победоносцев, двадцать пять лет культивировавший идею «полицейско-православной церкви» и не желавший выпускать из рук государства столь могучее оружие. 31 марта Николай II наложил на докладе Синода резолюцию: «Признаю невозможным совершить в переживаемое ныне тревожное время столь великое дело...» «Тревожные времена» сменились еще более тревожными, в августе 1906 года вопрос о соборе был поставлен снова — и снова отложен. Собрался он только в августе 1917 года, а патриарх был выбран в ноябре — уже после большевистского переворота. Так что к величайшему испытанию в своей истории русская церковь подошла без всякого опыта самостоятельности.

Можно понять, что в 1904-05 годах, когда кризис церкви обнажился, многие иерархи — и сторонники, и противники реформ — стали искать сближения со своей паствой, пристальнее смотреть на духовные поиски среди народа, на тех, кто выдвигался из его среды, — этим объясняется быстрый успех Распутина в церковных сферах. Наиболее пылким его поклонником и покровителем стал Феофан — для этого аскета, принявшего монашество студентом академии и не знавшего жизни вне ее стен, Распутин явился своего рода откровением, только позднее разглядел он в нем черты, которые его отшатнули. Дар Распутина привлек не только Феофана. Вырубова видела, как «старец сидел между пятью епископами — все образованные и культурные люди. Они задавали ему вопросы по Библии и хотели знать его интерпретацию глубоких мистических тем. Слова этого совершенно неграмотного человека интересовали их...».

Была еще причина, привлекавшая к Распутину внимание иерархов, в частности епископа

Гермогена (Долганева), архимандрита Феофана (Быстрова) и иеромонаха Илиодора (Труфанова). Национально-консервативные круги были озабочены появлением при дворе иностранцев, имевших мистическое влияние на царя и царицу. «По рассказам, верность которых документально доказать я, однако, не берусь, — пишет М.В.Родзянко, — состоялось тайное соглашение высших церковных иерархов в том смысле, что на болезненно настроенную душу молодой императрицы должна разумно влиять православная церковь... бороться против влияния гнусных иностранцев... Епископ Феофан полагал несомненно, что на болезненные душевные запросы молодой императрицы всего лучше может подействовать простой, богобоязненный, верующий православный человек ясностью, простотой и несложностью своего духовного мировоззрения... что богобоязненный старец, каким он представлял себе Распутина, именно этой ясной простотой вернее ответит на запросы государыни». Матрена Распутина пишет, что Феофан, Гермоген и Илиодор, зная склонность царя и царицы к «Божьим людям», хотели использовать ее отца при дворе в интересах Союза русского народа.

Каковы бы ни были их мотивы, но именно Феофан и его друзья ввели Распутина в интересовавшиеся религией петербургские аристократические салоны. «Этот человек ходил по гостиным лучше, чем другой царедворец», — заметил впоследствии директор Департамента полиции С.П.Белецкий. «Свободной легкой походкой вошел он в гостиную, — описывает В.Д.Бонч-Бруевич появление Распутина у баронессы В.И.Икскуль, — где ранее, оказывается, он не бывал, и с первых же слов, идя по ковру, напал на хозяйку: „Что это ты, матушка, навесила на стены, как настоящая музея, поди, одной этой стеной пять деревень голодающих прокормить можно, ишь ты, как живут, а мужички голодают...“ Варвара Ивановна стала знакомить Распутина с гостями... Он тотчас же расспрашивал: замужняя ли. А где муж. Почему приехала одна. Вот были бы вместе — посмотрел бы я вас, каковы вы есть, как живете... И очень весело, балагуря и шутя, непринужденно повел беседу». Труфанов так описывает появление Распутина у графини С.И.Игнатьевой: «Я представил ей Распутина, сказавши: „Вот мой друг!“ Игнатьева с недоумением посмотрела на Распутина, так, что как будто на губах ее застыл какой-то невысказанный вопрос, — процедила сквозь зубы: „Очень приятно“ — и предложила нам сесть». Графиня уговаривала Труфанова подчиниться постановлению Синода и уехать из Царицына. «Тут в разговор вмешался Распутин... Он приблизил свое лицо к лицу графини, поднес свой указательный палец к самому ее носу и, грозя пальцем, отрывисто, с большим волнением заговорил: „Я тебе говорю, цыть! Я, Григорий, тебе говорю, что он будет в Царицыне! Понимаешь? Много на себя не бери, ведь все же ты баба!...“ Графиня от этих слов „старца“ совершенно опешила».

Наиболее важным стало для Распутина знакомство с Анастасией и Милицей, дочерьми Черногорского князя Николая Негоша, к которым Феофан ввел его в начале 1905 года. Тридцатидевятилетняя Милица Николаевна была замужем за великим князем Петром Николаевичем, двоюродным дядей царя. Анастасия Николаевна, на год моложе сестры, в следующем году, разведясь с герцогом Лейхтенбергским, вышла за старшего брата Петра, великого князя Николая Николаевича. Вообще склонный к мистицизму — считал он, например, что царь «не человек и не Бог, а нечто среднее», — Николай Николаевич Распутиным очень увлекся, особенно после того, как тот вылечил княжескую собаку. Но интерес к «мужику» и тем мог объясняться, что в то время Николай Николаевич вообще искал какой-то опоры «снизу» против надвигающегося страшного вала. Тогда же он познакомился с рабочим-печатником М.А.Ушаковым, убедившим его, что необходимо дать стране конституцию. А позднее, качнувшись слева направо, он ввел к царю извозчиков, приказчиков и дворников из Союза русского народа.

Постепенно интерес к Распутину у Николая Николаевича сменился охлаждением, а потом ненавистью, и Анастасия Николаевна тоже от Распутина отошла. Милица Николаевна, напротив, сохранила с ним добрые отношения до его смерти. Б.Н.Смиттен пишет о ней как "умной и интересовавшейся религиозной мистикой женщине, знакомой с мистической,

аскетической и святоотеческой литературой, для того, чтобы иметь возможность читать в подлиннике персидских мистиков, изучившей персидский язык и даже издавшей свой собственный труд «Избранные места из святых отцов». Несколько лет сестры-черногорки были confidentками императрицы Александры Федоровны и играли странную роль «поставщиков мистиков» ко двору. По словам С.Ю.Витте, «чтобы рассказать, какие пакости они натворили, нужно написать целую историю».

Еще большую роль в судьбе Распутина — как и он в ее — сыграла следующая confidentка императрицы, на которую та променяла черногорок. В 1907 году у Милицы Николаевны Распутин познакомился с молоденькой смешливой фрейлиной Анной Танеевой, дочерью управляющего императорской канцелярией; выйдя вскоре замуж за Александра Вырубова, она приняла его фамилию. «Милица Николаевна пригласила меня днем, — вспоминает она, — предупредив, что у нее будет Распутин... Я очень волновалась в ожидании встречи с таким человеком, тем более, что Милица Николаевна сказала мне: „Попросите его о чем хотите, — он помолится, он все может у Бога“. Распутин поцеловался с Милицей Николаевной, и затем последняя представила ему меня... Распутин начал расспрашивать меня о том, чем я занимаюсь, где я живу и т.п., и я, озабоченная предстоящим браком, так как я очень мало знала своего жениха, спросила его о том, следует ли мне выходить замуж. Распутин ответил, что он советует мне выйти замуж, но что брак будет несчастлив». Разговор продолжался минут десять, и только спустя год, после развода со своим мужем, который не только бил ее, но и оставил девственницей, Вырубова случайно встретила на улице Распутина. «Я очень обрадовалась ему и сказала, что хотела бы быть у него для того, чтобы поговорить с ним о своей несчастной жизни». В то время, как она пишет, «в С.-Петербурге многие обращались к нему с полным доверием, испрашивая его руководства в духовной жизни».

Распутину было сорок лет, когда он «легкой походкой» вошел в этот незнакомый ему мир петербургских салонов научить их несчастных завсегдатаев «духовной жизни» — последующее десятилетие внешне он мало менялся. «Он был одет в простой черной сибирке, — вспоминает Вырубова, — и меня поразили его пронизательные, глубоко сидевшие в глазных впадинах глаза».

«Мое внимание прежде всего обратили его глаза, — вспоминает В.Д.Бонч-Бруевич, — смотря сосредоточенно и прямо, глаза все время играли каким-то фосфорическим светом. Он все время точно нащупывал глазами слушателей, и иногда вдруг речь его замедлялась, он тянул слова, путался, как бы думая о чем-то другом, и вперялся неотступно в кого-либо, в упор, в глаза, смотря так несколько минут, и все почти нечленораздельно тянул слова. Потом вдруг спохватывался... смущался и торопливо старался перевести разговор. Я заметил, что именно это упорное смотрение производило особенное впечатление на присутствующих, особенно на женщин, которые ужасно смущались этого взгляда, беспокоились и потом сами робко взглядывали на Распутина и иногда точно тянулись к нему еще поговорить, еще услышать, что он скажет...»

В.Д.Бонч-Бруевич отмечает также манеру Распутина ходить «немного приседая и сгибаясь, быстро потирая руки».

«Григорий, поцеловав меня, — пишет Труфанов об их первой встрече, — упорно и продолжительно посмотрел своими круглыми, неприятно серыми глазами мне в лицо, потом зашлепал своими толстыми, синими, чувственными губами, на которых усы торчали, как две ветхие щетки... Волосы на голове „старца“ были грубо причесаны в скобку... Борода мало походила вообще на бороду, а казалась клочком свалявшейся овчины, приклеенным к его лицу... руки у старца были корявы и нечисты... Был одет в простой дешевый, серого цвета пиджак... брюки поражали своею отвислостью над грубыми халявами мужских сапог». Через пять лет, однако, на Распутине «была малинового атласа русская сорочка, подпоясан он был поясом с большими шелковыми кистями, брюки из дорогого черного сукна сидели на ногах в обтяжку, как у военных, дорогие лакированные сапоги бросались в глаза своим блеском и

ЧИСТОТООУ».

«Самая заурядная физиономия сибирского мужика, — описывает его Сенин, — худоцавое зарубелое лицо, окаймленное большой темно-русой бородой клином, большой нос, грубые черты лица, развитые челюсти, глубоко сидящие серые глаза, очень мутные; цвет лица испитой, не совсем здоровый, русые волосы в скобку, суконная поддевка, лакированные, бутылками сапоги».

«Испитое, с мелкими чертами лицо, нервное и тревожное, бегающие глаза, тихий голос не то монастырского служки, не то начетчика сектанта, речь отрывистая, отдельными, иногда загадочными изречениями», — характеризует Распутина Меньшиков.

«Меня поразило отвратительное выражение его глаз, — вспоминает В.Н.Коковцов. — Глубоко сидящие в орбите, близко посаженные друг к другу, маленькие, серо-стального цвета, они были пристально направлены на меня, и Распутин долго не сводил их с меня, точно он думал произвести на меня какое-то гипнотическое воздействие или же он просто изучал меня... По внешности ему доставало только арестантского армяка и бубнового туза на спине».

«Темная борода, удлиненное лицо с глубоко сидящими серыми глазами... Они впиваются в вас, как будто сразу до самого дна хотят прощупать, — пишет Джанумова о встрече с Распутиным и добавляет: — Что-то тяжелое в нем есть, как будто материальное давление вы чувствуете, хотя глаза его часто светятся добротой, всегда с долей лукавства, и в них много мягкости. Но какими жестокими они могут быть иногда и как страшны в гневе».

"Длинные, черные, растрепанные волосы, жесткая черная борода, высокий лоб, широкий прямой нос. Но общее впечатление от лица сконцентрировано на глазах — светло-голубых глазах со странными искрами, глубокими и чарующими. Их взгляд был одновременно проникающим и заботливым, наивным и хитрым, прямым и, однако, отдаленным", — описывает Распутина Морис Палеолог.

«Среднего роста, коренастый и худоцавый, с длинными руками, — пишет Феликс Юсупов, — на большой его голове, покрытой взъерошенными спутанными волосами, выше лба виднелась небольшая плешь, которая, как я впоследствии узнал, образовалась от удара, когда его били за конокрадство... Лицо его, обросшее неопрятной бородой, было самое обычное, мужицкое, с крупными некрасивыми чертами, грубым овалом и длинным носом; маленькие светло-серые глаза смотрели из-под густых нависших бровей испытующим и неприятно бегающим взглядом... Он казался непринужденным в своих движениях, и вместе с тем во всей его фигуре чувствовалась какая-то опаска...»

Светло-серые, острые, глубоко сидящие глаза Распутина «одновременно и приковывали человека и вызывали какое-то неприятное чувство, — вспоминает Арон Симанович.-...Его каштановые волосы были тяжелые и густые... На лбу Распутин имел шишку, которую он тщательно закрывал своими длинными волосами. Он всегда носил при себе гребенку, которой расчесывал свои длинные, блестящие и всегда умасленные волосы. Борода же его была почти всегда в беспорядке... Его рот был очень велик, но вместо зубов в нем виднелись какие-то черные корешки...»

И журналисты при жизни Распутина, и мемуаристы после его смерти с неодобрением и насмешкой подчеркивали или его нечистоплотность, засаленный пиджак, смазанные дегтем сапоги, черные ногти, нечесаную бороду, или же, напротив, его франтоватость, лакированные сапоги, шелковые рубашки, меховую шубу, одна газета даже назвала его «мужичком с надушенной бородой и выхоленными ногтями».

Трудно сказать, как должен был одеваться Григорий Ефимович, чтобы угодить русскому обществу, — ходить в лаптях, армяке и треухе или в лаковых туфлях, визитке и цилиндре. Положение выскочки, внезапно поднявшегося из низких в высокие слои общества, всегда

сложно, особенно в России, с ее крепкими социальными перегородками, — как бы он ни ступил и что бы ни сказал, всегда будет повод для насмешки: попал-де «с суконным рылом в калашный ряд». Такому человеку угрожают две крайности: или стремление скорее адаптироваться, казаться «таким же», что порой выходит комично, или, напротив, стремление подчеркнуть свое происхождение, утрировать чуждые новому окружению привычки, как бы тыкать ими в глаза.

Распутин любил подчеркнуть свою «простоту» и в своей одежде, обыденной жизни и поведении «на людях» во многом сохранил привычки сибирского мужика. Когда он хотел «прифрантиться», он делал это тоже по-мужицки и постепенно нашел свой стиль одежды, несколько даже «монашеский», что должно было подчеркнуть его положение «старца», в этой одежде его можно видеть на большинстве фотографий. Шелковые рубашки, шуба и шапка были подарками его поклонников и поклонниц — притом не всегда бескорыстными.

Ел Распутин тоже по-мужицки. «Обедает „он“ на кухне со всеми домашними, — записывает в дневнике его сосед в Петербурге. — Садится „он“ посередине, с одной стороны черненький господин... в роли „его секретаря“, с другой стороны растаявшая какая-то женщина, деревенская, в черном платье, с белым платочком на голове... затем сестра милосердия и девочка в коричневом коротком платье, лет 16-18, в роли прислуги-горничной. Едят суп из одной все миски деревянными ложками...» Симанович, «черненький господин», пишет, что Распутин «пользовался только в редких случаях ножом и вилкой и предпочитал брать кушанья с тарелок своими костлявыми сухими пальцами... Бросал куски черного хлеба в миску с ухой, вытаскивал своими руками эти куски опять из ухи и распределял между своими гостями». При этом-де трудно было «смотреть на него без отвращения».

И правда, не очень приятно смотреть, как залезают в суп рукой, но, с другой стороны, все подобные описания построены на контрасте: вот графини и княгини и тут же мужик, который не умеет даже есть прилично. Описания эти переходили из книги в книгу, получалось даже, что Распутин прямо черпал и ел уху руками. У крестьян этика еды отличается от «господской», а привычка есть руками едва ли должна вызывать ужас. Едят руками хлеб, без помощи рук не обгрызешь косточку, я в детстве считал, что только тогда блины вкусны, когда их ешь руками. Есть руками — это также обычай мусульман. Персидский шах Наср-эд-дин на обеде у Александра III, по словам С.Ю.Витте, «полез в общее блюдо пальцами», да и с вилкой в руках не растерялся и, сидя рядом с императрицей Марией Федоровной, «прямо полез в ее тарелку своей вилкой... взял с тарелки императрицы что-то и положил себе в рот».

Распутин «никогда не ел мяса, сладостей и пирожных. Его любимыми блюдами были картофель и овощи», — вспоминает Симанович. Он пишет, что почитатели «приносили много икры, дорогой рыбы, фруктов», но «на столе стояли всегда картофель, кислая капуста и черный хлеб... куча сухарей из черного хлеба и соль. Распутин любил эти сухари, а также предлагал их своим гостям». О том, что Распутин не ел ни мяса, ни сладостей, пишут и его дочь, и Труфанов, и Белецкий, добавляющий, что Распутин «не любил, если при нем курили, ел всегда мало, редко прибегая к ножу и вилке, из вин любил мадеру и иногда красное, минеральных отрезвляющих вод... не пил, а заменял их для отрезвления или простой водой или простым квасом». Пил он много чаю, водки не пил никогда, не пил и вина более двадцати лет, до 1914 года — но когда начал, выпить мог очень много.

Называя Распутина «грязным мужиком», его недоброжелатели подразумевали, что он грязен не только нравственно, но и физически, — едва ли это верно. «В общем он был довольно чистоплотным и часто купался», — замечает Симанович. Хорошо известно, что любимым его местом была баня, — сибиряки любят париться, и там банька стоит почти у каждого дома. Я сам сохранил прекрасное воспоминание о сибирских банях — и «по-черному» и «по-белому», — хотя мне и не приходилось в них бывать в таком изысканном обществе, как Распутину.

Почувствовав себя в мире петербургских салонов увереннее, чем у себя в деревне, Распутин тем не менее «до своей смерти оставался настоящим сибирским мужиком, — пишет его дочь, — и я думаю, что именно его простота, грубость его речи, его манера одинаково обращаться с великими князьями и крестьянами — именно это очаровало русских аристократов». «По-видимому, он нарочно показывал свою грубость и невоспитанность, — пишет Симанович. — К дамам и девушкам из общества он относился самым бесцеремонным образом, и присутствие их мужей и отцов его нисколько не смущало... Разговаривая же с крестьянами или со своими дочерьми, он не употреблял ни единого бранного слова».

Успех Распутина у Милицы и Анастасии был решающим шагом в осуществлении плана ввести «простого... православного русского человека» в царскую семью: черногорки и их мужья горячо рекомендовали «сибирского старца» в Царском Селе. Встреча Распутина с царем и царицей произошла в доме Петра Николаевича и Милицы Николаевны. 1 ноября 1905 года Николай II записал в своем дневнике: «Познакомились с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии». Распутину шел сорок второй год, Николаю — тридцать восьмой, Александре — тридцать четвертый. Это был судьбоносный день для всех троих.

Глава VI

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ ЗАТВОРНИКИ

Николай Александрович, старший сын Александра III, родился 6(18) мая 1868 года, в день Иова Многострадального. Впоследствии он любил вспоминать об этом и, как Иов, лишившись всего, не роптал на Бога. Бог, однако, не дал ему вторично ни власти, ни богатства, ни славы.

20 октября 1894 года Александр III скончался, и двадцатилетний Николай Александрович стал императором Николаем II, самодержавным монархом ста тридцати миллионов подданных, империя которого простиралась от Ледовитого океана до Индии и от Тихого до Германии. По определению С.Ю.Витте, «прежде всего и более всего от самодержца требуется сильная воля и характер, затем возвышенное благородство чувств и помыслов, далее ум и образование, а также воспитание».

Воспитанность, учтивость Николая II отмечают почти все. Что до образования — то он слушал лекции, но не сдавал экзамены. «Не знаю, насколько учение пошло впрок», — заметил читавший ему курс права Победоносцев. Витте находил, что Николай II «обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства», а Извольский понижал его до «уровня образования кавалерийского поручика» — таково мнение трех долголетних министров царя. Генерал А.А.Мосолов, человек двора, напротив, считал, что у Николая II «очень большие исторические познания». Он любил и знал военную историю, «но знание его вообще истории народа было очень слабо», — пишет В.С. Панкратов, комиссар Временного правительства, охранявший царя в Тобольске. Его удивило также, «как в такой семье, обладавшей всеми возможностями, не окружили детей лучшими преподавателями». Однако почти все, кто знал Николая II, отмечают его живой ум, способность «понимать, иногда с полуслова, нарочито недосказанное».

«Когда император Николай вступил на престол, — пишет Витте, -...он сердечно и искренно желал России в ее целом... всем ее подданным счастья и мирного бытия, ибо у императора, несомненно, сердце весьма хорошее, доброе». «Я всегда буду помнить его удивительно глубокий искренний взгляд, в котором светилась истинная доброта», — пишет А.А.Вырубова, приводя рассказ — не знаю, правда это или нет, — как «революционер, давший обет убить государя», не смог это сделать, когда их взгляды встретились. «Глаза у него были хорошие,

добрые... — показывал А.А.Якимов, один из охранников царя в Екатеринбурге. — Вообще он на меня производил впечатление как человек добрый, простой, откровенный, разговорчивый». Впрочем, «добрый взгляд императора» не помешал Якимову участвовать в его убийстве.

«Был ли он добр по натуре? — спрашивает Мосолов. — Сердце царя было полно любви... объектом коей была вся его обширная родина — и никто в частности...» Он любил горячо жену и детей, относился хорошо к сестрам и брату, к двоюродному брату Дмитрию Павловичу, к остальным членам императорской фамилии проявлял «ровно столько любви, сколько нужно было для того, чтобы оставаться в пределах корректности». Он «в отличие от своего отца, увлекаться людьми совершенно не был способен, — говорил великий князь Николай Михайлович. -...Всегда относился с холодком и опаской, идеализировать и прикрашивать их совсем не был склонен».

«В пределах корректности» Николай II оставался со всеми. Его воспитатель генерал-адъютант Г.Г.Данилович, прозванный «иезуитом», усилил природную сдержанность и скрытность царя. Николай II, пишет Мосолов, «по природе своей был весьма застенчив, не любил спорить, отчасти вследствие болезненно развитого самолюбия, отчасти из опасения, что ему могут доказать неправоту его взглядов или убедить других в этом... Данилович, вместо того чтобы учить своего воспитанника бороться, научил его этот недостаток обходить... Школа „иезуита“ Даниловича дала свои плоды, несомненно помогавшие государю в обращении, но затруднявшие ему задачу управления». При неприятных докладах он, по словам генерала П.С.Ванновского, только «ежился», как под дождем.

Дневник царя — во всяком случае с тех пор, как он стал царем, — оставляет впечатление эмоциональной притупленности, словно не способен он понимать, что испытывают другие. Разорвало бомбой его министра — он записывает: «В лице доброго Плеве я потерял друга» — и тут же следом: «Тетя Маруся завтракала... Гуляли с мама... Покатался с Мишей... Обедали на балконе...» Этими пустяками заполнены все страницы, иной раз впечатление, что читаешь дневник четырнадцатилетнего гимназиста на каникулах, а не тридцатилетнего императора в период войны и революции. Притом описаны все эти пустяки по чувству долга, удовольствия в писании он не находил.

Князь В.П.Мещерский, бывший на время confidentом трех последних императоров, «шептуном», как назвал его И.И.Колышко, почувствовал, что по-государственному образовать Николая II времени уже нет, надо хотя бы дать ему уверенность в себе. «Я уверовал в себя!» — написал царь на шестой год царствования, но едва ли чувство уверенности можно «нашептать» надолго. С.С.Ольденбург сравнивает волю царя с бегом ручья, который «огибает препятствие, отклоняется в сторону, но в конце концов стремится к своей цели». Перед Николаем II стояли такие проблемы, что нужно было быть не ручейком, а сворачивающим камни потоком — или не потечь в другом направлении.

Царь принимал все с вялым фатализмом. Убиты Бобриков и Плеве — «на то Его святая воля», сдан Порт-Артур — «на то, значит, воля Божья», подписан мир с японцами — «это, вероятно, хорошо, потому что так должно быть». Однажды он сказал министру иностранных дел Сазонову: «Я, Сергей Дмитриевич, стараюсь ни над чем не задумываться и нахожу, что только так и можно править Россией. Иначе я давно был бы в гробу».

Природный фатализм усилили печальные события его жизни. В 1881 году его дед, император Александр II, был разорван народовольческой бомбой. В 1888 году вся семья едва не погибла в железнодорожной катастрофе. В 1891 году, во время путешествия на Восток, японский полицейский ударил его саблей по голове. В 1894 году преждевременно умер его отец. В 1896 году во время его коронации в Москве было затоптано насмерть свыше двух тысяч человек. В 1899 году умер от чахотки любимый брат Георгий. С 1900 года начались убийства сановников, затем последовали неудачная война 1904-1905 годов, революция

1905-1907 годов, а как тяжелое личное горе — неизлечимая болезнь сына.

Люди, рожденные под знаком Тельца, часто отличаются упрямством — но если упрямство не соединяется с решительностью, то неумение «ни уступать, ни сопротивляться» может быть губительно. Императрица Мария Федоровна, мать Николая, находила, что у ее сына «ни воли, ни характера». «Государь не обладал достаточной силой воли, — пишет Вырубова, — это особенно сказывалось в моменты, когда надо было принимать решения... Он предпочитал открытой борьбе или хотя бы утверждению своей точки зрения — смотреть сквозь пальцы на то или на иное зло. Эту черту характера можно рассматривать как своего рода чувство неполноценности». «Царь не сердился даже в тех случаях, когда имел бы право и, быть может, был обязан высказать свое недовольство», — замечает Мосолов. «Ты думаешь так, а разве на него можно надеяться, — говорил о царе Распутин, — он может изменить каждую минуту, он несчастный человек, у него внутри недостает». «Натура государя постоянно качаться то в одно направление, то в другое», — пишет Витте, отмечая его «коварство, молчаливую неправду, неумение сказать да или нет и затем сказанное исполнить, боязненный оптимизм, т.е. оптимизм как средство подымать искусственно нервы...» Государь «никогда не выдерживал прямых возражений», — замечает В.Н.Коковцов и жалуется, что у него трудно было различить «форму ответа от истинной мысли». «Он обладал слабым и изменчивым характером, трудно поддающимся точному определению», — сетует Извольский. Еще один министр, А.Д.Протопопов, говорит о «свойстве некоторой уклончивости характера» царя, подчеркивая, что он «умный и расположенный делать добро, нервный, упрямый и переменчивый».

По заключению члена следственной комиссии Временного правительства Б.Н.Смиттена, «свидетельские показания рисуют его человеком умным, с полслова понимавшим „сделанный ему доклад, но и человеком нервным и неустойчивым, легко поддававшимся каждому влиянию извне, мастером письма и интимной беседы, умевшим быть очаровательным в разговоре вдвоем, но терявшимся в сколько-нибудь начитательном обществе, религиозным, но с оттенком мистицизма и фаталистом, безгранично преданным своей семье, но с крайней легкостью относящимся к смене лиц и потоку событий... с безотчетными и по большей части верными антипатиями и с такими же безотчетными, но совершенно необоснованными симпатиями...“

Внешне, в профиль, последний русский царь напоминал Павла I, но внутренне, мистицизмом, мягким коварством, способностью обольщать людей, скорее Александра I — без широты взглядов последнего. Человек ординарный, он оказался на совершенно не ординарном месте в совершенно не ординарное время, и чем более он чувствовал себя не на месте, тем более долг и самолюбие повелевали ему справиться с этой задачей. По его словам, он «никогда не хотел быть царем», к управлению империей не находил ни призвания, ни интереса, но как «монарх, преисполненный чувства долга», нес свой крест и «мнительно относился к этому своему праву».

Это самопринуждение приучало царя быть царем, но оно и подтачивало его постепенно. Он искал «нишу», где ему было бы спокойно, — в религии, в семье, в полку, в природе. Недаром любимым его царем был отец Петра Великого Алексей, прозванный «Тишайшим», — министр внутренних дел Д.С.Сипягин даже отделал у себя комнату в стиле XVII века и, разыгрывая боярина Морозова, принимал у себя одетого в костюм допетровской эпохи царя. «Безответственное и беспечальное житье, мне думается, должно было более отвечать и внутреннему складу последнего монарха», — пишет близко наблюдавший его генерал Ю.Н.Данилов. Государь «любил иногда „посидеть“ в полковой среде», где чувствовал себя «наиболее свободно и уверенно». Не будь он царем, «о нем сохранилась бы память как о симпатичном, простодушном и приятном в обращении человеке». «Он — Божий человек. Ну какой же он государь? Ему бы только с детьми играть, да с цветочками, да огородом заниматься, а не царством править», — якобы говорил Распутин. «Был я в лесу сегодня... Тихо там, и все забываешь, все эти дрязги, суету людскую... Там ближе к природе, ближе к

Богу», — вспоминает слова царя на одном из последних докладов М.В.Родзянко. Да и дневник царя напоминает скорее записи метеоролога-любителя, чем самодержца.

Во главе империи Николай II пытался следовать своему отцу, память которого была для него священна. Он, например, на всю жизнь остался полковником, потому что этот чин ему присвоил Александр III. Еще более свято, чем чин полковника, принял он от отца идею незыблемости самодержавия. По уму, образованию и способностям еще более ординарный, чем Николай II, Александр III был самодержцем по чувству, с органическим сознанием того, что он на своем месте, со здравым смыслом, сильной волей и твердым характером. Он доверял своим министрам, спокойно мог выслушивать возражения, но принимал незыблемые решения.

Его тринадцатилетнее царствование было шагом назад в сравнении с «эпохой великих реформ» Александра II. Если даже «шаг назад» позволил «переварить» реформы, то страна продолжала развиваться, и рано или поздно необходимо было вернуться на путь преобразований. Привилегированные классы нуждались в политических реформах, остальные жаждали реформ социальных, и действительно требовался «самодержавный» правитель, чтобы быть беспристрастным арбитром в этой борьбе интересов. Но Николай II на престоле «подражал», а не «творил», «охранял», а не «преобразовывал» — «малосамолюбивый царь и весьма самолюбивый и манерный Преображенский полковник», он как бы разыгрывал самодержца.

Александр III был строг даже со своими детьми. Не удивительно, что у слабовольного Николая это развило скрытность, тактику умолчания и обхода. Сам обманщик, он не очень-то склонен был верить и другим. Он «с самого начала своего царствования оказался большим охотником до всяких конфиденциальных и секретных записочек, а иногда и приемов», — с досадой пишет Витте и добавляет, что государь «имеет женский характер... Всякий его докладчик... в первое время после назначения пользуется особой его благосклонностью, часто переходящею границы умеренности, но затем более или менее скоро благосклонность эта сменяется индифферентностью, а иногда и нередко чувством какой-то злобы, связанной с злопамятством за то, что когда-то он его любил и, значит, недостойно, если чувство это прошло». Как только кто-нибудь из его сотрудников начинал приобретать решающий голос в государственных делах, Николай II старался сразу же усилить или найти ему соперника.

Александр III был гигантского роста и обладал большой физической силой. Я в детстве видел серебряный рубль, который он согнул и подарил моему деду, служившему в Преображенском полку. Николай II был небольшого роста и некрупного сложения, особенно при официальных церемониях могло это его немного угнетать. Сознание своей внутренней и внешней слабости приводило к некоторой переоценке роли силы, защищающей его. Так, на донесении прибалтийского генерал-губернатора, недовольного офицером, который во время аграрных волнений «не только расстреливал, но и вешал главных агитаторов», Николай II — при всей своей доброте — начертал: «Молодец!»

Государь «не любил, когда чувствовал, что уступает другому», — писал А.Д.Протопопов и более резко Витте: «Государь не терпит иных, кроме тех, кого он считает глупее себя». С одной стороны, это верно — особенно если сравнить тех, кто окружал Николая II в начале его царствования, как Победоносцев, Витте, Плеве, с теми, кем он окружил себя в конце, — Раевым, Голицыным, Протопоповым, все людьми весьма заурядными. Но, с другой стороны, «терпел» Николай более десяти лет того же Витте, более пяти — Столыпина, людей, чье превосходство он признавал, кого боялся и кто давил его своей волей. То же можно сказать и о Распутине.

Мне кажется, что у Николая II был своего рода «сыновний комплекс» — он искал бессознательно некоего сильного, как отца, человека, за спиной которого он мог бы укрыться от житейских бурь, — и, как строгого отца, начинал этого человека обманывать и восставать

против него, чтобы проявить свое придавленное "я".

Единственным близким ему человеком была его жена. Он увидел ее впервые двенадцатилетней девочкой на свадьбе своего дяди Сергея Александровича и ее старшей сестры Елизаветы Федоровны, влюбился в нее и впервые проявил свою «текущую, как ручеек» волю, вопреки желанию родителей настояв, что она станет его женой. Если не считать короткого романа с танцовщицей Матильдой Кшесинской, Александра была его единственной женщиной. «Мой дорогой мальчик, никогда не меняющийся, всегда преданный, — вписала она в его дневник на третий месяц после их объяснения. — Верь и полагайся на твою девочку, которая не в силах выразить словами своей глубокой и преданной любви к тебе... Я люблю тебя еще больше после того, что ты мне рассказал».

Алике Виктория Елена Луиза Беатриса, принцесса Гессен-Дармштадтская, родилась 25 мая (6 июня) 1872 года. Она была веселой девочкой, «солнышком», как прозвала ее мать, но когда ей было шесть лет, мать внезапно умерла, и это наложило глубокий отпечаток на характер девочки. С детства у нее стали проявляться черты властности, упрямства и набожности — так что гофмаршал Гессенского двора по секрету сказал русскому послу в Берлине: «Какое для Гессен-Дармштадта счастье, что вы от нас ее берете».

Александр III дал согласие на брак и даже торопил приезд Алике ввиду своей тяжелой болезни и предчувствия смерти. Невеста наследника приехала в Россию почти незамеченной, и последние недели накануне свадьбы прошли у постели умирающего царя. Здесь уже проявились те черты характера будущей царицы и ее отношения к мужу, которые стали так отчетливы позднее. «Не позволяй другим быть первыми и обходить тебя, — записывает она в его дневник. — Ты — любимый сын Отца, и тебя должны спрашивать и тебе говорить обо всем. Выяви свою личную волю и не позволяй другим забывать, кто ты». Когда в 1905 году "государь принимал решения, которые я советовал не принимать, — вспоминает Витте, — я несколько раз спрашивал его величество, кто это ему посоветовал. Государь мне иногда отвечал: «Человек, которому я безусловно верю». И когда я однажды позволил спросить, кто сей человек, то его величество мне ответил: «Моя жена». «Мне много приходилось наблюдать, что во всех вопросах Александра Федоровна имела решающий голос, — пишет Панкратов о их жизни в 1918 году. — Николай Александрович хотя и возражал, но очень слабо».

В конце октября 1894 года, в то время как бальзамировали тело только что усопшего императора, Алике была крещена по православному обряду и получила имя Александры Федоровны, как и жена Николая I. Крещение было условием брака, но при ее глубокой религиозности переход из протестантизма в православие был нелегко, ее даже освободили от обязанности трижды отречься от старой веры. Что бы ни сыграло решающую роль, но она обратилась к новой религии со всем жаром души. Особенно поразила ее древняя обрядовая сторона православия, так контрастирующая с очень простыми внешними формами протестантизма. «Для императрицы старина была дорога в мистическом отношении, — пишет Григорий Шавельский, — она уносила ее в даль веков, к тому уставному благочестию, к которому, по природе, тяготела ее душа».

Но и земная жизнь поначалу радовала ее. «Я никогда не могла представить себе возможность подобного беззаботного счастья на этом свете, — писала она в дневнике Николая. — Отныне нет больше разлуки... и когда здешней жизни придет конец, мы встретимся опять на другом свете, чтобы быть вечно вместе». Между этой записью и той страшной ночью, когда они последний раз глянули друг другу в глаза в подвале ипатьевского дома, прошло двадцать четыре года. Не знаю, встретились ли они опять «на другом свете», но на этом их любовь сохранилась до последнего дня, и вполне возможно, что, будь Александра Федоровна женой «гвардейского полковника», ее жизнь была бы счастлива — но она была женой русского царя.

Она хотела любить русский народ и быть им любимой, но «народ» был понятием отдаленным и неосязаемым, реальным было окружающее ее «общество». Ни протестантское воспитание, ни православное неофитство не способствовали сближению Александры Федоровны с петербургским светом, который со времен Екатерины II имел оттенок некоторого вольтерьянства и не прочь был посмеяться над ханжеством; да и вообще, видимо, нет ничего такого, над чем бы не посмеялся русский человек.

Сами обстоятельства брака, заключенного через неделю после похорон, способствовали отчуждению молодой императрицы, как бы «прибывшей за гробом». Неудачно сложились и отношения со вдовствующей императрицей — обе претендовали на первенство, и взаимная неприязнь сохранилась на всю жизнь. Да и сами молодые супруги стремились к уединению и в качестве постоянной резиденции выбрали не Петербург, а Царское Село. Они мечтали о тихой семейной жизни — но даже радость материнства оказалась для Александры Федоровны смешанной с горечью.

В ноябре 1895 года она должна была родить, ждали наследника, но царица родила девочку, и затем это стало повторяться регулярно каждые два года: Ольга в 1895 году, Татьяна в 1897-м, Мария в 1899-м, Анастасия в 1901-м. Появились уже стишки о «причитании над молодой царицею, рождающей со стенанием девицу за девицею». Все это еще более побуждало царя и особенно царицу отгораживаться от общества. Конечно, приглашение на чай, шутка, улыбка, несколько доброжелательных слов со стороны Александры Федоровны могли бы изменить отношение к ней — но она если и хотела, то не умела этого, она мучительно терялась в обществе, ее холодное красивое волевое лицо покрывалось красными пятнами, она не знала, что сказать, при этом была полна сознанием дистанции между нею и ее подданными.

Отчуждению царицы от русской жизни, даже в том ее ограниченном виде, какой представлял петербургский свет, способствовали и ее болезни, прежде всего истощавшая ее истерия. Много времени царица проводила, лежа под портретом Марии-Антуанетты в своем бледно-фиолетовом будуаре, среди любимых ею живых цветов. Впрочем, по словам св.Серафима Саровского, «буде же Господу Богу угодно будет, чтобы человек испытал на себе болезни, то Он же подаст ему и силу терпения». У царицы был интерес ко всему, что связано с болезнью, и она находила своеобразное удовольствие в уходе за больными.

Довольно часто причина женской истерии — половая неудовлетворенность. Иногда, даже с любимым мужем, женщина начинает чувствовать себя женщиной только после рождения ребенка, но не всегда. Письма царицы к мужу, уже в последние годы их брака, полны любви, но без чувственной страсти, заметной в письмах царя, у нее они скорее пронизаны материнской нежностью. Царь описывает, как «увидел напротив между деревьями двух маленьких собак, гонящихся друг за другом. Через минуту одна из них вскочила на другую, а спустя еще минуту они слепились и завертелись, сцепившись... — они визжали и долго не могли разъединиться, бедняжки», или пишет: «Через шесть дней я опять буду в твоих объятиях и буду чувствовать твои нежные уста — что-то где-то у меня трепещет при одной мысли об этом!» Царица только раз — скорее иронически — касается этой темы, рассказывая, как батюшка запрещает матросам смотреть на совокупляющихся вокруг церкви аистов, «и они дразнят его, говоря, что он сам, наверное, смотрит сквозь щелку церкви».

С годами у царицы развивалась скупость, проявлявшаяся в мелочах и потому очень комичная для одной из самых богатых семей России, вроде того, что она давала наследнику донашивать платья сестер, а дочерям жемчужины покупала по три в год, чтобы не тратиться сразу на целое ожерелье. Быт семьи напоминал быт средних буржуа. Даже религиозность царицы, несомненно искренняя и глубокая, внешне носила мещанский оттенок, судя по тем религиозным картинкам, которые она собирала, и тем стихам, которые она выписывала к себе в тетрадку.

Не занятая, однако, государственными делами, царица не только искала утешения в Боге, но нуждалась и в чьей-то земной интимной дружбе. Такими подругами стали сначала Анастасия и Милица, а летом 1905 года императрица близко сошлась со своей молоденькой фрейлиной Анной Танеевой. Обе они, по-институтски невинно, были влюблены в генерал-майора А.А.Орлова, командира Уланского полка, шефом которого была императрица. Она хотела выдать Танееву за Орлова, но тот умер в 1906 году — по словам насмешника Витте, лишь бы не выходить за Танееву, похожую «на пузырь от сдобного теста». Она вышла за лейтенанта Александра Вырубова, с которым в 1908 году разошлась, целиком посвятив себя царской семье. По словам Вырубовой, с царицей ее сблизили религия и любовь к музыке. У царицы был сильный низкий голос, у Вырубовой высокое сопрано, и они часто пели дуэтом, хотя Николай и «не любил, когда государыня пела».

Царь и царица считали, что «сердце царево — в руках Божьих», между самодержцем и Богом существует мистическая связь и Бог дает царю знаки, как он должен поступать и чего ждать. Иногда эти указания поступают прямо в «сердце царево» — «совесть моя меня никогда не обманывала», иногда через «Божьих людей», простецов, далеких от страстей мира и потому близких к Богу. Александра ожидала этих знаков и чудес с верой и страстью, у Николая — при его житейском скептицизме — проскальзывало иногда недоверие, если не к самому Богу, то к его посланцам.

Первыми такими посланцами оказались два француза — «доктор» Филипп и «маг» Папюс. Папюс, протеже Филиппа, мелькнул дважды — в 1900 и 1905 годах, большого следа не оставив. Влияние Филиппа было более глубоким. Филипп Ницье-Вашо, как и Распутин, родился в крестьянской семье, но пятнадцатью годами раньше — в 1849 году. Двадцати трех лет он бросил торговлю в мясной лавке и занялся оккультизмом. Постепенно он приобрел известность целителя, и большим его поклонником стал русский военный атташе в Париже граф В.В.Муравьев-Амурский. Через него Филипп познакомился с черногорками Анастасией и Милицей, которые ввели его в царскую семью, и начиная с 1902 года он несколько раз секретно приезжал в Россию.

Вскоре после начала русско-японской войны царица записала в дневник мужа: «Бог и наш друг помогут нам!» Однако еще до окончания войны, 20 июля (2 августа) 1905 года, Филипп Вашо умер, или, по уверению его поклонников, «поднялся живым на небо, окончив на планете свою миссию». На столе у императрицы осталась «синяя кожаная рамка с несколькими высушенными цветами в ней — подарок мсье Филиппа; он утверждал, что сам Христос прикасался к ним». Он оставил царице также «икону с колокольчиком, который, — как она пишет царю, — предостерегает меня о злых людях и препятствует им приближаться ко мне. Я это чувствую и таким образом могу и тебя оберегать от них». Перед отъездом из России Филипп предсказал Николаю и Александре, что скоро они будут иметь «другого друга, который будет говорить с ними о Боге».

Филиппу Вашо пришлось уехать, так как влияние иностранцев беспокоило православных иерархов. Черногорками была даже устроена встреча между ним и Иоанном Кронштадтским, чтобы показать последнему если не святость, то хотя бы безобидность Филиппа. К императрице был введен архимандрит Феофан, ставший на короткое время ее негласным духовником, но, видимо, не сумевший увлечь ее. В этой атмосфере — при жажде живого чуда, но при условии, чтобы оно было русским, — возникла мысль о канонизации Серафима Саровского.

Монах Саровской пустыни Серафим (1760-1833) еще при жизни пользовался славой великого подвижника. Кроме того, существовало предание о пророчестве им судьбы будущих царей: на теперешнее царствование приходились сначала беды и нестроения, затем война, смута, вторая же его половина обещала быть благополучной. В 1902 году, предвидя беды и нестроения, Николай II предложил обер-прокурору Синода представить ему указ о провозглашении Серафима Саровского святым. Победоносцев доложил, что Святейший

Синод провозглашает святым после долгих предварительных исследований. Царица возразила, что «государь все может». Все же согласились отложить канонизацию Серафима на год. 17 июля 1903 года Николай II, обе императрицы, члены императорской фамилии, многие сановники и епископы прибыли в Саров. На следующий день, при скоплении трехсот тысяч богомольцев, произошло торжественное прославление Преподобного Серафима Саровского. Ночью императрица купалась в пруду, где имел обыкновение — даже зимой — купаться святой.

Тогда же начались знакомства царя и царицы с «русскими мистиками»: «босоножкой Пашей» — по выражению императрицы Марии Федоровны, «злой, грязной и сумасшедшей бабой», блаженной «Дарьей Осиповной», «странником Антонием», «босоножкой Васей», косноязычным «Митей Козельским», он же «Коляба», он же «Гугнивый». Боюсь, все народ менее приятный в общении, чем «мсье Филипп» с его лучистыми глазами, изящными манерами и тихим голосом. При первом визите в Царское Село Митя, напугав царицу, будто бы дважды промышчал нечленораздельно, первый раз толкователь пояснил: «Детей видеть пожелал», а второй: «Чаю с вареньем запросил».

«Что касается святости и чудес святого Серафима, — сказал царь три года спустя, — то уже в этом я так уверен, что никто никогда не поколеблет мое убеждение. Я имею к этому неоспоримые доказательства». 30 июля 1904 года, через 12 месяцев и 12 дней после молитв у гроба святого и купания в пруду, императрица Александра Федоровна благополучно разрешилась от бремени. «Незабвенный, великий для нас день, в который так явно посетила нас милость Божия, — записал Николай в дневнике. — В 1 1/4 дня у Алике родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем». Так что не ударили русские святые и блаженные лицом в грязь, который раз посрамили иностранных!

8 сентября, однако, царь записал с тревогой: «Очень обеспокоены кровотечением у маленького Алексея», скоро выяснилось, что у наследника гемофилия, загадочная болезнь несвертывания крови, поражающая мужчин и передаваемая через женщин. Алексей получил пораженные гены от матери, а та через свою мать от бабки — королевы Виктории. Малейший ушиб мог вызвать внутреннее кровотечение и кончиться смертью — отныне отец и мать суждены были жить в постоянном страхе за жизнь единственного и долгожданного сына.

Глава VII

ЦАРЬ И ВИТТЕ

«История показывает, — говорил Витте барон Ротшильд в 1902 году, — что предвестником крупных событий в странах, в особенности событий внутренних, всегда является водворение при дворах правителей странного мистицизма». Однако первые годы царствования Николая II прошли спокойно. Он верил в совершенство самодержавного строя и вслед за своим учителем Победоносцевым считал, что «земляной силой инерции... как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории». «Самодержавие», означавшее сначала независимость царя от иностранных государей, уже к концу XVII века стало означать независимость его от собственного народа. Николай II смотрел на страну скорее как помещик на свою вотчину: он хотел заботиться обо всех этих полях, лесах, мужичках, лошадях и коровах, но едва ли отдавал себе отчет, что его двуногие подданные захотят распорядиться собою сами.

Реформы его деда, Александра II, возродили в России начатки самоуправления: положением 1864 года были созданы выборные губернские и уездные земские учреждения, получившие часть хозяйственных функций местной администрации. Александр III, опасаясь идеи

самоуправления, сузил права земств и ограничил в них число представителей малоимущих классов — как обратный эффект это вызвало стремление не только отвоевать прежние права, но и расширить их. Николай II назвал это «бессмысленными мечтаниями», но скорее он тешил себя мечтаниями, что Россия может остаться неизменной.

Годы его царствования были годами быстрого промышленного и культурного развития. Временами правительство мешало этому, но в большей степени содействовало. Часто, однако, именно то, что правители поддерживают в надежде найти твердую опору, постепенно обращается против них. Экономический рост и связанный с ним подъем образования создавали новые социальные классы и обостряли отношения между старыми и их претензии к властям. «Высший класс (дворянство) был не прочь ограничить... государя, но только в свою пользу — создать аристократическую или дворянско-конституционную монархию, — пишет Витте, — купечество-промышленность мечтало о буржуазной конституционной монархии, гегемонии капитала... интеллигенция, т.е. люди всевозможных вольных профессий, — о демократической конституционной монархии с мыслями перейти к буржуазной республике... рабочий класс мечтал о большем пополнении желудка, а потому увлекался всякими социалистическими государствоустроительствами; наконец, большинство России — крестьянство — желало увеличения земли, находящейся в их владении, и уничтожения произвола распоряжения им как со стороны высших поместных классов населения, так и со стороны всех видов полиции... его мечта была... царь для народа...»

В феврале 1899 года произошло первое открытое выступление против власти — студенческие волнения в Петербурге, а затем по всей стране. Николай II выбрал «твердый курс» — в ответ начались организация революционных и либеральных партий, волнения в деревнях и на заводах и, что особенно напугало правительство, возобновился революционный террор.

Как два оттягивающих пластыря в распоряжении правительства были еврейские погромы и угроза внешнего врага. На Пасху 1903 года, за три месяца до Саровских торжеств, в Кишиневе произошел погром с десятками человеческих жертв — если не по указанию, но при попустительстве министра внутренних дел В.К.Плеве. Он же говорил, что для удержания революции «нужна маленькая победоносная война».

Скорее всего, даже без победоносной войны «земляная сила инерции» еще долго удерживала бы Россию от потрясений. Но молодой честолюбивый автократ Николай II хотел проявить себя на международной арене. Начал он, если можно так сказать, с двух противоположных концов. Как бы следуя линии Александра III, «царя-миротворца», он в 1898 году выступил с идеей всемирной конференции по разоружению, став, таким образом, инициатором многочисленных, но практически бесполезных конференций, которые продолжаются и до сего дня. В том же году, однако, русские войска заняли Порт-Артур, «арендовав» его у Китая, а двумя годами ранее Николай одобрил план внезапного захвата Константинополя — и только Витте с трудом его отговорил из опасения европейской войны. В 1905 году с ведома царя обсуждался проект о вооружении черного населения Африки для борьбы с англичанами. Но все же его главные интересы сосредоточились на Дальнем Востоке.

Россия всегда старалась расширяться в том направлении, где у ее границ создавался политический вакуум, такой вакуум к концу XIX века создался в Китае. Отчасти Александр III указал сыну это направление, направив в путешествие на Восток. Отчасти его кузен германский император Вильгельм II подталкивал его к решительным действиям на Тихом океане. Отчасти его заинтересовал Витте, который привлек его еще наследником к председательству в комитете по строительству транссибирской железной дороги.

Если Витте был одним из инициаторов дальневосточной политики — то он же был и противником ее обострения, считая, что нужно использовать только дипломатические и

экономические рычаги, избегая войны как с Китаем, так и с желавшей получить свою долю в Китае Японией. Витте знал, где и когда нужно остановиться — Николай II этого не знал и был уверен, что «войны не будет, потому что я ее не хочу».

Но его не спросили. В ночь с 26 на 27 января 1904 года японские миноносцы атаковали русские суда на внешнем рейде Порт-Артура. Началась «маленькая война», и русские поражения последовали одно за другим: 31 марта и 28 мая был выведен из строя Дальневосточный флот, 17-23 августа был проигран бой при Ляоляне, 22 декабря пал Порт-Артур, 15-20 февраля 1905 года последовало поражение при Мукдене, 14-15 мая в Цусимском проливе был разбит Балтийский флот, с огромными трудностями дошедший до китайских берегов вокруг Африки. Раздаваемые войскам иконки св.Серафима Саровского не помогали.

По мере военных поражений росло напряжение в обществе и растерянность в правительстве. Как полумера 12 декабря 1904 года появился Указ «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», но он ничего уже не мог остановить. 9 января 1905 года в Петербурге произошли события, ставшие началом роковой эпохи 1905-20 годов, в которую решилось будущее России. Шествие рабочих во главе со священником Григорием Гапоном, с хоругвями, иконами и портретами царя двигавшееся к Зимнему дворцу просить «облегчения тяжелой участи», было расстреляно войсками: несколько сот безоружных людей было убито.

Предыстория «кровавого воскресенья» необычна. В 1901 году начальник Московского охранного отделения полковник С.В.Зубатов предложил создать под покровительством полиции профессиональные организации рабочих, с тем чтобы вырвать их из-под влияния радикальной интеллигенции. Он нашел полную поддержку у московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и у министра внутренних дел В.К.Плеве, в октябре 1902 года был назначен заведующим Особого (политического) отделения Департамента полиции и начал организовывать рабочие кружки по всей стране. 21 ноября 1902 года группа рабочих-зубатовцев была принята Плеве, а 10 декабря — Петербургским митрополитом Антонием (Вадковским).

Для противодействия бундовцам и сионистам Зубатову удалось создать довольно сильные еврейские рабочие союзы на юге — но успех организованных ими забастовок напугал правительство, и 19 августа 1903 года Зубатов был уволен. Николай II якобы сказал Плеве: «Богатого еврейства не распускайте, а бедноте жить давайте». «Государь это сказал мне, — орал Плеве на Зубатова, — ...господин же Зубатов позволил себе сообщить слова государя своему агенту, жидюге Шаевичу, за что я и предам его суду!»

Падение Зубатова не остановило «зубатовщины» — выдвинутый им агент Петербургского охранного отделения священник Гапон, с одобрения Плеве, организовал петербургское «Общество взаимного вспомоществования рабочих». Противодействие Витте задержало утверждение его устава, и отделения начали открываться только с октября 1904 года. В декабре на открытии нового отделения выступил петербургский градоначальник И.А.Фуллон, пожелавший рабочим «всегда одерживать верх над капиталистами». Большинство высших бюрократов были землевладельцами и угрозы землевладению со стороны рабочих не видели — 9 января их отрезвило.

Гапон не организовал шествия по указанию полиции — его самого нес поток событий, и скорее полицейские власти оказались в плену своего доверия к нему. После расстрела демонстрации, спасенный эсером П.Рутенбергом, он затем, по указанию желавшего избежать обострений Витте, был вывезен за границу И.Манасевичем-Мануйловым. Там Гапон занял крайне антимонархическую позицию, но вскоре через С.П.Рачковского опять установил контакты с Департаментом полиции, и 28 марта 1906 года, заманенный Рутенбергом на дачу в Финляндии, был повешен группой рабочих.

19 января 1905 года, по инициативе новоназначенного петербургского генерал-губернатора Д.Ф.Трепова, Николай II в подвале Царскосельского дворца принял «делегацию» подобранных полицией рабочих и сказал им: «Я верю в честные чувства рабочих и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их». Ему, однако, кровь 9 января никогда не простили, как не простили и слова о «бессмысленных мечтаниях».

Для рассмотрения «рабочего вопроса» была организована комиссия под председательством сенатора Н.В.Шидловского, в которую по фабрикам и заводам должны были избираться представители от рабочих. Ничего из комиссии не вышло, но предложенный принцип выбора лег осенью 1905 года в основу выборов первого Петербургского совета рабочих депутатов — прообраза всех последующих Советов, по имени которых теперешний режим называется «советским». Есть что-то трагикомическое в том, что и манифестация, начавшая революцию, и организация, ставшая символом ее конечной победы, были начаты отчасти по полицейско-бюрократической инициативе.

4 февраля 1905 года революционный террор коснулся царской семьи — брошенной И.П.Каляевым бомбой был убит дядя царя, великий князь Сергей Александрович, на свадьбе которого он впервые увидел Алике. Елизавета Федоровна, старшая сестра царицы, посетила в тюрьме убийцу своего мужа и, опустившись на колени на каменном полу камеры, молилась вместе с ним. «Мы смотрели друг на друга, — писал об этом свидании Каляев, — не скрою, с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые остались в живых. Я — случайно, она — по воле организации, по моей воле». Великая княгиня протянула Каляеву икону, сказав, что будет молиться за него, и он эту икону взял. Однако они не поняли друг друга: Елизавета Федоровна думала, что, принимая икону, Каляев раскаивается в убийстве, он же увидел в иконе княгини молчаливое «покаяние ее совести за преступления великого князя».

Болезненно переживая просочившиеся на волю слухи о свидании, Каляев писал перед казнью: «Теперь, когда я стою у могилы, все кажется для меня сходящимся в одном — в моей чести как революционера, ибо в ней моя связь с Боевой организацией за гробом». Так никогда и не узнав, что во главе Боевой организации эсеров стоял полицейский агент Е.Азеф, Каляев был казнен в ночь на 10 мая в Шлиссельбургской крепости. Перед казнью крест целовать он отказался, но поцеловал священника. Палач «не сумел как следует накинуть петлю, — вспоминает Гершуни, — и Иван Платонович так долго бился в судорогах, что присутствующий при этом начальник штаба корпуса жандармов барон Медем грозил палачу расстрелом, если он не прекратит муки повешенного».

19 февраля был опубликован царский рескрипт министру внутренних дел А.Г.Булыгину о созыве законосовещательной думы. 6 июня Николай II принял представителей съезда земских и городских деятелей, сказав им: «Отбросьте ваши сомнения. Моя воля, воля царская — созвать выборных от народа — непреклонна». Прошло десять лет с тех пор, как 17 января 1895 года он читал тем же людям нотацию о «бессмысленных мечтаниях об участии представителей земства в делах внутреннего управления». Теперь же и законосовещательная дума, и успокоительные речи никого не успокаивали — все части огромного механизма, именуемого российским государством и обществом, дергались вразнобой, все более расшатывая его. К волнениям в деревне и в городах добавились мятежи в армии и на флоте, всего через неделю после царской речи земцам выбросил красный флаг броненосец «Потемкин». Глава полиции генерал-майор Трепов, прозванный Витте «вахмистр Гамлет», бросался из одной крайности в другую. Именно к нелюбимому царем Витте начали обращаться взгляды как к единственному человеку, способному без большого урона закончить войну и обуздать революцию.

Сергею Юльевичу Витте шел пятьдесят седьмой год. По матери у него были предки среди русской аристократии, но отец его был из голландских выходцев, получивших дворянство, как и отец Ленина, за личные заслуги. После смерти отца С.Ю.Витте начал службу на частной

железной дороге. В 1888 году он потребовал, чтобы снизили скорость императорского поезда, сказав, что он «государю голову ломать не хочет». Александр III был поражен его дерзостью, но через два месяца императорская семья чуть не погибла в железнодорожной катастрофе в Борках — и Витте был назначен директором Железнодорожного департамента Министерства финансов. Александр III сильно увлекся Витте: уже в начале 1892 года тот был назначен министром путей сообщения, а через несколько месяцев — министром финансов. Это внезапное назначение привело к бюрократическому курьезу: только что Витте направил в Министерство финансов бумагу с убедительными доводами, что Департамент железнодорожных дел должен быть переведен в Министерство путей сообщения, а теперь сам ответил на нее, что, по еще более веским основаниям, департамент должен остаться в Министерстве финансов.

Напористый выскочка, со своими резкими манерами и новороссийским акцентом, Витте как нож в масло входил в слегка расслабленную петербургскую бюрократическую среду. Никогда не став там «своим», он благодаря воле, уму и креативным способностям десятилетие доминировал в правящих кругах, и прежде всего с именем Витте связывают промышленный бум девяностых годов. Он оказывал также значительное влияние на внешнюю политику, но именно из-за их расхождений в дальневосточном вопросе царь в 1903 году снял Витте с поста министра финансов и назначил на почетный, но лишенный реального влияния пост председателя Комитета министров. Теперь, после русских поражений, Витте, вообще на язык несдержанный, говорил на каждом углу о «мальчишеской политике», «авантюре», о том, как он был прав. Все это любви Николая II к нему не усиливало — пришлось, однако, идти на поклон к Витте.

Президент США Теодор Рузвельт предложил России и Японии свое посредничество, и оно было принято. Назначаемые царем главноуполномоченные для переговоров, однако, отказывались, понимая, что после поражений мир почетным быть не может, но именно их потом царь, армия и придворная камарилья объявят виновниками позорного мира. Скрепя сердце царь обратился к Витте, все еще надеясь, что мирные переговоры — это уловка успокоить общественное мнение, японцы потребуют слишком многого, Витте не уступит — и в возобновившихся военных действиях русская армия покроеет себя славой. А не покроеет — так Витте виноват, не сумел заключить мира.

Однако 16 августа 1905 года мирный договор был подписан в Портсмуте. Конtribusiции Россия не платила, но уступала Японии южную часть Сахалина — северную японцы должны были эвакуировать. «Когда Япония приняла наши условия, ничего не оставалось, как заключить мир», — записал в своем дневнике великий князь Константин Константинович. Теперь царь и царица «точно в воду опущены. Наша действующая армия увеличивалась, военное счастье, наконец, могло нам улыбнуться...» В общем, если бы они нас догнали — мы бы им показали!

15 сентября, встреченный громадной толпой, Витте возвратился в Россию. На следующий день Николаем II был ему пожалован титул графа — крайне правые тут же прозвали его «графом Полусахалинским». Несмотря на тяжесть поездки, Витте сохранил неплохие воспоминания об Америке и американцах, их простоте, чувстве собственного достоинства и демократичности. Об американских политиках он отозвался скорее скептически: «Я был удивлен, как мало они знают политическую констелляцию вообще и европейскую в особенности. От самых видных их государственных и общественных деятелей мне приходилось слышать самые наивные, если не сказать невежественные политические суждения». Сам Витте поразил президента Рузвельта «как очень эгоистичный человек, совершенно без идеалов».

7 сентября началась железнодорожная забастовка — страна была наполовину парализована. Наполовину парализована была и власть. Витте предложил Николаю II два варианта: либо покончить с революцией военной силой — он, Витте, ни по своим взглядам, ни по своему

опыту на роль военного диктатора не годится, либо стать на путь либеральных преобразований — с какой программой он, Витте, может возглавить правительство. «Мне думается, что в те дни государь искал опоры в силе, — пишет Витте, — он не нашел никого из числа поклонников силы — все струсили, а потому сам желал манифеста, боясь, что иначе он совсем стушется». Надеялись очень царь и камарилья на великого князя Николая Николаевича как военного диктатора — но тот угрожал царю застрелиться у него на глазах, если он не примет условия Витте.

Витте хотел, чтобы новая программа была возведена распубликованием его всеподданнейшего доклада с утверждающей резолюцией царя. Ближайшее окружение внушало царю, что Витте метит в президенты будущей Российской республики, уж если возвещать ненавистные свободы, так царским манифестом, как при освобождении крестьян. Царь еще колебался и по-византийски вел за спиной Витте переговоры с И.Л.Горемыкиным — «но исхода другого не оставалось, как перекреститься и дать то, что все просят».

17 октября 1905 года, в семнадцатую годовщину спасения династии в Борках, Николай II, перекрестившись, подписал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», даровавший населению «незыблемые основы гражданской свободы» и Государственную Думу, без одобрения которой «никакой закон не мог бы воспринять силу». «После такого дня голова стала тяжелой и мысли стали путаться, — записал он в дневнике. — Господи, помоги нам, усмири Россию».

Творец русской конституции или «полуконституции», граф Витте вовсе не был либералом и сторонником конституционного строя. Германский канцлер Бюлов заметил ему как-то, что он «был хорошим министром при Александре III, был бы еще более на месте при Николае I, Николаю II он был также полезен, пока царь был самодержцем». Витте стал доказывать, что он сумеет сотрудничать с парламентом, — Бюлов возразил, что либерализма и европейской культуры Витте он не отрицает, но стиль его мышления русский, старой школы, и его первого смоят открытые шлюзы парламентаризма. «Я до сих пор держусь того убеждения, — пишет сам Витте, — что наилучшая форма правления, особенно в России при инородцах, достигающих 35% всего населения, есть неограниченная монархия...» Самодержавие, однако, требует и самодержца с сильной волей и здравым смыслом — «царь, не имеющий царского характера, не может дать счастья стране».

Ранее деятельность министров координировал только царь, Витте впервые в русской истории стал председателем объединенного правительства, вступив «в управление империей при полном ее если не помешательстве, то замешательстве». Если власть упорно не проводит социально-экономические реформы, то начинают выдвигаться политические требования как средства осуществления социально-экономических. Витте верил в «неизбежный исторический закон», а потому — «когда самосознание народных масс значительно возросло... другого выхода, как разумного ограничения... самодержавия, нет». Витте считал, что если он даст либеральной интеллигенции, буржуазии и дворянству долю в управлении страной, рабочим улучшит фабричное законодательство, а крестьянству ускорит выкуп дворянских земель и облегчит правовое положение — то он успокоит эти классы и оторвет их от радикальной интеллигенции как главного фермента революции.

Однако у Николая II личное и династическое явно преобладало над политическим. В «неизбежный исторический закон» он не верил, «способностью понимать реальную сложную обстановку» не обладал, и его взгляд на историю можно назвать «детективным»: добрый русский народ, любящий батюшку-царя, стал жертвой коварного заговора. «Я высказал его величеству мое мнение, — пишет князь В. Орлов, — что революция вообще это борьба, подстрекаемая скрытыми силами... Мы имеем дело с организацией масонской в совокупности с еврейскими деньгами... Я рассказал царю подробно... о влиянии масонства на политику и о средствах масонства убийствами и другими способами добиваться власти Израиля над вселенной... Я заметил, что государь относится ко мне с большим доверием,

мне казалось, что государь и императрица меня полюбили, и я стал еще более преданной собакой их величеств».

Евреи были манией царя. Своей матери он объяснял, что «вся забастовка, а потом и революция была устроена ими при помощи сбитых с толку рабочих». Он заблокировал все попытки Витте, а позднее Столыпина постепенно предоставить равноправие евреям. Скорее всего, в душе он одобрял погромы. «Народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, — писал он матери, — а так как 9/10 из них — жида, то вся злость обрушилась на тех — отсюда еврейские погромы». На докладе о погроме, устроенном в декабре 1905 года в Гомеле жандармским офицером, он наложил резолюцию: «Какое мне до этого дело?» Даже в Тобольской ссылке в ноябре 1917 года, расшифровывая псевдонимы главарей революции, он рядом с каждым вписал еврейскую фамилию, рядом с Лениным — «Ульянов (Цедерблюм)». Так же неприязненно царь относился к интеллигенции, говоря неоднократно, что ему «противно это слово». Ему вторила царица: «Да, интеллигенция против царя и его правительства, но весь народ всегда был и будет за царя!» — правительство во второй части своей формулы она не упомянула.

Витте нужна была вся его жажда власти и дела, чтобы возглавить это не поддерживаемое ни царем, ни народом правительство. Манифест 17 октября не успокоил сразу Россию, как на это рассчитывал наивно Николай II, но во всяком случае оторвал либералов от революционеров. Дворянство было готово «делить пирог» с буржуазией, пишет Витте, «но ни дворянство, ни буржуазия не подумали о сознательном пролетариате... Он, как только подошел к пирогу, начал реветь как зверь, который не остановится, чтобы проглотить все, что не его породы. Вот когда дворянство и буржуазия увидели сего зверя, то они начали пятиться».

Они пятились, а Витте как ловушку открывал для них вхождение в правительство. Спор возник из-за того, кто будет министром внутренних дел: Витте сам этот пост брать не хотел, давать его неопытному земцу — тем более, речь шла о том, кто выполнит грязную работу по подавлению революции. Витте нужен был человек умный и решительный, знакомый с организацией полиции и лояльный по отношению к нему самому, — такого человека, как ему казалось, нашел он в лице П.Н.Дурново. Общественные деятели войти с Дурново в правительство не захотели — и не столько по политическим соображениям, сколько по моральным, П.Н.Дурново, будучи директором Департамента полиции, выкрал из стола испанского посла письмо своей любовницы, а затем устроил ей сцену ревности, резолюция Александра III была: «Убрать эту свинью в 24 часа!»

Витте, однако, предпочел П.Н.Дурново — и ни в его уме, ни в его решительности не разочаровался. Дурново, если можно так сказать, успешно сбивал революционный пожар по принципу «когда горит дом, стекло не жалеют». Он обманул другие ожидания Витте — не стал на его сторону против царя, а постепенно вошел с тем в доверительные и не зависящие от Витте отношения. Витте «окончательно потопил сам себя в глазах всех, — может быть, исключая иностранных жидов», — писал Николай матери 12 января 1906 года, но «Дурново — внутрен[них] дел — действует прекрасно».

Еще больше затруднений вызвал у Витте Д.Ф.Трепов, ушедший с поста петербургского генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел по полиции, но назначенный дворцовым комендантом. «Трепов для меня незаменимый своего рода секретарь, — простодушно пишет Николай матери. — Он опытен, умен и осторожен в советах. Я ему даю читать толстые записки от Витте, и затем он мне их докладывает скоро и ясно. Это, конечно, секрет для всех!» Не знаю, выиграли или нет социально-экономические и политические теории Витте в изложении конногвардейского офицера.

После подавления декабрьского восстания в Москве становилось ясно, что пик революции преодолен, на апрель 1906 года было назначено открытие Государственной Думы — и за

несколько дней до этого, заключив необходимый правительству заем, но не успев провести намеченные реформы, Витте вместе со всем кабинетом (кроме министров двора, морского и военного) подал в отставку. Неприязнь Николая II ко всему, что было связано с революцией, манифестом и Витте, была так сильна, что он — первый и последний раз — принял отставку всего кабинета. Одновременно с уходом Витте кончился и роман царя с Дурново, не ждавшим, что царь примет его отставку, а чуть позже и с Треповым, в немилости умершим от разрыва сердца летом того же года.

В эти страшные месяцы мысли царя и царицы сосредоточились вокруг двух главных пунктов.

Самодержавие, если не вполне утраченное, было урезано манифестом 17 октября. Царь видел в самодержавии связь между ним, Богом и народом, его и царицы навязчивой идеей стало восстановление самодержавия, которое Николай передал бы своему сыну столь же неприкосновенным, как он получил от отца.

Страх за жизнь сына, который мог умереть от своей неизлечимой болезни, стал их второй навязчивой идеей.

При их склонности к мистицизму более всего по душе пришелся бы им кто-то — чуждый политической и придворной грязи, но близкий Богу и народу, — кто внушил бы им веру, что их самодержавие поколеблено не будет, а сын не умрет. 1 ноября 1905 года, через полмесяца после подписания манифеста о свободах и через тринадцать с половиной месяцев после первого кровотечения у наследника, Николай II записал в своем дневнике: «Познакомились с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии».

Глава VIII

ЦАРЬ И СТОЛЫПИН

Считая революцию делом рук «жидов», «поляков», «масонов» и «интеллигентов», Николай II ждал, когда же народ наконец откроет глаза и встанет за «батюшку-царя». Спонтанное монархическое движение почти в России не было известно, на защите монархизма стояло правительство, которое долго ни в каких союзниках не нуждалось, да едва ли бы и потерпело их. Исключением была созданная после убийства народовольцами Александра II «Священная дружина», один из инициаторов которой, молодой С.Ю.Витте, вскоре вышел из этого «по меньшей мере смешного, если не грязного и гадкого дела». Дружина действовала под наблюдением Департамента полиции и пользовалась методами провокации, в частности за границей выпускалась ею газета «Правда» — якобы революционная, но с задачей нарочито утрировать народовольческую программу. Название оказалось столь удачным, что впоследствии его взяли для своих газет сначала Л.Д.Троцкий, а затем В.И.Ленин, основанная им «Правда» выходит до сих пор.

Однако, по мере надвигания революции, стали возникать и монархические организации: «Русское собрание» в Петербурге в 1901 году, «Общество хоругвеносцев», «Союз русских людей» и «Русская монархическая партия» в Москве и «Партия правового порядка» в Петербурге в 1905 году. 17 октября послужило сигналом и для «революционеров слева», вышедших на улицу с красными знаменами и лозунгом «Долой самодержавие», и для «революционеров справа», вышедших с трехцветными знаменами и лозунгами неограниченного самодержавия. В Москве для борьбы с «красными» были созданы «черные сотни», по всей стране начались еврейские погромы, нападения на «левые» демонстрации и политические убийства «справа».

Сначала это движение было в значительной степени спонтанным и довольно сильным, опираясь на еще живые в народе монархические, православные и национальные чувства, а также на естественное раздражение обывателей забастовками, в частности были очень активны лавочники, лишившиеся заработка из-за прекращения подвоза товаров. Однако черносотенцы сразу же были взяты под крыло не только Департаментом полиции, но и царицей вместе с дворцовой камарильей, увидевшими в них заслон против революции.

Граф Витте, в дом которого черносотенцами были подложены две бомбы, по счастью неразорвавшиеся, приводит характерный разговор с председателем Совета министров Столыпиным.

— Из вашего письма, граф, — сказал Столыпин, — я должен сделать одно заключение: или вы меня считаете идиотом, или же вы находите, что я тоже участвовал в покушении на вашу жизнь? Скажите, какое из моих заключений более правильно?

— Вы меня избавьте от ответа на такой щекотливый с вашей стороны вопрос, — ответил Витте.

Вопрос, конечно, щекотливый, если учесть, что Столыпин через своего товарища С.Е.Крыжановского давал субсидии крайне правым, так что бомбы были изготовлены на правительственные деньги. Царь, впрочем, намекал, что Витте чуть ли не сам подложил себе бомбы, и писал матери, что «уже скверные газеты начинают проповедывать, что он вернется к власти и что он только один может спасти Россию. Очевидно, жидовская клика опять начнет работать, чтобы сеять смуту, которую с таким трудом мне и Столыпину удалось ослабить». Николай II как бы совсем забыл, что всего год назад не «жидовская клика», а его мать писала ему, что «теперь, наверное, единственный человек, который может тебе помочь и принести пользу, — это Витте».

Уже через неделю после манифеста 17 октября был основан Союз русского народа, многие черносотенные организации в себя вобравший. Его целью было провозглашено «развитие национального русского самосознания и прочное объединение русских людей всех сословий и состояний для общей работы в пользу дорогого нашего отечества — России единой и неделимой... Благо родины — в незыблемом сохранении православия, русского неограниченного самодержавия и народности». По всей стране начали открываться отделения Союза во главе с А.Дубровиным, В.Пуришкевичем, А.Тришатным, П.Крушеваном, Н.Марковым-2-м — людьми до тех пор неизвестными.

Хотя в устав был внесен пункт, что «евреи в члены Союза никогда допущены быть не могут, даже в том случае, если они примут христианство», во главе московского отделения оказался крещеный немецкий еврей В.А.Грингмут. Особую точку зрения занимал в Кишиневе П.Крушеван, отстаивая поголовное крещение евреев, при котором «вместо семи миллионов врагов было бы семь миллионов братьев по Христу». В 1911 году в Одессе появилась своего рода «параллельная» организация — «Общество евреев, молящихся Богу за царя и правительство».

В Союз русского народа вошли многие православные иерархи: и престарелый Иоанн Кронштадтский, и юный иеромонах Илиодор, и далекий от мира аскет архимандрит Феофан, и жаждущий борьбы епископ Гермоген. Хотя создан был перепуганными землевладельцами Совет объединенного дворянства, войти в бессловесный Союз русского народа захотела и часть дворян, преимущественно та, по словам Витте, «которая носит в себе только проглоченную пищу, а не идеи». Что гораздо важнее, в Союз символически вступил «первый русский дворянин» император Николай II. 23 декабря 1905 года он принял депутацию Союза во главе с детским врачом А. Дубровиным, который дал ему значки Союза для него и наследника.

Царь искал поддержку справа. Зимой 1905-го и весну 1906 года он постоянно посещал гвардейские полки и принимал представителей новоорганизованных монархических партий, пустив в ход слова «истинно русские люди» в отличие от просто русских. Его настроения менялись по мере подавления революции. 1 декабря он сказал представителям монархических организаций: «Манифест, данный мною 17 октября, есть полное и убежденное выражение моей непреклонной и непреложной воли». 23 декабря, после подавления восстания в Москве, царь, ни словом не упоминая манифест, сказал: «Бремя власти я буду нести сам... Во власти я дам отчет перед Богом». Лучше всего двусмысленную позицию, на которой он продержался двенадцать лет, передают его слова 16 февраля 1906 года: «Реформы, которые мной возведены манифестом 17 октября, будут осуществлены неизменно... самодержавие же мое останется таким, как оно было встарь».

С первых лет царствования хотел Николай II установить через головы бюрократов прямую связь с народом — вроде Павла I, повесившего ящик для народных жалоб на стене дворца. Теперь, слушая речи Дубровина и Пуришкевича, царь и царица верили, что слышат голос «возлюбленного народа». Тем же «народничеством» объяснялось желание царя и многих бюрократов иметь консервативное крестьянское большинство в Думе. На совещании в июле 1905 года сенатор А.А.Нарышкин предложил отменить ценз грамотности для думских депутатов, так как «неграмотные мужики» отличаются «цельным мировоззрением... проникнуты охранительным духом, обладают эпической речью», тогда как грамотные «увлекаются проповедуемыми газетами теориями». Царь согласился, что «такие крестьяне с цельным мировоззрением внесут в дело более здравого смысла и жизненной опытности».

Этих надежд крестьяне не оправдали. Правда, политически они были консервативны, республике предпочитали «батюшку-царя», раз уж без начальства не обойтись. Но гораздо важнее для них было получить землю, еще остающуюся в помещичьих руках. "Самая серьезная часть русской революции, — пишет Витте, — конечно, заключалась не в фабричных, железнодорожных и тому подобных забастовках, а в крестьянском лозунге: «Дайте нам землю, она должна быть нашей, ибо мы ее работники».

В 1898 году Николай II поддержал проект Витте разрешить крестьянам переселение в Сибирь, несмотря на противодействие землевладельцев, боявшихся, что это удорожит труд по обработке помещичьей земли. Теперь сами помещики настаивали на переселении как способе оттянуть жадные крестьянские руки от их земель. Понятие частной собственности на землю было слабо развито в России, ни общинное владение землей, ни принудительное ее отчуждение при освобождении крестьян этого чувства воспитать не могли. Витте склонялся к плану дальнейшего отчуждения — и часть землевладельцев, напуганная «красным петухом», ухватилась за это как за шанс получить хотя бы компенсацию. Но как только революционная волна спала — они первыми бросились на Витте. Тот пожертвовал министром земледелия Н.Н.Кутлером, но Витте это не спасло. Вопрос, допускать или нет в Думе дебаты о принудительном отчуждении, стал последней каплей в его столкновении с царем, и на его место был 24 апреля 1906 года назначен лояльный бюрократ И.Л.Горемыкин, «оловянный чиновник, отличающийся от тысячи подобных своими большими баками».

По новым Основным законам, Россия получила две законодательные палаты: нижнюю — Государственную Думу, и верхнюю — преобразованный Государственный Совет, состоявший частью из выборных, частью из назначенных царем членов. 27 апреля 1906 года в Георгиевском зале Зимнего дворца, в присутствии членов обеих палат, министров, членов императорской фамилии, Николай II открыл первое законодательное собрание России, которое всего полтора года назад поклялся никогда не допустить. «Я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от себя», — сказал царь. «Их лица дышали какою-то непонятной мне ненавистью против всех нас», — в ужасе отозвалась о «лучших людях» императрица-мать. А министр двора барон Фредерикс нашел, что «депутаты скорее похожи на стаю преступников, ожидающих сигнала, чтобы зарезать всех сидящих на правительственной скамье».

Крестьянское большинство Думы жаждало обсуждать вопрос о земле. Первым же правительственным законопроектом, внесенным на обсуждение, было представление о кредите на прачечную и оранжерею — это вызвало раздражение и насмешки. После двух с половиной месяцев напряженных дебатов и закулисных переговоров о создании министерства из «общественных деятелей» царь распустил Думу и назначил новые выборы. Взятый «на затычку» И.Л.Горемыкин был уволен в отставку, а председателем Совета министров назначен П.А.Столыпин, сохранивший и пост министра внутренних дел.

Вторая Дума — уже без царского приветствия — открылась 20 февраля 1907 года, оказалась по своему составу еще более радикальной и 3 июня при помощи полицейской провокации распущена. Одновременно было опубликовано новое «Положение о выборах», менявшее и без того цензовый избирательный закон, чтобы предоставить большинство крупным землевладельцам, а также урезать долю нерусских. Изменение закона не было проведено с согласия законодательных палат, т.е. было государственным переворотом сверху.

Организатору третьеиюньского переворота Петру Аркадьевичу Столыпину шел сорок пятый год, когда он возглавил правительство взбаламученной империи. Крайне не любивший его Витте пишет, однако, что «по темпераменту Столыпин был государственный человек, и если бы у него был соответствующий ум, соответствующее образование и опыт, то он был бы вполне государственным человеком». Относительно опыта это было верно, Витте занимал министерские посты с 1892 года, Столыпин же только губернаторские с 1902-го, учиться управлять охваченной анархией страной он должен был на самом высоком административном посту, имея за спиной нерешительного и коварного царя.

Витте потому особенно не любил Столыпина, что тот проводил во многом его политику, только, по мнению Витте, гораздо хуже, чем это бы делал он сам. Оба они были чужаками для петербургской бюрократии, и их возвышения — своего рода исторические мутации: Витте на пост министра был возведен с частной службы волей Александра III, Столыпин с поста провинциального губернатора — безволием Николая II, искавшего «сильного человека». Их догосударственный опыт был разный: Витте связан был с промышленниками, Столыпин — с землевладельцами.

Все в России знают, что «столыпинский галстук» — это висельная петля, что «столыпинский вагон» — в нем я трижды проехал из Москвы в Сибирь — вагон для перевозки заключенных, но о «столыпинской реформе» если и имеют представление, то смутное. Между тем Столыпин понимал, что России необходима сильная власть не чтобы заморозить страну, но чтобы провести необходимые реформы. В отличие от Плеве, душившего революцию без веры во внутренние силы монархии, Столыпин верил в свое дело. Кроме проведенной им земельной реформы, он составил обширный проект преобразований — в 1911 году проект был передан царю и таинственно исчез, что, может быть, показывает отношение Николая II к реформам.

Как человек консервативных взглядов, Столыпин хотел сохранить монархию и аристократическое землевладение, но, как человек «революционной эпохи», искал опереться на какие-то общественные силы: сначала на Союз русского народа и других правых, затем на умеренных «националистов» и «октябристов». Пытался он безуспешно создать право-центристский фронт, но затем от черносотенцев дистанционировался. В отличие от шамкающего Горемыкина, он уверенно чувствовал себя на думской трибуне.

"Эти нападки, — говорил он, — рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «руки вверх». На эти слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: «не запугаете!» (6 марта 1907 г.). Россия «сумеет отличить... кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей» (13 марта 1907 г.). «...Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма,

путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» (10 мая 1907 г.). «... Историческая самодержавная власть и свободная воля монарха являются драгоценнейшим достоянием русской государственности» (18 ноября 1907 г.). «...Мы... строим только леса... Противники наши указывают на эти леса как на возведенное нами безобразное здание и яростно бросаются рубить их основание. И леса эти неминуемо рухнут... но пусть, пусть это случится тогда, когда из-за этих обломков будет уже видно... здание обновленной, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия... России» (11 февраля 1909 г.). Это звучит почти как речь революционера, правда, Столыпин оговорился, что речь идет о России, «преданной, как один человек, своему государю».

В 1909 году Столыпин сказал: «Дайте правительству двадцать лет покоя... и вы не узнаете нынешней России!» Той России оставалось восемь лет, самому Столыпину — два года. Если взять не проектируемые им реформы и благородные речи, но то, что реально было сделано им, то окажется, что он не развязал, а скорее еще более связал три болезненных проблемы.

Во-первых, проблему правопорядка. Понимая необходимость сотрудничества между правительством и обществом, он, возможно, хотя бы ценой третьеиюньской кастрации хотел сохранить Думу. Возможно, чрезвычайными положениями и военно-полевыми судами, т.е. террором справа, он хотел прекратить террор слева. Однако, положив в основу власти нарушение закона и злоупотребление законом, соображения целесообразности, а не законности, он не мог рассчитывать на создание правового государства, в «третьеиюньской монархии» власть могла держаться только на силе. По словам И.Г.Щегловитова, столыпинского министра юстиции, Столыпин считал, что «когда в государственной жизни создается необходимость какой-нибудь меры — для таких случаев закона нет... если для него какая-нибудь мера представлялась необходимой, то он никаких препятствий не усматривал...». Да и его предшественник, а затем преемник Горемыкин считал, что «закон и незакон трудно чрезвычайно различить». Это вполне по-большевистски, и никакое прочное сотрудничество между властью и обществом на такой основе невозможно.

Во-вторых, крестьянскую проблему. 9 ноября 1906 года был опубликован указ, разрешающий свободный выход крестьян из общины с наделением землей, которая обращалась в их личную собственность. После одобрения указа обеими палатами он превратился в закон 14 июня 1910 года, который дополнительно установил обязательность перехода к личной собственности в тех общинах, где не было земельных переделов с 1861 года. Планы разрушения общины и уравнивания крестьян в правах с другими сословиями были разработаны еще Сельскохозяйственным совещанием во главе с Витте. Столыпинский указ не уравнивал крестьян в правах, а разрушение общины исходило не столько из интересов крестьян, сколько из попытки оградить дворянское землевладение: превращая крестьян в частных собственников, Столыпин рассчитывал, что он привьет им уважение к принципу собственности и они, желая сохранить свою землю, не посягнут и на дворянскую. Конечно, раздел 130 тысяч поместий все равно не дал бы достаточно земли на 13 миллионов крестьянских дворов, в то же время погубив часть наиболее производительных хозяйств. Конечно, дворянское землевладение и без насильственного отчуждения сокращалось и могло бы практически исчезнуть к сороковым годам. Но спокойных десятилетий быть не могло — и лишь отчуждение дворянских земель могло психологически успокоить крестьян, снять в деревне болезненное противопоставление «нашего» и «барского», после чего только могло сельское хозяйство пойти по фермерскому пути. Без этого ни разрушение общины, ни поощрение переселенческого движения, ни продажа дворянской земли проблему не снимали. Не прошло и девяти лет, как «разумные и сильные» новые собственники чуть ли не впереди «слабых и пьяных» общинников бросились разорять дворянские усадьбы.

В-третьих, национальную проблему. Любой строй ищет надежную идеологическую опору — не удивительно, что по мере ослабления монархического принципа в России стал к началу XX века выдвигаться националистический. Опыт Столыпина в западных губерниях с сильным

польским, литовским и еврейским элементом заставил его острее это почувствовать. Он выдвигал русский национализм как основу государственной политики, выступая против поляков и финнов, устранив всю Среднюю Азию от выборов в Думу и урезав представительство Кавказа и Польши. Его желание постепенно расширить права евреев этому не противоречило: он считал, что равноправие повело бы к ассимиляции евреев; как и для остальных «инородцев», путь к равноправию должен был идти через обрусение. Политика «Россия для русских», однако, и за «двадцать лет покоя» не превратила бы поляков или татар в русских, как она их за двести лет не превратила, но в то беспокойное время она только накалила национальные страсти и усилила центробежные силы. Скорее политика постепенной автономизации и федерализации — под общей властью царя — могла если не решить, то смягчить национальную проблему.

8 июля 1906 года в Петербурге и губернии вместо уже существующего положения об усиленной охране было введено положение о чрезвычайной. 12 августа, в три часа пополудни, у дачи министра внутренних дел на Аптекарском острове остановилась коляска, «жандармский генерал» остался в коляске, «ротмистр» подошел к крыльцу, штатский вошел в дом — и почти тут же последовал взрыв. Находящийся в приемной Преображенский офицер не слышал взрыва, но вдруг увидел, как его собеседнику снесло голову. Выходящие в сад стены дома рухнули, было убито 27 человек, 32 тяжело ранены, двое из них скончались в ближайшие дни. Террорист в штатском был убит, двое в военной форме скончались от ран. У маленького сына Столыпина было сломано бедро, у дочери раздроблены обе ноги. Когда солдаты выкопали ее из-под досок и мусора, она спросила: «Это сон?» «Мои бедные дети, мои бедные дети», — повторял Столыпин, сам не получивший ни одной царапины. Сын его поправился и дожил до преклонных лет — я встречался с ним в 1978 году в Париже, дочь навсегда осталась калекой. У ее постели он пригласил помолиться срочно вызванного из Покровского Григория Распутина.

Глава IX

ЦАРЬ И РАСПУТИН

Столыпин пригласил Распутина по совету царя или царицы, которые все более увлекались сибирским старцем. В 1906 году ему посвящены три записи в дневнике царя: «18 июля... Вечером были на Сергиевке и видели Григория... 13 октября... В 6 1/4 к нам приехал Григорий, он привез икону Св. Симеона Верхотурского, видел детей и поговорил с нами до 7 1/4... 9 декабря... Обедали Милица и Стана. Весь вечер они рассказывали нам о Григории».

Но царь и царица чувствовали, что, принимая «мужика», они нарушают неписаное правило царской изоляции. Для царей сложны простые вещи. Вырубова вспоминает, как Николай II позавидовал цветным носкам офицеров — у него самого всегда черные, поручить же купить цветные «вовлекло бы так много людей, что он и думать не хотел об этом». Распутин тоже был «цветными носками», получить которые путем обычной дворцовой процедуры было нелегко, поэтому его посещения обставлялись как контрабанда, вводился он через задние двери, записи в камер-фурьерских журналах делались редко. Но эта «секретность» скорее способствовала распространению «распутинской легенды».

«Он часто бывал в царской семье... — показывала Вырубова. — На этих беседах присутствовали великие княжны и наследник... Государь и государыня называли Распутина просто „Григорий“, он называл их „папа“ и „мама“. При встречах они целовались, но ни государь, ни государыня никогда не целовали у него руки». «Он им рассказывал про Сибирь и нужды крестьян, о своих странствиях. Их величества всегда говорили о здоровье наследника

и о заботах, которые в ту минуту их беспокоили. Когда после часовой беседы с семьей он уходил, он всегда оставлял их величества веселыми, с радостными упованиями и надеждой в душе».

Царю Распутин давал то же, что когда-то «шептун» Мещерский, — уверенность. В разгар революции царь и царица были напуганы проповедью Волынского архиепископа Антония о «последних временах». «А я долго их уговаривал плюнуть на все страхи и царствовать. Все не соглашались. Я на них начал топтать ногою и кричать, чтобы они меня послушались. Первая государыня сдалась, а за нею царь... Они у меня спрашивают обо всем... О войне, о думе, о министрах», — рассказывал Распутин Труфанову в 1909 году. «Я ему говорю, и у нас были такие сцены, что он кидался на меня, хотел меня бить, а потом просил прощения со слезами», — рассказывал Распутин о своих отношениях с царем Манасевичу-Мануйлову в 1916 году. «Я знаю, что он иногда даже кулаком стучал... — говорил Белецкий. — Это была борьба слабой воли с сильной волей».

Распутин поддерживал глубокую потребность царя руководствоваться не сложными рассуждениями министров, а простыми велениями души. "Государь, государыня с наследником на руках, я и он сидели в столовой во дворце, — вспоминает архимандрит Феофан. — Сидели и беседовали о политическом положении в России. Старец Григорий вдруг как вскочит из-за стола, как стукнет кулаком по столу. И смотрит прямо на царя. Государь вздрогнул, я испугался, государыня встала, наследник заплакал, а старец и спрашивает государя: «Ну, что? Где екнуло, здесь али тут?» — при этом он сначала указал пальцем себе на лоб, а потом на сердце. Государь ответил, указывая на сердце: «Здесь, сердце забилося!» «То-то же, — продолжал старец, — коли что будешь делать для России, спрашивай не ума, а сердца. Сердце-то вернее ума!»

«Всякий другой, подходя к царю, встретил бы на своем пути волю царицы, — пишет Протопопов. — Распутин же имел не только ее поддержку, но послушание...» По рассказам придворных, она «сначала не могла хорошенько усвоить себе его отрывистую речь... быстрые переходы с предмета на предмет», но затем в этом скаканье слов и мыслей стала видеть признак их подлинной глубины, ничего не имеющей общего с поверхностным связным рациональным объяснением. Царица считала, что «для Бога нет ничего невозможного» и что Бог всегда будет услышан «чистой душой» — надо искать и ждать, как и через кого проявится милость Божия. Она поверила, что эту «чистую душу» без лицемерия и лукавства — нашла в Распутине.

«Распутин не менялся в обществе государыни, — показывала ее вторая после Вырубовой конфидентка, Юлия Ден, — но оставался таким же, каким он был и в нашем обществе. Государыня, видимо, относилась к нему с благоговением: в разговоре с ним она называла его „Григорием“, а за глаза она называла его „отцом Григорием“. В беседах со мной и с Вырубовой она говорила о том, что верит в силу его молитвы». «По словам царицы, он выучил ее верить и молиться Богу; ставил на поклоны, внушал ей спокойствие и сон», — вспоминает Протопопов.

Царя и царицу, привыкших к лицемерию и карьеризму, подкупали прямота и даже грубость Распутина. В том, что он обращался к ним на «ты», называл в глаза «папа» и «мама», а за глаза «сам» и «сама», многие видели особо изошренное лицемерие — он, дескать, понимал, что это нравится. Скорее всего, он понимал это, но он и внутренне был таким. По наблюдениям Панкратова, царская семья «испытывала жажду встреч с людьми из другой среды, но традиции, как свинцовая гиря, тянули ее назад и делали рабами этикета». Так что человек из другого мира, притом необыкновенный, как Распутин, «делался предметом общего внимания, если только придворная клика вовремя не успевала его выжить». Один из многих неразличимых подданных «батюшки-царя» и в то же время один из немногих, избранных Богом говорить правду, он вдвойне отвечал формуле «Бог — царь — народ», передавая царю и веления Бога, и просьбы народа.

Распутин потому еще привлек сердца царя и царицы, что понравился их детям, для которых однообразие Царскосельского дворца было особенно тяжело. Распутин говорил им о Боге, играл с ними, рассказывал сказки — кто познакомился в детстве с миром русских сказок, не забудет Кощея Бессмертного, Бабу Ягу, Серого волка, Царевну-лягушку, Медведя, бредущего ночью по деревне и скрипящего деревянной ногой — «скурлы-скурлы», Лису, попросившуюся переночевать: сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, палочку на печку — да и расположившуюся как хозяйка. "С детьми я часто шучу, — рассказывал Распутин. — Было раз так: все девочки сели ко мне на спину верхом, Алексей забрался на шею мне, а я начал возить их по детской комнате. Долго возил, а они смеялись. Потом слезли, а наследник и говорит: «Ты прости нас, Григорий, мы знаем, что ты — священный и так на тебе ездить нельзя, но это мы пошутили».

Ольга Александровна, младшая сестра царя, вспоминает, как осенью 1907 года Николай II спросил, хочет ли она познакомиться с крестьянином, и ввел ее в детскую. Она увидела Распутина в окружении царских детей, уже в ночных рубашках. «Кажется, он нравился детям, они чувствовали себя с ним непринужденно. Вспоминаю маленького Алексея, вообразившего себя кроликом и прыгающего по комнате. А затем, совершенно внезапно, Распутин схватил его за руку и повел в спальню, мы трое последовали за ним. Наступило молчание, словно мы были в церкви. В спальне Алексея не горело ни одной лампы, слабый свет исходил только от лампадки перед чудной иконой. Ребенок, очень спокойно, стоял рядом с гигантом, кивавшим головой. Я поняла, что он молится... Я поняла также, что мой маленький племянник молится вместе с ним. Я не могу описывать это — но я была тогда совершенно уверена в искренности этого человека...»

Важнее, чем сказки, игры и молитвы, была способность Распутина помогать мальчику при кровотечениях. «Я видела этот чудесный результат собственными глазами не один раз, — вспоминает Ольга Александровна, — я также знала, что это признают его лечащие врачи. Профессор Федоров, выдающийся специалист, пациентом которого был Алексей, не раз говорил мне это, вместе с тем все врачи крайне не любили Распутина». Фрейлина Е. Н. Оболенская, удаленная от двора из-за нападок на Распутина, рассказывала, как «она присутствовала однажды при разговоре врачей во время одного из наиболее сильных припадков гемофилии, когда они были бессильны остановить кровотечение. Пришел Распутин, пробыл некоторое время у постели больного, и кровь остановилась». Вырубова вспоминает, как в 1915 году ни проф. Федоров, ни д-р Деревенко не могли остановить кровь — императрица срочно послала ее за Распутиным. «Он приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к кровати, перекрестил наследника, сказал родителям, что серьезного ничего нет и им нечего беспокоиться, повернулся и ушел. Кровотечение прекратилось». Джанумова вспоминает, как при ней Распутина позвонили из Царского Села. «Что? Алеша не спит? Ушко болит? Давайте его к телефону... Ты что, Алешенька, полуночицаешь? Болит? Ничего не болит. Иди сейчас ложись. Ушко не болит. Не болит, говорю тебе. Слышишь? Спи!» Через пятнадцать минут опять позвонили. У Алеши ухо не болит. Он спокойно заснул". «Теперь и лечат меня, и молятся, а пользы нет, — говорил сам наследник, когда Распутина не стало. — А он, бывало, принесет мне яблоко, погладит меня по больному месту, и мне сразу становится легче».

Мне, однако, не кажется верным распространенный взгляд, что главной причиной влияния Распутина на царя и царицу была его способность лечить наследника, к тому же им сознательно преувеличиваемая. Нет никаких прямых свидетельств, что Распутин преувеличивал свой дар, — скорее наоборот. Например, он пишет царице на ее запрос о помощи: «Милая дорогая мама! Тилиграмму получил. Не грусти, молись, милось Божья не по грехам, а по молитвам. Веруй — и наследник будет здоров. А я молюсь неустанно, но что могу? И никто как Бог, человеку не дано».

В переписке царя и царицы (1914-1916) об исцелениях наследника Распутиным упоминается редко, тогда как его «внушенные Богом» политические советы дебатировались постоянно. Есть

свидетельство, что, во всяком случае, к концу жизни, Александра Федоровна придавала больше значения государственным делам, чем здоровью Алексея. В апреле 1918 года, когда Николая неожиданно вывезли из Тобольска, она бросила больного сына и поехала с мужем, боясь, что без нее «опять его заставят что-нибудь сделать, как раз уже заставили». Очевидно, она думала, что Николая принудят одобрить мир с немцами, как ранее принудили отречься от престола. «Я должна оставить мальчика и разделить жизнь или смерть мужа», — сказала она.

Думаю, что по мере того, как царь чувствовал все большую усталость от государственных дел, а царица все более в них вовлекалась, главной причиной растущего распутинского влияния становилась его способность внушать царю и царице уверенность в себе, давать им политические советы и санкционировать их действия именем Бога. Даже и при здоровом наследнике Николаю и Александре, с их мистицизмом, нужен был бы такой человек.

Лучше всего представление об отношении к Распутину на четвертый год их знакомства дают письма к нему царицы и ее дочерей.

"Возлюбленный мой и незабвенный учитель, спаситель и наставник, — пишет ему тридцатисемилетняя Александра. — Как томительно мне без тебя. Я только тогда душой покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову склоняю на твои блаженные плечи. О, как легко мне тогда бывает. Тогда я желаю все одного: заснуть, заснуть навеки на твоих плечах, в твоих объятьях. О, какое счастье даже чувствовать одно твое присутствие около меня. Где ты есть. Куда ты улетел. А мне так тяжело, такая тоска на сердце... Только ты, наставник мой возлюбленный, не говори Ане о моих страданиях без тебя. Аня добрая, она хорошая, она меня любит, но ты не открывай ей моего горя. Скоро ли ты будешь опять около меня. Скорее приезжай. Я жду тебя и мучаюсь по тебе. Прошу твоего святого благословения и целую твои блаженные руки. Во веки любящая тебя

Мама".

"Бесценный друг мой, — пишет четырнадцатилетняя Ольга. — Часто вспоминаю о тебе, как ты бываешь у нас и ведешь с нами беседу о Боге. Тяжело без тебя: не к кому обратиться с горем, а горя-то, горя сколько. Вот моя мука. Николай меня с ума сводит. Как только пойду в собор, в Софию и увижу его, то готова на стенку влезть, все тело трясется... Люблю его... Так бы и бросилась на него. Ты мне советовал поосторожнее поступать. Но как же поосторожнее, когда я сама с собою не могу совладать... Ездим часто к Ане. Каждый раз я думаю, не встречу ли я там тебя, мой бесценный друг; о если бы встретить там тебя скорее и попросить у тебя советов насчет Николая. Помолись за меня и благослови. Целую твои руки.

Любящая тебя

Ольга".

"Дорогой и верный друг мой, — пишет двенадцатилетняя Татьяна. — Когда же ты приедешь сюда. Долго ли ты будешь сидеть в Покровском. Как поживают твои детки. Как Матреша. Мы, когда собираемся у Ани, то вспоминаем всегда всех вас. А как хотелось бы побывать нам в Покровском. Когда же настанет это время. Скорее устрой все; ты все можешь. Тебя так Бог любит. А Бог, по твоим словам, такой добрый, хороший, что непременно исполнит все, что ты задумаешь. Так скорее же навести нас. А то нам без тебя скучно, скучно. И мама болеет без тебя. А нам как тяжело на нее, больную, смотреть. О, если бы ты знал, как нам тяжело переносить мамину болезнь. Да ты знаешь, потому что ты все знаешь. Целую тебя горячо и крепко, мой милый друг. Целую твои святые руки.

До свиданья. Твоя

Татьяна".

"Милый, дорогой, незабвенный мой друг, — пишет десятилетняя Мария. — Как я соскучилась по тебе. Как скучно без тебя. Не поверишь ли, почти каждую ночь вижу тебя во сне.

Утром, как только просыпаюсь, то я беру из-под подушки евангелие, тобою мне данное, и целую его... Тогда я чувствую, что как будто тебя я целую. Я такая злая, но я хочу быть доброю и не обижать нашу милую, хорошую, добрую няню. Она такая добрая, такая хорошая, мы все ее так любим. Помолись, незабвенный друг, чтобы мне быть всегда доброю. Целую тебя. Целую твои светлые руки. Твоя навсегда

Мария "

"Милый мой друг, — пишет восьмилетняя Анастасия. — Когда мы тебя увидим. Аня вчера мне сказала, что ты скоро приедешь. Вот я буду радоваться. Я люблю, когда ты говоришь нам о Боге. Я люблю слушать о Боге. Мне кажется, что Бог такой добрый, такой добрый. Помолись ему, чтобы он помог маме быть здоровой. Часто вижу тебя во сне. А ты меня во сне видишь? Когда же ты приедешь? Когда ты будешь в детской нашей говорить нам о Боге? Скорее езжай, я стараюсь быть пай, как ты мне говорил. Если будешь всегда около нас, то я всегда буду пай. До свиданья. Целую тебя, а ты благослови меня. Вчера я на маленького обиделась, а потом помирилась. Любящая тебя твоя

Анастасия "

Они были получены или похищены Илиодором у Распутина и им опубликованы. Ставилась под сомнение их подлинность, но ее подтверждают Вырубова и Коковцов, которые видели письма. Скорее всего письма написаны в августе 1909 года во время пребывания Ани Вырубовой (Ани) в Покровском. Враги царицы пытались впоследствии представить ее письмо как доказательство любовной связи с Распутиным — это, однако, противоречит как всему, что известно об их отношениях, так и смыслу самого письма — обращения экзальтированной ученицы к духовному учителю. Письма великих княжон несколько отредактированы, что видно при сравнении с другими письмами Ольги и Анастасии, не ставшими достоянием гласности:

"Ливадия, 1909 г. 28-го ноября.

Мой милый, дорогой, любимый друг.

Так жалко, что давно тебя не видела. Часто очень хочу тебя видеть и много о тебе думаю. Где ты будешь на Рождестве? Пожалуйста, напиши мне письмо, я так их люблю от тебя получать. Как поживают твоя жена и дети. Помнишь, что ты мне говорил про Николая, что не надо слишком, но правда, если бы ты мог знать, как это трудно, когда я вижу, то ужасно. Прости ты меня пожалуйста, я знаю наверное это не очень хорошо, мой добрый Друг. Дай Бог мама дорогая в эту зиму не будет больше хворать, а то это будет совсем страшно грустно и тяжело. Так бываю рада видеть от времени до времени отца Феофана. Раз его видела в новом соборе в Ялте. Наша маленькая церковь здесь ужасно миленькая. До свидания дорогой очень любимый друг. Пора пить чай. Помолись за очень верную тебе и горячо любящую тебя твою

Ольгу".

"Я очень хотела бы тебя видеть. Я видела тебя во сне. Я всегда спрашиваю мама, када ты приедешь суда я буду очень рада када я кланяюсь вам всем целую тебя и поздравляю тебя с новым Годом и желаю всяково здоровье весело провисти новый Гот Я о тебе всегда думаю что ты такой добрый и желаю тебе всякова здорове мой душка я тебя давно не видала тебя и вечером думаю о тебе всегда мой Господь с тобой и желаю вам всем мама сказала када ты приедешь тада я поеду к Ани в дом и тада тебя увижу и мне будет приятно так приятно мой друк

Анастасия ".

Пятилетний Алексей ничего еще не мог писать, кроме «ковелюг» — "на небольшом клочке уже истрепанной бумаги, в середине, была написана буква "А", а от нее во все стороны шла бесконечная кривая линия — росчерк наследника". Кроме росчерка Распутин получил от Алексея и новую фамилию. Когда двухлетний наследник, уже привыкший к одному и тому же кругу лиц, впервые увидел его во дворце, он захлопал и закричал: «Новый! Новый! Новый!» После этого указом царя фамилия «Распутин» была переименована на «Новый» — в марте 1907 года указ был зачитан на сходе в Покровском. Старая фамилия, однако, сохранилась за Григорием, он подписывался иногда «Новый», иногда «Распутин-Новый», иногда по-старому «Распутин» или «Роспутин», и его чаще называли Распутин, а иногда Распутин-Новый или Распутин-Новых, переделав новую фамилию на сибирский лад.

Распутин дорожил своими отношениями с царской семьей, гордился ими и долго не был уверен в их прочности. «Не думай... что с царями легко говорить. Нет, трудно, аж губы кровью запекаются, весь съезишься, когда даешь им какой-либо совет...» — приводит его слова Илиодор, он же вспоминает, как Распутин боялся, что «враги... царицу смутят», или как у него пошла кровь горлом, когда он у царицы телеграммой попросил денег для паломников и долго не получал ответа. Если вначале он охотно рассказывал многим о своей «дружбе с царями», не то чтобы прямо хвастая, но развивая любимую тему «царь и мужик», то с годами стал сдержаннее. «Разговоры о том, что он хвастал своей близостью к Царскому Селу, не верны, — показывал Манасевич-Мануйлов о последнем годе жизни Распутина. — Наоборот, он скрывал перед мало знакомыми лицами... Он говорил о том, что может сделать то-то, добиться того-то, но старался точек над і не ставить».

Не знаю, как часто бывал Распутин в Царскосельском дворце в 1907-1909 годы, с 1908 года он стал также встречаться с царской семьей в небольшом домике Вырубовой недалеко от дворца. Встречи у Милицы и Анастасии прекратились, Николай Николаевич, напрасно рассчитывавший с помощью «старца Григория» упрочить свое влияние при дворе, как это было с «мсье Филиппом», из покровителя Распутина обратился во врага и впоследствии неоднократно сожалел, что ввел «мужика» к царю.

Но шепот среди придворных еще не привел к «антираспутинскому бунту», его друзья среди церковной иерархии еще надеялись, что он будет послушным проводником их воли, для петербургских салонов был он не более чем религиозной новинкой, широкая публика еще не знала о нем — и «распутинская легенда» не начала еще складываться. Это был безоблачный период его жизни, когда он как бы само собой занял место царского советчика и конфидента, за которое остальные годы должен был жестоко бороться. Между тем в нем самом шла незаметная, но важная работа, когда виденное при царском дворе, в епископских кельях, в петербургских салонах сравнивал он с тем, что видел, скитаясь по нищей Руси.

Николай Гумилев писал позднее:

В гордую нашу столицу

входит он — Боже, спаси!

Обворожает царицу

необозримой Руси

взглядом, улыбкою детской,

речью такой озорной, -

и на груди молодецкой

крест просиял золотой.

Крест золотой с монограммой "Н" действительно был подарен царем и царицей Распутину — с креста и начались его неприятности.

Глава X

«РАЗВРАТНЫЙ ХЛЫСТ» И «НЕИСТОВЫЙ МОНАХ»

До конца жизни Распутин часть года проводил у себя в деревне: «Тянет к родине, хотя уже отвык я от крестьян». Обеих дочерей определил он в гимназию в Петербурге, и они ездили в Покровское только с ним на лето. Он пытался и сына устроить в городе, но тот упорно не хотел учиться, и отец разрешил ему вернуться в Покровское. «Блаженный он у меня, — говорил Распутин, — все смеется, все смешки ему да смешки». Прасковья Федоровна часто ездила к мужу в Петербург, отец же, Ефим Андреевич, был лишь раз и, напуганный шумом большого города, где он крестился перед каждым автомобилем, поспешил назад.

На деньги, подаренные Милицей Николаевной, Распутин летом 1906 года купил новый двухэтажный дом на главной улице Покровского, обставил горницу «по-городскому», развесил свои фотографии с высокопоставленными друзьями, расставил книги духовного содержания — ни книг, ни картин светских в доме не допускалось. Отношение к нему в селе было противоречивым. Помнили еще его юношеские похождения, клички «Вытул» и «Святой», поговаривали о «раденьях» с «сестрами», посмеивались над прогулками с петербургскими гостями.

Дядя Распутина, у которого поселился Сенин, рассказывал: «Наденет, бывало, Григорий... свои старые валенки, холщовую рубаху и портки и шествует вдоль села. А расфуфыренные столичные барышни в шляпках, в шелковых платьях под руки его ведут... „святым отцом“ называют...» «Лешака, а не святой... Гришка-вытул, вор... — неожиданно вскипятилась старушка, сестра хозяина. -...Разве святые-то, прости меня, Господи... с бабами спасались?» «Ну, ты, бабушка, того, -...подмигнул хозяин, — была бы помоложе, так и сама бы уверовала...»

Однако так ценимое на Руси юродство, слухи, что Распутин «угадывает», «пророчествует», а главное — признание его в столице и свалившееся на него богатство меняли отношение односельчан. Первыми признали его фельдшер, учитель, почтовый чиновник, а за ними и "мужички стали заходить за советами, главным образом с вопросом: «Как ты, Григорий, деньги добываешь?» «Читайте прежде всего евангелие, а все остальное приложится вам», — отвечал Распутин. Некоторые достали Евангелие и усердно читали его, но не разбогатели, лишь «баб своих рассмешили».

Кроме добрых советов, Распутин и делом помогал своему селу, например, выхлопотал право на бесплатную рубку казенного леса, собирался строить больницу. Еще в 1907 году хотел дать деньги на постройку церкви — "прикинула мне мысль и глубоко запала в сердце, как говорится по слову апостола Петра: «Кто устроил храм, того адовы ворота не одолеют никогда», — но мужички отказались, заподозрив, что от них потребуются расходы на завершение храма: «Только согласие дай, а там не отвертись... Хочешь строить — строй... Вот тебе место — и больше ничего». По показаниям С. П. Белецкого, «крестьянство местное жило с ним в хороших добрососедских отношениях, и он многое сделал для своего селения».

Из крестьян Покровского никогда не уверовал ни в «святость», ни в серьезность Григория Распутина его собственный отец. В наезды сына напал на него с грубой бранью,

случалось им драться, причем старик грозился «рассказать всем, что Григорий ничего не умеет», а «только знает Дуню (прислугу) держать за мягкие части». Еще более против Распутина были настроены его «духовные отцы» — приходские священники о. Петр Остроумов, настоятель церкви, и о. Федор Чемагин. Обоих раздражало, что мирянин полез в дела священства, религиозные поиски казались им ведущими к сектантству, «пророчества» Распутина и собрания у него — подозрительными, а его рассуждения, что «благодать с недостойных пастырей отлетает и ложится на простецов», еще более выводили их из себя.

Последним ударом для них стал нагрудный «крест золотой» Распутина — о. Петр потребовал, чтобы он не появлялся в нем в церкви, а одному из «братьев» Григория, Илье Арапову, предложил отречься от него. Оба священника тем не менее ходили к Распутину в надежде что-то выведать, расспрашивали его гостей и соседей. Сын Распутина Дмитрий, мальчик, склонный к озорству, пьянству и мелким кражам, болтал по селу, что отец ходит с «сестрами» в баню, «творит грех», что мать его бегала за одной «барыней» с топором в руках. Собрав все слухи, о. Петр отправил донос Тобольскому епископу.

10 января 1908 года, «на Григория», собрались у Распутиных гости, и из Петербурга, и местные, пришли оба батюшки, получены были поздравительные телеграммы, в том числе от П.А.Столыпина, — а в ту же ночь тюменским миссионером Глуховцевым по епископскому постановлению был у Распутина произведен обыск. Глуховцев, в присутствии урядника и в сопровождении Остроумова и Чемагина, только что «гулявших» на именинах, облазил весь дом, искал «кадку», вокруг которой происходят «хлыстовские радения», но ничего не нашел. Распутин ни в чем не признавался и на слова Чемагина, что тот сам видел, как он из бани с женщинами выходил, ответил: «Я только в предбаннике лежал».

«Григорий страшно испугался, — пишет Берландская, — у него было очень страшное лицо... Свои все его оправдывали своими показаниями... Григорий боялся и бань, и что его сошлют в тюрьму. Я и этим поразила: как это так, совершенный боится тюрьмы за Господа?» Допрошены были некоторые односельчане, а также «братья» и «сестры» Распутина и его интеллигентные почитательницы, которые показали, что знакомство с Распутиным было для них «новой эрой» и что он их учил «святым таинствам» — не ясно, каким именно. Дело затем было передано Тобольскому епископу Антонию для «доследования».

Право понимать Бога по-своему — одно из драгоценнейших человеческих прав, отталкивает только религиозное насилие и изуверство. «Полицейско-православная» церковь использовала в своих целях насилие государства, да и от изуверства не была свободна, это не может, однако, бросить тень на православие как на веру. Точно так же наличие изуверов среди русских сект не есть еще основание для преследования религиозного разномыслия. Вопрос о том, был или не был Распутин сектантом, заслуживает изучения не для того, чтобы его судить или оправдать, но чтобы лучше понять и его неортодоксальные взгляды и его необычную судьбу.

В большинстве книг о Распутине его «хлыстовство» принимается как установленный факт. К сожалению, дело Тобольской консистории недоступно исследователям, не уверен даже, что оно вообще сохранилось. М. В. Родзянко, который изучал его, пишет, что «не могло быть сомнения в том, что Распутин заправский хлыст». Он ссылается также на инспектора Тобольской семинарии Д. М. Березкина, которому епископ Антоний поручил изучить собранные материалы и для которого не было «никаких сомнений в сектантстве Распутина». Правда, до передачи дела светским властям он «полагал необходимым провести некоторые дополнительные исследования» — выходит, были сомнения. Б. Н. Смиттен более осторожно пишет, что «в деле имеются прямые указания» на знакомство Распутина с хлыстами и их учением, но не делает вывода, что сам он был членом секты.

В. Д. Бонч-Бруевич, исследователь сектантства, на основании семи бесед с Распутиным в 1912 году заявил, что тот «решительно не имеет ничего общего с сектантством». Он

ссылается, в частности, на принятие Распутиным всех таинств, обрядов и догматов православия, буквальное понимание им Библии, любовь к «истовому» богослужению, почитание икон. В частной беседе с Люблинским архиепископом Евлогием он сказал, однако, что на стиле речей и поведении Распутина сказались знакомство с сектантами. Сначала поклонник, а затем противник Распутина журналист И. А. Гофштеттер также всегда отрицал его принадлежность к «хлыстам».

Очень многое в Распутине противоречит облику «хлыстовского изувера». «Хлысты» отрицают храмы, хотя наружно и могут посещать их, — Распутин любил церковные службы, собрал деньги на постройку церкви, признавал также досаждавших ему «батюшек», а учениц своих учил, «что только то учение истинно, где предлагается хождение в церковь и приобщение Св. Тайн». У «хлыстов» моления только для посвященных — у Распутина на моления допускались посторонние. «Хлысты» отрицают церковный брак и рождение детей — Распутин всю жизнь прожил с женой, очень ему преданной и верящей в его святость, и имел от нее троих детей — как раз тогда, когда, по утверждению врагов, он входил в «хлыстовский корабль».

Как я уже писал, у Распутина был скорее экуменический подход к религии — уже по одному этому нельзя считать его ни сектантом, ни последователем «полицейского православия». Для сектанта спасется только член его секты, для Распутина — кто по-своему, но искренне верит в единого Бога. Испытав в молодости влияние мистического сектантства, он остался верным, хотя и не фанатичным сыном православия. Он, если можно так сказать, не выходил из православия в иную веру, но православие в некую общехристианскую веру включал.

Напуганный обыском, Распутин выехал в Петербург, виделся со своими друзьями Феофаном и Гермогеном, затем с царем и царицей. Как будто было предложено Тобольскому епископу Антонию либо уходить на покой, либо — с повышением — переходить на Тверскую кафедру, сдав начатое им «дело» в архив. Антоний предпочел Тверь, и так «дело о хлыстовстве» было осторожно замято — как оказалось, всего на четыре года.

В апреле 1908 года успокоенный Распутин возвратился в Покровское, а осенью снова выехал в Петербург. Едва он, однако, ускользнул из сетей церковной власти, как попал в сети придворно-полицейской интриги. Приближенных царя беспокоило его знакомство с «мужиком». Дворцовый комендант генерал-лейтенант В. А. Дедюлин сообщил начальнику Петербургского охранного отделения полковнику А. В. Герасимову, «что у Вырубовой появился мужик, по всей вероятности переодетый революционер. Так как государыня часто бывает у Вырубовой и привозит государя», он просил обратить внимание на этого мужика.

Герасимов установил наблюдение за Распутиным, запросил сведения из Тобольска — пришли все те же данные о «хлыстовстве» — и доложил все это П. А. Столыпину. Тот попросил ничего не сообщать ни товарищу министра, заведующему полицией А. А. Макарову, ни директору Департамента полиции М. И. Трусевичу, сказав, что сам поговорит с государем. Николай II не очень охотно признал, что встречался с Распутиным, но сделал вид, что судьба последнего его не интересует. Тогда, по словам А. В. Герасимова, Распутина «решено было арестовать» и через Особое совещание при Министерстве внутренних дел выслать «в Восточную Сибирь за порочное поведение». По словам А. И. Спиридовича, об этом договорились между собой Дедюлин со Столыпиным. Было приказано задержать Распутина во возвращении из Царского Села в Петербург, однако прямо с вокзала он бросился во дворец Милицы Николаевны, провел там несколько дней и незаметно исчез из города. После этого Столыпин сказал Герасимову, что тот может разорвать приказ об аресте. Думаю, что сам царь, как бы дав сначала полиции свободу рук, предупредил Распутина, а затем указал Столыпину оставить его в покое — прямо или намеком.

С тех пор, однако, за Распутиным началась полицейская слежка, иногда сопровождаемая мелкими провокациями — в дальнейшем, в зависимости от политических колебаний

«наверху», она то приостанавливалась, то возобновлялась вновь. Распутин жаловался царю на Столыпина, но тот ответил: «Погоняется, да отстанет... он тебе что сделает, когда мы с тобою, а ты с нами». Но Столыпин не отставал. П. Г. Курлов пишет, что в 1909 году Столыпин в его присутствии встречался с Распутиным и затем сделал царю отрицательный доклад о нем. Других свидетельств об этой встрече мы не имеем, но она не противоречит установленному факту, что Столыпин несколько раз делал попытки настроить царя против Распутина.

Во-первых, он не хотел закулисных влияний на царя, могущих противодействовать его, Столыпина, линии. Если сначала в угоду царю он стал с Распутиным в добрые отношения, то впоследствии увидел, что этот «Божий человек» может быть опасен ему как своим мужицким демократизмом, так и связью с крайне правыми вроде Илиодора и Гермогена. Во-вторых, он понимал, что если распространятся слухи о связях царя с «хлыстом», то это доставит лишние заботы правительству.

Так Столыпин превратил Распутина, до того называвшего его «честным и добрым», в своего врага. Одним из первых результатов был тот, что Столыпин, оставаясь министром внутренних дел, в значительной степени утратил контроль над политической полицией, так как вопреки его желанию на пост товарища министра и командира корпуса жандармов 1 января 1909 года был назначен генерал-майор П. Г. Курлов, вскоре уволивший и начальника Петербургского охранного отделения А. В. Герасимова. Курлов говорил даже, что революция 1905-1907 годов — дело рук Столыпина и Герасимова, которые устраивали политические убийства, чтобы запугать царя и пробраться к власти. Столыпин, как и Витте, он считал масоном. Другим результатом была поддержка Распутиным при дворе иеромонаха Илиодора в его борьбе со Столыпиным.

Илиодор, в миру Сергей Михайлович Труфанов, родился в 1881 году на Дону, в 1905 году закончил Петербургскую духовную академию, где принял монашество. Посланный преподавать в Ярославскую семинарию, он организовал там отделение Союза русского народа, и из-за его конфликтов с семинаристами семинарию пришлось закрыть. Его пригласил в Почаевскую лавру Волынский архиепископ Антоний (Храповицкий), центральная фигура церковного консерватизма. И царь, и Распутин не любили его «за лукавство», сам же Антоний говорил, что Распутин «в Казани на бабе ездил, такой человек не может быть праведником». С Антонием Илиодор не сошелся и в феврале 1908 года был приглашен в Царицын Саратовским епископом Гермогеном. Здесь на собранные им средства построил он Свято-Духов мужской монастырь и начал среди царицынских низов агитацию против «жидов и революционеров». В эту емкую категорию постепенно попали все, кто не принадлежал к Союзу русского народа и не поддерживал Илиодора, в том числе саратовский губернатор граф С. С. Татищев — Гермоген назвал его татаринном, которому только чалмы недостает.

Илиодор и ранее обвинял власти в «потакательстве революционерам». Теперь, перед тысячными толпами, он, как своего рода царицынский Гапон, обличал промышленников, купцов, дворян, чиновников, что они эксплуатируют народ и скрывают от царя — единственного заступника — бедствия народные. Татищев, раздраженный демагогией Илиодора и опасаясь беспорядков, обратился к Столыпину. В марте 1909 года обер-прокурор Синода С. М. Лукьянов провел через Синод постановление о переводе Илиодора в Минск. Илиодор бросился в Петербург, к своему учителю Феофану, но тот ответил, что «часто обращаться с просьбами к царям опасно». Нашел он, однако, покровителя в Распутине.

Тот сказал, что, несмотря на уже подписанный царем указ о переводе, Илиодор останется в Царицыне, не надо только нападать на власти, как это делал Филипп Московский при Иоанне Грозном, «теперь, дружок, времена не те». У Вырубовой с Илиодором встретила Александра Федоровна. "Высокая, вертлявая, с какими-то неестественно вычурными ужимками и прыжками, совсем не гармонизировавшая с моим представлением о русских царицах... Государыня... засыпала, как горохом, или, лучше сказать, маком: «Вас отец

Григорий прислал?... Вы привезли мне расписку по его приказанию, что вы не будете трогать наше правительство... Да, да, вот, вот... Да смотрите, слово отца Григория, нашего общего отца, спасителя, наставника, величайшего современного подвижника, соблюдайте, соблюдайте...» После этого Николай II повелел: «Разрешаю иеромонаху Илиодору возвратиться в Царицын на испытание в последний раз».

Летом 1909 года Распутин отправился в Казань, оттуда в сентябре в Саратов к Гермогену, а в ноябре они оба к Илиодору в Царицын. Гермоген произнес в монастырской церкви проповедь; затем Илиодор вызвал Распутина на амвон и сказал: "Дети! Вот наш благодетель. Благодарите его. И весь «народ, как один человек, низко поклонился Распутину». «Никогда ни прежде, ни после он не был для меня так противен как в этот раз», — пишет Илиодор, сваливая это чувство на «бесовские козни». Сам же Распутин так растрогался, что сел писать царям: «Миленькие папа и мама! Здеся беда, прямо беда, за мною тышшы бегают. А Илиодорушке нужно метру...»

Из Царицына Распутин и Илиодор поехали в Покровское, в дороге Григорий простодушно рассказывал ему о своей дружбе с царями, об отношениях с женщинами. Дома он показал ему письма царицы и великих княжон — по словам Илиодора, Распутин подарил ему несколько писем, по словам Матрены Распутиной, он эти письма украл. Посетил он местного священника, отозвавшегося о Распутине как мерзавце и развратнике", который «петербургских дур... в баню водит голыми», так что жена их потом «за косы вытаскивает». "Врет он, косматый, никогда ничего подобного не было! — закричала рассерженная Прасковья Федоровна, Илиодор же рассудил, что «попы вообще злы и клеветливы».

В конце декабря оба друга вернулись в Царицын, где Распутин устроил раздачу подарков — собралось в монастыре тысяч пятнадцать. Распутин сказал, что он, как опытный садовник, приехал «подрезать и подчистить» насаженный Илиодором «виноградник», и предупредил, что его подарки со значением — «кто что получит, тот то и в жизни испытает». Народ бросился за подарками, и каждый, «считая Григория прозорливым, желал по подарку угадать скорее свою судьбу. Кто получал платок, то тут же начинал плакать. За сахар, хотя он и означал сладкую жизнь, мало кто хватался, как за слишком уж неценный подарок. Девушки-невесты почти сами хватали из рук Распутина кольца и неприятно конфузились, когда Григорий совал им в руки иконку, что значило: идти в монастырь... Если кто получил подарок нехорошего значения, то закапывал его в землю, а потом шел служить молебен», чтобы предсказанное не сбылось.

На следующий день две тысячи человек торжественно проводили Распутина на вокзал. С площадки вагона он произнес бессвязную речь, в ответ стал говорить один из его царицынских поклонников. Завистливый Илиодор остановил его, но Распутин сделал Илиодору «жест рукою, такой, какой обыкновенно делает генерал солдату», а прерванному оратору "гордо, покровительственно, в духе придворного этикета, промолвил: «Продолжайте, продолжайте, пожалуйста».

Глава XI

НАВИСАЮТ ЧЕРНЫЕ ТУЧИ

Царицынский триумф Распутина был недолог. Начинаясь уже между ним и выдвинувшими его церковниками подпольная борьба, затем разразившаяся всероссийским скандалом с навсегда прилипшими к Распутину кличками «хлыста», «развратника», «мошенника», «темной силы».

С середины 1909 года охладел к нему ставший епископом Феофан, ранее горячо принимавший Распутина и ездивший к нему в Покровское. «Скромный, тихий, молчаливый, ходивший всегда с опущенными глазами, избегавший даже вида женщин, застенчивый, как девушка», Феофан избран был исповедником не очень застенчивыми бывшими поклонницами Распутина. Рассказали они ему правдивые или нет, но достаточно «соблазнительные» истории, а Хиония Берландская передала свою «исповедь». Состоялось резкое объяснение, и Распутина очень беспокоило, что Феофан и новый инспектор академии архимандрит Вениамин сумеют настроить царицу против него.

В августе 1909 года Александра Федоровна послала Анну Вырубову в Покровское, проверить, как живет Распутин. «Конечно, нужно было бы выбрать кого-нибудь опытнее и умнее меня», — заметила Вырубова впоследствии. Она и «еще две дамы» провели несколько дней в Покровском, «спали в довольно большой комнате наверху, на тюфяках, которые расстилали на полу... водили нас на берег реки, где неводами ловили массу рыбы... пели псалмы и молитвы... ходили в гости в семьи „братьев“...». В общем Вырубова вынесла впечатление, что крестьяне к Распутину относились «безразлично, а священники враждебно». Ничего дурного она не увидела.

В ноябре Распутин послал Феофану примирительную телеграмму в Крым, где тот лечился от чахотки, но тот ничего не ответил и весной 1910 года решил, говоря его словами, «поведать все бывшему императору... Однако принял меня не император, а его супруга Александра Федоровна в присутствии фрейлины Вырубовой. Я говорил около часа и доказывал, что Распутин находится в состоянии „духовной прелести“. Бывшая императрица возражала мне, волновалась, говорила из книг богословских, причем видно было, что ее кто-то, скорее всего Распутин, научил так говорить». Распутин сделал еще одну попытку к примирению с Феофаном: «Ежели я огорчил, помолись и прости: будем помнить хорошую беседу, а худую забывать и молиться. А все-таки бес не столь грех, а милосердие Божие боле. Прости и благослови как прежний единомышленник. Писал Григорий». Феофан не простил.

"А Феофан-то, Феофан... достукался! — сказал в апреле Распутин Илиодору. — Как он тебе когда-то говорил что лазутка что ли закроется, если к царям часто ходить? Ну, брат закрылась для Феофана лазутка, закрылась навсегда. Он пришел к царице с клеветой на меня, грязью меня забросал. Теперь ему и в Петербурге места не будет. В ноябре 1910 года Феофан отправлен был в Крым епископом Таврическим и Симферопольским, в 1912 году, из-за нежелания царя и царицы встречаться с ним в Крыму, переведен в Астрахань, тамошний климат, однако, оказался тяжел для него, и на следующий год поставили его епископом Полтавским и Переяславским. Никакой политической роли он более не играл. По словам Василия Розанова, разврат выдумали девственники и аскеты, отношения Распутина с женщинами вправду волновали монахов. Не думаю, однако, что это было единственной причиной разрыва с ним "правых церковников -решающим стало нежелание Распутина быть проводником их интересов. Вначале Распутин смотрел на Союз русского народа как на связь между царем и народом, просьбы иерархов из Союза при дворе выполнял — для того он и был введен ими к царю. Например, в 1908 году с его помощью был провален проект автономии духовной академии, а ректором Петербургской академии был назначен возведенный в сан епископа Феофан, в 1909 году Распутин, по просьбе епископа Гермогена хлопотал о запрещении постановок «Анатэмы» Леонида Андреева. Даже в 1911 году в одной из своих брошюр он писал, что «союзники... воистину слуги церкви и батюшки, великого царя» — но быть слепым исполнителем их воли не хотел и их политические притязания начал считать опасными. «Не люблю я их... Худо они делают... Худо это — кровь... -говорил он о руководителях Союза Дубровине и Крушеване. Сам же Дубровин считал Распутина масоном. Ни Илиодор, ни Гермоген, зная уже о приключениях Распутина не порывали с ним. Первое крупное расхождение между Распутиным и Илиодором произошло из-за Льва Толстого в 1901 году, отлученного от церкви за глумление над таинством евхаристии». 7 ноября 1910 года Толстой скончался и Илиодор засыпал Николая II анафемствующими

телеграммами. Вскоре он получил ответ от Распутина: «Немного строги телеграммы. Заблудился (Толстой) в идее — виноваты епископы, мало ласкали. И тебя тоже бранят твои же братья. Разберись».

Илиодор так хорошо разобрался, что у себя в монастыре выставил портрет «яснополянского страшного во всем мире Льва», в который должны были плевать все паломники, так что за ключьями стекающей слюны не стало видно бороды великого писателя. Узнав о планах сделать дом Толстого филиалом Московского исторического музея, он послал протест что «наравне со священными реликвиями всей России... вздумали выставить еретические рукописи, рубахи, лапти и грязные вонючие портянки кощунника, безбожника и еретика Толстого». Распутин относился с большим уважением к Толстому как к религиозному проповеднику, как и к его противнику Владимиру Соловьеву. Николай II наложил на докладе о смерти Толстого резолюцию: «Душевно сожалею о кончине великого писателя... Господь Бог да будет ему Милостивым Судией».

Между тем опасность подползала к Распутину и с другой стороны. 8 марта 1910 года председателем Государственной думы был избран А. И. Гучков, основатель дворянско-купеческой партии октябристов — «болота» Думы. Сорокавосемилетний Александр Иванович Гучков, выходец из старообрядческой московской купеческой семьи, человек с долей авантюризма, дуэлянт и честолюбец, в первую и вторую Думы не прошел, показавшись слишком консервативным, но с изменением избирательного закона в пользу «разумных и сильных» оказался в третьей. Становясь председателем, он покидал пост руководителя думского большинства — можно полагать, что он предпочел этому иметь как председатель доклады у царя и тем самым влиять на него. Но Николай II не любил Гучкова, особенно его раздражило, что тот голосовал за исключение слова «самодержавный» из обращения к царю и нападал на роль великих князей в армии. На первом же приеме, 9 марта, царь встретил его крайне холодно и дал понять, что никаких доверительных отношений быть не может.

Гучков был глубоко уязвлен, и с тех пор они смотрели друг на друга как на личных врагов. Для Гучкова не представило труда обнаружить «слабое место» царя и поддержать газетную кампанию, с благословения епископа Феофана начатую против Распутина в феврале 1910 года двумя ренегатами: правым монархистом Л. А. Тихомировым, бывшим народовольцем, и православным миссионером М. Н. Новоселовым, бывшим толстовцем. Чтобы привлечь к антираспутинской кампании интерес общества и нацелить ее против царя, надо было перенести ее «справа налево» — именно Гучкову как «центристу» легче всего было «отфутболить» Распутина от реакционных «Московских ведомостей» к прогрессивной петербургской «Течи», органу партии кадетов.

С 20 мая по 26 июня 1910 года в «Речи» за подписью «С. В.» появилось десять статей о «преступном старце», с упоминанием епископа Феофана, «жертв» Распутина, двенадцати «сестер» в Покровском — все с преувеличениями, путаницей и без доказательств. Одновременно газета писала, что даже по отзывам недоброжелателей Распутин «удивляет всех своим внутренним даром откровения раскрывать людям то, что с ними происходило, и предсказывать будущее». Он — «человек убежденный... строгий и последовательный в своем учении», которое заключается в том, что плоть не может быть критерием греха, но через нее можно достичь религиозного подъема и откровения, так, присутствуя голым среди голых женщин, Распутин вызывает в себе действительно мистический экстаз.

Главной же целью газеты было намекнуть на связь Распутина не только с крайне правыми, как Гермоген и Илиодор, но и с неназванными «высокопоставленными лицами». Острие антираспутинской кампании поворачивалось против этих «лиц», то есть против царя и царицы, а затем и против всей государственной системы. Распутин из реального человека превращался в легенду.

10 июня «Речь» заметила, что она уже более двух недель пишет о Распутине, но ни от него, ни от Синода, ни даже от правой печати нет никаких откликов. 18 июня «Новое время» откликнулось довольно кислой заметкой, что защита христианства — «святое дело», но «по каким мотивам занялась этой задачей еврейская газета?». «Новое время» указывало на анонимность статей и их источников и заключало, что «Речь» ведет «опасную игру» и стремится в первую очередь опорочить своих политических противников.

Илиодор встал безоговорочно на защиту Распутина сразу же после нападок «Московских ведомостей», в феврале «царицынские верующие» постановили «высечь погаными банными вениками» Новоселова, а в марте в посланной в Петербург телеграмме засвидетельствовали, что «блаженный старец Григорий имеет печать божественного призвания; дабы благодати, данные ему, такие: бесстрашие, чудотворение, прозорливость, благодатный ум, изгнание бесов». Гермоген в июне высказался о Распутине гораздо осторожнее: «Три года назад он произвел на меня впечатление человека высокой религиозной настроенности; после, однако, я получил сведения о его зазорном поведении... История церкви показывает, что были люди, которые достигали даже очень высоких духовных дарований, а потом падали нравственно».

Встревоженный Распутин писал митрополиту Петербургскому Антонию: «Благослови, миленький владыко, и прости меня! Желая вас видеть и охотно принять назиданье из уст ваших, потому много сплетней. Не виноват, дал повод, но не сектант, а сын православной церкви. Все зависит от того, что бываю там у них, у высоких, — вот мое страдание. Отругивать газету не могу». Антоний Распутина не принял.

Николай II и Александра Федоровна были раздражены сначала обращением Феофана, затем газетной кампанией, и к этому добавились происшествия в самом дворце. Няня Алексея М. И. Вишнякова, ездившая в Покровское вместе с Вырубовой, пожаловалась царице, что Распутин растлил ее, имел дело с другими женщинами, и показала ей статью Новоселова.

"Государыня... заявила, что не верит этим сплетням, видит в них работу темных сил, желающих погубить Распутина, и запретила говорить об этом государю, — показывала фрейлина С. И. Тютчева, воспитательница царских детей. -...Я рассказала государю обо всем, что случилось. «Так и вы тоже не верите в святость Григория Ефимовича? — спросил государь. -...А что вы скажете, если я вам скажу, что все эти тяжелые годы я прожил только благодаря его молитвам?» Тютчева заспорила, царь ответил, что он не верит всем этим рассказам, «к чистому липнет все нечистое». Точно так же на «предостережения» свой сестры, великой княгини Елизаветы Федоровны, «что Распутин не таков, каким он кажется», царица ответила, «что она считает эти слухи клеветой, которая обычно преследует людей святой жизни...».

Вишнякова и Тютчева отстранены на два месяца. Вишнякова нашла ход к Петербургскому митрополиту Антонию, тот в начале 1911 года получил аудиенцию у царя, но выслушан был крайне сухо. Вскоре Вишнякова была царицей «прощена», ухаживала за больным наследником, а впоследствии бывала и у Распутина. Тютчева, «прямо мужчина в юбках... как все Тютчевы была упряма» — через два года она подала в отставку и по всем салонам рассказывала, что ее уволили из-за протестов, что Распутин заходит в комнаты великих княжон, пока те еще не одеты.

Открыто бросив вызов влиянию Распутина при дворе, Тютчева сделала то, о чем давно шептались многие придворные и даже пытались осторожно высказывать царю. При замкнутости двора и сосредоточенности интересов на фигуре царя борьба за влияние на него, соперничество и недоброжелательство между приближенными естественны, это соперничество было и в императорской семье — мать, жена, дяди, тети, кузены и племянники оспаривали друг у друга это влияние, начиная ненавидеть тех, кто опережал или вытеснял их, и тайно язвить самого царя. «У государя, как и у императрицы, — пишет последний дворцовый комендант В. Н. Воейков, — сложилось достаточно обоснованное убеждение, что

всякое пользующееся их доверием лицо тем самым обрекается на нападки завистников и клеветников».

Если это было, так сказать, «между своими», то какую же неприязнь должен был вызвать человек не только посторонний, но принадлежащий к тем, кого аристократы и за вполне людей не считали, притом не временная прихоть царя и царицы, а их confident на долгие годы. Начиная от матери царя и сестры царицы и кончая царскими камердинерами, многие приближенные старались или сказать царю что-то неприятное о Распутине, или оскорбить последнего. Как-то на вопрос царя, кто у царицы, камер-фурьер Н.А. Радциг ответил:

— Г-жа Вырубова и этот грязный мужик.

— Как вы можете так говорить о человеке столь религиозном! — с гневом сказал царь.

По распоряжению дворцового коменданта Дедюлина, Распутина, в отличие от остальных приглашенных, всегда задерживали у ворот, пока дежурный не давал указания его пропустить, — все это не мешало Распутину видеться с царем и царицей, но каждый раз должно было привлечь больше внимания к его приходу. «Мне бы так хотелось повидаться с нашим Другом, — пишет царица мужу, — но я никогда не приглашаю его к нам в твоё отсутствие, так как люди очень злоязычны». «Мне приходилось не раз слышать рассказы о Распутине, — замечает Воейков, — производящие на меня впечатление не просто сплетни, а чего-то умышленно раздуваемого. Исходили, к моему великому изумлению, эти рассказы от приближенных к царю лиц...» Царь не был достаточно тверд, чтобы пресечь неприятные ему разговоры, но достаточно проницателен и упрям, чтобы не позволить придворным манипулировать им, — с тем же тихим упрямством, с каким не уступил он родителям с Алике, не уступал он приближенным с Распутиным.

В первой «общественной» атаке на Распутина в 1910 году просвечивает также — не очень явно, но различимо — давний вызов «славянофильской, земской» Москвы «западническому, чиновному» Петербургу. В структуре императорской, «петербургской», власти обнаружилось «больное место» — и Москва поспешила вложить туда свои персты. Кампания была начата москвичами Тихомировым и Новоселовым, подхвачена москвичом Гучковым, москвичкой была Тютчева, а великая княгиня Елизавета Федоровна была центром «московского кружка». К нему принадлежали и будущие враги Распутина — семья московского генерал-губернатора Ф. Ф. Юсупова, московский губернатор, а затем товарищ министра М. Ф. Джунковский, московский предводитель дворянства, а затем обер-прокурор Синода А. Д. Самарин.

К концу года наступило временное затишье: с сентября по ноябрь Николай II и Александра Федоровна были на водах в Германии, а Столыпин путешествовал по Сибири. Однако в январе 1911 года, готовя устранение Илиодора из Царицына, Столыпин решил убрать и его покровителя из Петербурга. На основании полицейских сводок и затребованного им синодального дела он представил Николаю II доклад о Распутине, настаивая на его удалении от двора. По словам Распутина, в изложении Г. П. Сазонова, царь, выслушав историю о банях, спокойно сказал: «Я знаю, он и там проповедует священное писание» — и бросил доклад в камин. По словам Столыпина, в изложении М. В. Родзянко, царь внимательно выслушал доклад и предложил ему пригласить Распутина для личной беседы.

Вот как Родзянко передает рассказ Столыпина об этой встрече: Распутин «бегал по мне своими белесоватыми глазами... произносил какие-то загадочные и бессвязные изречения из священного писания, как-то необычайно водил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение... Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза и что он на меня производит довольно сильное, правда отталкивающее, но все же моральное впечатление. Преодолев себя, я прикрикнул на него и, сказав ему прямо, что на основании документальных данных он у меня в руках», пригрозил судом и предложил уехать в Покровское и больше в Петербурге не появляться.

Царь, однако, вынес иное впечатление от всего этого дела. Через несколько лет на доклад Воейкова о желательности высылки Распутина для прекращения слухов он ответил: «Всё, что вы мне говорите, я слышу уже много лет. П. А. Столыпин производил по этому делу расследование, и ни один из распространяемых слухов подтверждения не получил». Сам же Распутин послал Столыпину телеграмму: «Добрый господин! Пожалуйста, скажи мне и спроси у императорских великих нашей Земли: какое я сделал зло, и они свидетели всему, ведь у них ум боле чем у кого, и примут кого хотят, или спросят кухарку. Я думаю просто: они хотят и видят». Тут Распутин как бы предвосхитил знаменитую фразу Ленина, что любая кухарка может управлять государством.

Так к началу 1911 года сибирский странник, говоривший о любви и никому не хотевший зла, «крошка», как он сам себя называл, оказался лицом к лицу с могущественной и неожиданной коалицией врагов.

Во-первых, против него были настроены епископы-традиционалисты, видящие опасность для церковных устоев во всяком новом, пусть даже мутном, учении, во всякой попытке покунуться на их исключительное право быть посредниками между Богом и людьми.

Во-вторых, многие правые, особенно те, кто вначале рассчитывал, что он будет проводником их воли. «Неуправляемость» Распутина сбивала их с толку, а его «народничество» отдавало в их глазах левизной. Те же, кто просто хотел взлететь на «правой волне» повыше, опасались мужицкого влияния на царя.

В-третьих, родственники царя и придворные, которых раздражало и пугало, что царь общается с «мужиком» и выслушивает его советы, подрывая тем роль аристократии и разрушая кастовые принципы.

В-четвертых, административно-полицейские круги, видящие в контакте мужика с царем опасность для плавного хода бюрократической машины и стремящиеся, при постоянном соперничестве правительства и общества, избежать всякой возможности скандала и пятнающих власть слухов.

В-пятых, либералы — некоторых из них тоже раздражал или смешил мужик у трона, но главным для них был не сам Распутин, писали даже, что он «лучше той среды, которая сотворила из него кумира», а возможность через него косвенно атаковать самодержавие.

Не хочу сказать, что истории Распутина с женщинами, сначала «бани», а затем «кутежи», о чем еще буду писать, никакого влияния на отношение к нему не оказывали. Во всех слоях общества были люди, этим искренне возмущенные — тем более, что многое доходило до них в искаженном виде. Но я и не стал бы в эту политизированную эпоху преувеличивать роль моральных оценок. Само петербургское общество, размазывающее распутинские истории, едва ли отличалось высокой моралью. Кутежи гвардейских офицеров — а они были настроены к Распутину наиболее враждебно — легко затмевали распутинские «кутежи», великий князь Борис Владимирович, например, имел обыкновение выталкивать голых французенок из отдельного кабинета в общий зал ресторана. Дело было не в «аморализме» Распутина, а в его демократизме — царь и мужик протянули друг другу руки поверх голов привилегированного общества, вот что пугало.

Оказавшись в окружении врагов, Распутин решил — или ему царь посоветовал — дать страстям успокоиться. В марте 1911 года он отправился в свое второе паломничество в Иерусалим. «Тяжелые воспоминания о мучительных иноплеменниках, — писал он с дороги царям, — но в настоящее время большее мучение — брат на брата, и как не познают своих...»

КОНЕЦ СТОЛЫПИНА

Пока революция была сильна, Николай II держался за Столыпина. Но между властным и напористым министром и мягким и коварным царем — сравнивали их в то время с Борисом Годуновым и Федором Иоанновичем — рано или поздно должен был произойти разрыв. И дело было не только в разности характеров: царь более всего хотел восстановления неограниченного самодержавия, реформизм Столыпина, хотя и говорил он обратное, вел к дальнейшему ограничению власти царя.

— Григорий, мне Столыпин не нравится своей наглостью. Как быть? — якобы даже как-то пожаловался царь.

— А ты испугай его своей простотой... — сказал Распутин. — Возьми одну самую простую русскую рубашку и выдь к нему, когда он явится к тебе с особенно важным докладом.

Царь так и сделал — и на вопрос Столыпина ответил, наученный Распутиным: «Сам Бог в простоте обитает». Как Распутин рассказывал Илиодору, «от этих слов Столыпин прикусил язык».

Не знаю, как Столыпина, но князя Н. Н. Львова царю «смутить» рубашкой вполне удалось. «Я ожидал увидеть государя, убитого горем... — вспоминал он позднее об их встрече в 1906 году, — а вместо этого ко мне вышел какой-то веселый, разбитной малый в малиновой рубашке».

Первый конфликт между Столыпиным и царем произошел весной 1909 года. Год назад морской министр внес в Думу законопроект о кредитах и штатах морского Генерального штаба — Дума проект одобрила. Государственный Совет отклонил, сославшись, что в ведении законодательных палат находятся только кредиты, но не штаты. Морское ведомство изменило проект, Дума изменений не приняла, настроения подогрелись речью Гучкова о некомпетентности многих военачальников. В Государственном Совете Столыпин настаивал на принятии законопроекта в думской редакции, Витте и Дурново указывали, что это будет началом вмешательства Думы в прерогативы монарха. С помощью голосов министров законопроект был принят — царь его не утвердил. Столыпин заговорил об отставке, чего, собственно, добивались Витте и Дурново, метя на посты председателя и министра внутренних дел. Но царь смотрел на Столыпина как на во всяком случае меньшее зло. «...Я не допускаю и мысли о чьей-нибудь отставке», — писал он ему 25 апреля 1909 года.

Именно в это время Илиодор был принят царицей и получил разрешение царя оставаться в Царицыне. Мало того, после его нападок саратовский губернатор С. С. Татищев в январе 1911 года был заменен П. П. Стремоуховым. Но Столыпин решил настоять и на переводе Илиодора из Царицына. Вырубова говорила Илиодору, что царь только из-за протестов «отца Григория» не соглашается на это. Однако в конце января 1911 года последовало распоряжение Синода о назначении Илиодора настоятелем Новосильского монастыря Тульской епархии.

Илиодор не подчинился. Распутин телеграфировал ему, что царь пришлет епископа и «своего человека» — прибыли епископ Тульский Парфений и флигель-адъютант полковник А. Н. Мандрыка. Командируя в Царицын Мандрыку «для расследования и доклада», царь 2 февраля 1911 года писал Столыпину: «Народ должен знать, что царю близки его горе и его радости». Радую народ и огорчая Парфения с Мандрыкой, Илиодор не подчинился и им и хотел ехать в Петербург — тогда отцепили его вагон и доставили к Гермогену, который все же уговорил его ехать в Новосиль.

Но тут произошел второй, решающий конфликт между царем и Столыпиным. В мае 1910 года правительство внесло в Думу законопроект в духе столыпинского «национал-либерализма» о введении земств в шести западных губерниях. Повторилась история со штатами морского штаба: в Думе проект прошел, а в Государственном Совете застыл — правые, во главе с П.Н. Дурново и Д. Ф. Трениным, увидели в цензовых ограничениях польского дворянства ослабление консервативного принципа. Царь предложил правым поддержать правительство, но на вопрос Трепова, следует ли понимать это как приказ, ответил, что члены Совета могут голосовать «по совести». 4 марта 1911 года проект был забаллотирован в Совете, и на следующий день Столыпин подал в отставку.

На этот раз царь не сказал, что он «не допускает мысли об отставке», но свое обычное: «Я подумаю». По-видимому, он склонялся отставку принять, однако его мать и великие князья Александр и Николай Михайловичи отговорили его, пугая новым взлетом революции. Условием своего возвращения Столыпин поставил — роспуск на три дня Совета и Думы и принятие Положения о земствах на основании ст. 87 Основных законов, а также удаление Дурново и Трепова из Петербурга до конца года. 10 марта, к негоднованию обеих палат, царь принял эти условия. Но люди, причастные власти, понимали, что царь этого насилия над своей волей Столыпину не простит.

Первый щелчок тот получил в деле Илиодора. Едва узнав об отставке Столыпина, Илиодор бежал из Новосилия в Царицын и «устроил с народом двадцатидневное сидение в монастыре», где произносил речи, что Столыпина «нужно сечь по средам и пятницам... чтобы выбить из него масонский дух». В монастырь прибыл Гермоген якобы уговаривать Илиодора подчиниться властям, а на деле поддержать его в борьбе с ними. Товарищ министра П. Г. Курлов приказал губернатору арестовать Илиодора. Не решаясь брать штурмом православный монастырь, Стремоухов запросил разрешение царя.

Подогреваемый телеграммами Распутина, царь приказал оставить Илиодора в покое, и Столыпин 28 марта предложил Стремоухову «прекратить всякие действия против монастыря и Илиодора и отбыть в Саратов». Впоследствии Столыпин говорил ему, что «в своих исходных положениях Илиодор прав»: революцию делают «жиды и интеллигенция», но методы Илиодора и его безнаказанность все губят. Безнаказанность даже породила легенду, что Илиодор — незаконный брат государя.

Синод, не желая явно отказываться от предыдущих решений, 31 марта постановил уволить Илиодора от должности настоятеля Новосильского Свято-Духова монастыря и за самовольный отъезд назначить двухмесячную епитимию «в пределах таврической епархии». 1 апреля царь наложил резолюцию: «Иеромонаха Илиодора, во внимание к мольбам народа, оставить в Царицыне, относительно же наложения епитимий предоставляю иметь суждение Св. Синоду». Суждение свелось к отмене запрещения служить и епитимий «ради предстоящих великих дней страстной седмицы и Св. пасхи». В мае ставленник Столыпина С. М. Лукьянов был заменен на посту обер-прокурора Синода В. К. Саблером, бывшим товарищем обер-прокурора при К. П. Победоносцеве. Назначение Саблера поддерживал Распутин — по его словам, Саблер ему за это «в ноги поклонился». Распутин с Саблером познакомил П.С. Даманский, управляющий синодальным контролем, вслед за тем быстро возведенный в товарищи обер-прокурора.

Тогда же Николай принял своего мнимого брата. «Моргая своими безжизненными, усталыми, туманными, слезящимися глазами, мотая отрывисто правую руку и подергивая мускулами левой щеки», он, поцеловав Илиодору руку, сказал: «Ты... вы... не трогай моих министров. Вам что Григорий Ефимович говорил... говорил. Да. Его... нужно слушать. Он наш... отец и спаситель... Да... Господь его послал... Он тебе, вам ведь говорил, что... жидов, жидов больше и революционеров, а министров моих не трогай...»

Окрыленный этой встречей и победой над Столыпиным, Илиодор вполне почувствовал себя

посредником между царем и народом. В июле он с двумя тысячами сторонников через несколько городов совершил паломничество в Саров, встречаемый духовенством, губернаторами, сбивая с прохожих шапки, приказывая арестовывать непочтительных, мажа дегтем репортеров и останавливая трамваи с криком: «Проклятые жидаы! Снимайте шапки! Русь идет!» Так что по крайней мере указание государя насчет «жидов» он выполнил.

Но слава кружит голову, и Илиодор пренебрег другим указанием — а именно «слушать Григория Ефимовича». Распутин, вернувшись из Иерусалима и посетив Петербург, прибыл в Царицын 19 июня и был на этот раз встречен Илиодором довольно небрежно. Слегка встревоженный, Распутин рассказал ему, что царю он понравился, прочат его в архимандриты, но царица сказала: «Ты Феофана и Вениамина не бойся... они ходят с низко опущенной головой, а вот Илиодора-то бойся, он друг-друг, а потом так шуганет нас, что и тебе некуда будет деться, да и нам-то нелегко придется». Все же Распутин попросил у царицы 3000 рублей для Саровского паломничества Илиодора, и деньги настроили того дружелюбнее.

На проводы Распутина собралась большая толпа, преимущественно женщин. «Возлюбленный наш друг и брат во Христе, — начал Илиодор. -...Некоторое время над тобой висели черные тучи человеческой клеветы и неправды, когда на тебя ополчились все безбожники и жидаы», впрочем, их нападение лучше всего доказало, что Распутин — «великий человек с прекрасной ангельской душой». «Великому человеку» были торжественно преподнесены — купленные на его же деньги — цветы, чайный сервиз и икона, и он в ответ произнес прощальную речь. "Здесь, в первый раз за все время моего знакомства, он показался мне очень привлекательным, — вспоминает Илиодор. — Тонкая, высокая фигура его... тянулась вперед... волосы его и борода, слегка развеваемые ветром, красиво метались во все стороны... Он говорил отрывисто, твердо и звучно: «Да, враги восстали на меня. Думали, что мне конец. Нет. Шалишь. Им конец, но не мне. Кто они? Червяки, которые ползают на внутренней стороне крышки кадушки с кислой капустой!» Распутин и Илиодор в увитой цветами карете, с вехомой под уздцы лошадей, во главе распевающей патриотические песни процессии медленно двинулись от монастыря к пристани.

Несмотря на карету и цветы, Распутин заметил изменившееся отношение Илиодора и из Покровского телеграфировал в Царское Село: «Вот Илиодорушка-то маленько испортился. Не слушается. Погодите ему митру. Пусть так будет, а там видно». Между тем разворачивались события, на время отвлекшие внимание Распутина от Илиодора и Гермогена.

В конце июля 1911 года отдыхающий в Биаррице граф Витте получил с оказией письмо от журналиста Г. П. Сазонова, знакомого ему уже лет двадцать. Григорий Петрович Сазонов с 1899 по 1902 год издавал в Петербурге либеральную газету «Россия», закрытую за фельетон А. В. Амфитеатрова «Господа Обмановы», под которыми довольно прозрачно имелись в виду Романовы. В годы революции Сазонов поправел, завязал отношения с вождями Союза русского народа, но по мере успокоения начал леветь и затеял газету умеренного направления «Голос земли». С 1909 года Распутин наездами в Петербург часто у него останавливался, и «в конце концов, — пишет Витте, — он создал себе особое отношение к Распутину, нечто вроде аналогичного с содержателем музея, показывающего заморские чудовища». Сазонов первый стал использовать влияние Распутина для продвижения коммерческих предприятий, и тот помог получить в 1910 году уставы двух банков.

Теперь Сазонов сообщал Витте, «что судьба Столыпина спета, что государь твердо решил от него избавиться и не позже, как после торжеств в Киеве», что государь остановился для назначения министром внутренних дел на Хвостове, нижегородском губернаторе... Они, т. е. Сазонов с Распутиным, едут в Нижний окончателно переговорить по этому предмету с Хвостовым, но что у них есть только одно сомнение — это что Хвостов молод и едва ли может заменить Столыпина в качестве председателя Совета, но что он будет прекрасный

министр внутренних дел, а затем, — вспоминает Витте, — закидывается удочка в виде вопроса, не соглашусь ли я занять место председателя Совета министров, чтобы дать авторитетность новому министерству. Я на это тоже через оказию ответил Сазонову, что я получил его письмо и остался в недоумении, кто из нас сумасшедший. Они, которые мне такую вещь предлагают, или я, которому они считают возможным такую вещь предлагать. Нужно сказать, что Хвостов — один из самых больших безобразников. Между нынешними губернаторами столыпинской эпохи есть масса больших безобразников; но Хвостов имеет перед ними первенство: для него никаких законов не существует".

Как видно из слов Витте, возмутило его предложение сотрудничать с А. Н. Хвостовым, а вовсе не принять пост председателя Совета министров из рук Распутина. Человеку власти и дела, Витте было нелегко в отставке, он считал себя единственным человеком, еще способным спасти Россию от надвигавшегося хаоса, понимал, что с уходом Столыпина создастся вакуум — и он может быть приглашен к власти. Противодействием Столыпину в вопросе о штатах морского штаба и западных земствах он если и не завоевал поддержку консерваторов, то их собой примирил, в то же время постоянная критика столыпинских «военно-полевых судов» и «чрезвычайных положений» сохраняла его престиж среди либералов. Единственным препятствием на пути к власти была личная неприязнь царя и царицы.

Витте «счел для себя возможным прибегать к помощи Распутина в надежде восстановить расположение царя и быть призванным к власти», — с осуждением пишет А. П. Извольский. В своих воспоминаниях Витте, иронизируя об увлечении Распутиным в Царском Селе и в петербургских салонах, о нем самом не отзывается ни хорошо, ни дурно и не упоминает о знакомстве с ним. Между тем через того же Г. П. Сазонова они познакомились в начале 1910 года. Ранее Распутин называл Витте «мазуриком и хитрым человеком» — впрочем, по-русски «простота хуже воровства», так что отзыв и не совсем дурной. Личное знакомство изменило взгляд Распутина.

В марте 1910 года А. В. Богданович записала в своем дневнике, что Распутин "спелся с Витте, и жена Витте воспылала к нему любовью и доверием... Витте хочется снова получить власть, думает ее получить через «блажку»... «Особенно дорогим другом Григория Ефимовича является граф С. Ю. Витте, которого старец всегда зовет просто: Виття, — пишет Илиодор. — „Старец“ считает Виття очень умным и благородным человеком, а Виття в свою очередь... говорит, что у Распутина возвышенная душа, что он — человек больших добродетелей и исключительного ума». В апреле 1910 года Распутин и Сазонов предлагали Илиодору встретиться с Витте — но Илиодор, незадолго перед тем предложивший повесить Витте на площади, едва ли был бы этой встрече рад.

В 1912 году крайне правые ставили Распутину в вину его визиты к Витте. Позднее С. П. Белецкий показывал, что Распутин «был близок к семье графа С. Ю. Витте, которого он до конца своей жизни вспоминал с особой теплотой и о котором он при жизни графа... неоднократно говорил в высоких сферах, мечтал об обратном его возвращении к власти». Мосолов вспоминает, что когда в 1915 году он заговорил с Распутиным о проекте разделения России на наместничества, то первыми словами того было: «Что-то Виття скажет?» Сам Витте в 1914 году, в частном разговоре, отозвался о Распутине как о человеке «большого ума», который «лучше, нежели кто, знает Россию, ее дух, настроение и исторические устремления. Он знает все это каким-то чутьем».

Распутин произвел сильное впечатление на графиню Витте, как на нее ранее произвел впечатление о. Иоанн Кронштадтский. Витте, напротив, отзывается об о. Иоанне как о человеке «ограниченного ума... несколько свихнувшегося приближением к высшим, а в особенности царским сферам». Не принимал он всерьез и свою кузину Е. П. Блавацкую, хотя к царским сферам и не приближенную, но пользующуюся большим авторитетом среди мистиков. Скептика и циника, Витте едва ли занимала мистическая сторона Распутина —

самое большое в той степени, в какой он мог через нее повлиять на царя. Не думаю, однако, что его увлечение Распутиным было фальшиво, не стал бы он надолго подделываться к «старцу», коль скоро он к царю не подделывался. Я постараюсь показать дальше, что в основе для многих неожиданного сближения любимого царем и царицей «Божьего человека» и ненавидимого ими «двуличного министра» лежала близость их политических взглядов.

В то время как Витте в Биаррице выжидал ход событий, Распутин с Сазоновым в середине августа 1911 года прибыли в Нижний Новгород для переговоров со вторым участником предполагаемой комбинации. «С виду похожий на медведя», Алексей Николаевич Хвостов прославился своими черносотенными выходками, сам считая себя просто откровеннее других дворян, тайным черносотенником почитал он и Льва Толстого, который в горячем 1905 году «часто прибегал к администрации за помощью в своих недоразумениях с крестьянами». Из тульских вице-губернаторов Хвостов был переведен губернатором в Вологду, а затем в Нижний Новгород, откуда подал он государю записку, что Столыпин не уничтожил революцию, а только загнал в подполье и что наиболее действенной мерой было бы «всех лиц, подозреваемых как революционеров и смутьянов, просто-напросто тем или другим путем, но энергично уничтожать». Как можно понять, «наверху» записка понравилась: Хвостов «был принят государем сидя, что считалось высшим знаком благоволения».

Распутин, показывая впоследствии А. Н. Хвостов, «предложил мне место министра внутренних дел... Я был удивлен его появлением, не придавая ему такого значения, какое впоследствии обнаружилось... Я крайне удивился возможности ухода Столыпина, так как в провинции нам казалось, что Столыпин сила непререкаемая... Распутин объявил мне, что он... из Царского послан — посмотреть мою душу... Это казалось мне, в то время непосвященному, несколько смешным, и я с ним поговорил шутовским образом, а потом... послал полицеймейстера свезти его на вокзал». Хвостов не пригласил Распутина обедать и не познакомил со своей семьей, о чем тот просил. Прямо с вокзала Распутин послал телеграмму Вырубовой, копию тут же доставили губернатору, что-то вроде: «Хотя Бог на нем почиет, но чего-то недостает». Г. П. Сазонов, давший «старцу» и губернатору поговорить наедине, впоследствии рассказывал Коковцову, что Хвостов принял их хорошо, но наотрез отказался от сотрудничества с Витте, и тогда Распутин по возвращении сказал в Царском Селе: «Хвостов шустер, но молод. Пусть еще погодит».

Месяцы, последовавшие за его победой, Столыпин был подавлен. «Что-то в нем оборвалось. Былая уверенность в себе куда-то ушла, и сам он, видимо, чувствовал, что все кругом него, молчаливо или открыто, но настроено враждебно», — вспоминает В. Н. Коковцов. По словам Витте, на одном из докладов царь сказал Столыпину: «А для вас, Петр Аркадьевич, я готовлю другое назначение». Дочь Столыпина пишет, что отец никогда не был настроен мистически, но теперь увидел во сне старого друга, сообщившего ему о своей смерти — и на следующий день действительно пришла телеграмма об этом.

Между тем в Киеве готовились к приезду царя на открытие памятника Александру II. Произведено было около трехсот обысков и несколько арестов, из разных городов стянули дополнительные силы полиции, прибыли со своими сотрудниками товарищ министра, ведающий полицией, П. Г. Курлов и начальник дворцовой охраны А. И. Спиридович. Столыпин приехал 25 августа — П. Г. Курлов и В. А. Дедюлин, назначенный ответственным за охрану царской семьи и министров, знали, что отношение царя к Столыпину изменилось, и игнорировали его. Когда 29 августа утром прибыл царь с семьей, для Столыпина не нашлось места в экипажах царского кортежа, и киевский городской голова предоставил ему свой экипаж.

Проезжая по центральной улице, царица в первых рядах кричавшей «ура» толпы увидела Распутина. «Государыня Григория Ефимовича узнала, кивнула ему... А он ее перекрестил», — рассказывал впоследствии член Союза русского народа, которому было поручено опекать Распутина. Но когда появился экипаж Столыпина, «Григорий Ефимович вдруг затрясся весь...

Смерть за ним!... Смерть за ним едет...»

Неясные слухи о возможном покушении ходили по городу. За два дня до начала торжеств к начальнику Киевского охранного отделения полковнику Н. Н. Кулябко неожиданно явился молодой человек, бывший в 1907-09 годах под кличкой «Аленский» секретным сотрудником среди «анархистов-коммунистов». Ему случайно стало известно о предстоящем приезде в Киев двух членов партии эсеров, мужчины и женщины, для убийства Столыпина. Кулябко тут же пригласил в кабинет своего шурина Спиридовича и вице-директора Департамента полиции Веригина, договорились, что, как только террористы приедут, «Аленский» тут же даст знать. Курлов принял дополнительные меры по охране царя, по-прежнему игнорируя Столыпина, хотя по службе и доложил ему о сообщении «Аленского». 31 августа «Аленский» дал знать, что «организация» прибыла и мужчина остановился у него: за квартирой было установлено наружное наблюдение. В тот же вечер «Аленский» — для опознания террористов и на случай срочного доклада — получил от Кулябко билет в купеческий сад на концерт в присутствии царя, а 1 сентября — в городской театр, где назначен был парадный спектакль.

В перерыве между вторым и третьим актом оперы «Жизнь за царя» Николай II с дочерью Ольгой и Татьяной вышли из ложи и вдруг «услышали два звука, похожие на стук падающего предмета, — писал он через девять дней матери, — я подумал, что сверху кому-нибудь свалился бинокль на голову, и вбежал в ложу». Но это был не бинокль. Несколько секунд назад к стоявшему возле оркестровой ямы лицом к залу Столыпину подошел молодой человек во фраке и, выхватив браунинг, дважды выстрелил. «Вправо от ложи я увидел кучу офицеров и людей, которые тащили кого-то, — продолжает царь, делая разницу между „людьми“ и „офицерами“, — несколько дам кричало, а прямо против меня в партере стоял Столыпин. Он медленно повернулся лицом ко мне и благословил воздух левой рукой. Тут только я заметил, что он побледнел и что у него на кителе и на правой руке кровь... В коридоре рядом с нашей комнатой происходил шум, там хотели покончить с убийцей; по-моему — к сожалению, полиция отбила его от публики», — замечает законолюбивый царь.

Убийцей оказался киевлянин, помощник присяжного поверенного Дмитрий Богров — он же «Аленский», донесший на мифических террористов. 5 сентября Столыпин скончался, 9-го состоялся военный суд, и 12-го Богров был повешен.

Убийство Столыпина остается загадкой. Наиболее вероятной мне кажется гипотеза, что Богров замыслил убить Столыпина еще в 1907 году и именно с этой целью установил связь с охранкой. Чтобы убийство не выглядело делом рук одиночки, но революционным актом, он предложил представителям партии социалистов-революционеров «в случае убийства Столыпина» объявить, что это сделано по их приказу. Те отказались, и тогда Богров решил создать впечатление, что убийство — дело охранки, и тем скомпрометировать власти. Убивать царя он не хотел — как еврей, он боялся, что это вызовет погром в Киеве, как революционер, он считал, что Столыпин может предотвратить революцию, а Николай II только ускорить. Если эта гипотеза верна, она не снимает вопроса, насколько Кулябко, Спиридович, Веригин и Курлов были «обмануты» Богровым.

Правда, Курлов не был особенно опытен в делах секретной полиции, но Кулябко, Спиридович и Веригин на этом, можно сказать, собаку съели, а директор Департамента полиции Н. П. Зуев телеграфировал Курлову, чтобы он не доверял Богрову. Либо хотели довести покушение — чье бы то ни было и на кого бы то ни было — до самой грани, чтобы террористу не избежать петли, а охранникам наград, либо Курлов с товарищами решили использовать предоставившуюся возможность избавиться самим и избавить царя от Столыпина.

«Столыпин любил театральные жесты, громкие фразы, соответственно своей натуре он и погиб в совершенно исключительной театральной обстановке... — записал Витте. —

Открывается третье действие после 17 октября. Первое действие — мое министерство, второе — столыпинское». Царь стоял перед дилеммой: идти ли по пути ликвидации реформ 1905 года, как ему подсказывало сердце, или по пути их развития, как ему подсказывал если не ум, то страх перед революцией. Как будто склонялся он поручить «третье действие» А. Н. Хвостову. Крайним консерватизмом, молодостью и нахрапистостью подавал тот надежду, что решится на то, от чего уклонился Столыпин, — окончательно покончить с законодательными палатами. Но провести его сразу из губернаторов в главы правительства было бы слишком — нужен был покладистый премьер, который своими костями устелил бы ему дорогу, как Горемыкин Столыпину. Витте, несмотря на поддержку его Распутиным, царь не пригласил бы — и не только из-за личной неприязни, даже согласись царь на него, а он на Хвостова, скорее Витте оседлал бы Хвостова, а не наоборот. После недолгих колебаний царь поручил возглавить правительство министру финансов В. Н. Коковцову, стороннику статус-кво, опытному бюрократу без сильного политического темперамента.

Однако Коковцов в случае назначения Хвостова министром внутренних дел от поста председателя Совета министров отказался, сказав, что Хвостова «никто в России не уважает».

Николай II уступил, скорее всего сообразуясь не с мнением «всей России», но со взглядом Распутина, что Хвостов «шустер, но молод». С. Е. Крыжановского, правую руку Столыпина, царь отверг, назначение ценимого царем П. Г. Курлова после его неясной роли в покушении на Столыпина носило бы слишком демонстративный характер. Сошлись на А. А. Макарове, которого Курлов сменил два с половиной года назад на посту товарища министра. Теперь пришлось уйти в отставку ему самому. Но царь — с присущим ему тихим упрямством — ни о Хвостове, ни о Курлове не забыл.

На молебне о выздоровлении Столыпина не присутствовало ни одного члена царской семьи и даже свиты, ни один пункт расписания торжеств в связи с его ранением и смертью нарушен не был. По словам царя, известие о покушении на Столыпина царица приняла «довольно спокойно». Через месяц в разговоре с Коковцовым она сказала: «Верьте мне, что не надо так жалеть тех, кого не стало... Я уверена, что Столыпин умер, чтобы уступить Вам место, и что это — для блага России». Да и в отчете царя матери не чувствуется потрясения. Единственная фраза, отмеченная восклицательным знаком: «Радость огромная попасть снова на яхту!»

Как принял известие о смерти Столыпина Распутин, я не знаю. В Киеве, однако, он встречался с императрицей — в первый день отказался к ней пойти, потому что дежурный адъютант «собака», но во время визита царя в Чернигов — между покушением на Столыпина и его смертью — разговаривал с ней и скорее всего обсуждал, кого назначить на освободившиеся посты. Илиодор в Царицыне отказался служить по Столыпину панихиду и начал рыть под монастырем катакомбы, чтобы защищаться от нового премьера.

Глава XIII

ГРОМ И МОЛНИЯ

Царская семья из Киева отправилась в Ливадию, в Крым, — «радость огромная попасть снова на яхту!» — туда же приехал и Распутин. Столыпина больше не было, доверие царя и царицы не поколебалось — новый удар, однако, пришел от недавних друзей.

Епископ Гермоген и иеромонах Илиодор, ободренные поддержкой царя и смертью Столыпина, двинулись в крестовый поход против «либерализма». Илиодор вздумал издавать

газету «Гром и молния», а Гермоген ополчился на предполагаемое введение корпорации дьяконисс и «заупокойного чина» по инославным христианам. За дьяконисс, со ссылкой на первые века христианства, но более чтобы угодить сестре царицы Елизавете Федоровне, настоятельнице Марфо-Марьиной обители, ратовал первоприсутствующий в Синоде Московский митрополит Владимир. Гермоген, в то время член Синода, 15 декабря 1911 года послал «всеподданнейшую телеграмму» с осуждением «еретических» и «противоканонических» нововведений.

Симпатии царя и царицы были опять на стороне Гермогена. Против дьяконисс был и Распутин, считавший, что «архиереи делают дьяконисс для того, чтобы завести у себя в покоях бардаки». По дороге из Ливадии он послал Гермогену телеграмму, что царь с царицей ему кланяются, но просят с Феофаном и Вениамином не говорить.

Однако Гермогену и Илиодору казалось, что они уже сами имеют прямой доступ к царю. Как это бывало раньше и как это будет потом, люди, выдвигавшие Распутина в своих целях, сочли, что цели эти достигнуты — и Распутин только помеха. Его близость к царской семье, «лечение от блудного беса» и примиренческое отношение к «либералам» раздражали фанатичных монахов. Гермоген еще колебался, но Илиодор, приехавший хлопотать о «Громе и молнии» и остановившийся у Гермогена в Ярославском подворье, подталкивал его пригласить Распутина якобы для дружеской беседы, «обличить его, запереть его в угловую комнату, никого до него не допускать... подавать в комнату пищу и даже горшок», а тем временем «послать хороших людей в Покровское, сжечь весь дом со всеми вещами, чтобы сгорели все царские подарки», Гермогену же броситься царю в ноги и добиться ссылки для Распутина. Посоветовались с министром юстиции И. Г. Щегловитовым, тот их внимательно слушал, улыбался и «глубокомысленно молчал». Илиодора же занесло настолько, что он хотел «с самими царями сцепиться».

16 декабря утром, сразу по приезде в Петербург, Распутин позвонил Илиодору, и тот заехал за ним.

— А что, как владыка? Ничего? На меня не сердится? Телеграмму мою получил? — спросил Распутин.

— Ничего. Получил. Доволен. Ждет тебя.

— Вот, брат, что поклон-то царский ему сделал, — обрадовался Распутин. — А летом-то, когда я уехал от тебя, он на меня в Саратове во как нападал!

— Брат Григорий, а я не люблю царя! — вдруг вырвалось у Илиодора. — Не понравился он мне, такой слабый, очень табак курит, говорить не умеет, весь истрепанный, рукой дергает, да, должно быть, и не умный.

— У, у, ты так не говори! Боже тебя спаси! Разве этак можно? — и «старец» погрозил пальцем, а когда уже подъезжали к подворью, спросил: — Слушай-ка, голубчик, а Митя у владыки будет?

— Я, право, не знаю. Разве он в Петербурге? Я его не видел. А что?

— Да так. Я его не люблю. Он такой бешеный...

Митя Козельский, отстраненный от двора после появления Распутина, обиды не простил и у себя в Козельске устроил «бюро для записи лиц женского пола, так или иначе пострадавших от „старческой“ деятельности», а из дворца его снабжали информацией В. А. Дедюлин, князь В. Н. Орлов и князь М. Н. Путятин. Митя был приглашен Гермогеном и Илиодором вместе с писателем А. И. Родионовым и еще четырьмя свидетелями — священниками и купцом.

Митя запоздал, и с его приездом Распутин почувствовал, что готовится что-то недоброе. "Только я хотел раскрыть рот, — вспоминает Илиодор, — как... Митя с диким криком: «А-а-а! Ты безбожник, ты много мамок обидел! Ты много няnek обидел! Ты с царицею живешь! Подлец ты!» — начал хватать «старца» за член. «Старец» очень испугался, губы у него запеклись, он, пятась назад к дверям, сгибался дугою... Наконец... он дрожащим голосом произнес: «Нет, ты — безбожник! Ты безбожник!» Не знаю, до каких бы пор «старцы» препирались между собою и обдавали друг друга слюною, если бы «не вмешался» Гермоген. Он приказал Распутину подойти, а Илиодору начать «обличения».

Когда тот закончил рассказ об «изгнании блудных бесов», "Гермоген в епитрахили и с крестом в руках закричал на Григория:

— Говори, бесов сын... правду ли про тебя говорил отец Илиодор?

«Старец»... проговорил замогильным голосом со спазмами в горле:

— Правда, правда, все правда!

Гермоген продолжал:

— Какою же ты силою делаешь это?

— Силою Божию! — уже более решительно отвечал «старец».

Гермоген, схватив «старца» кистью левой руки за череп, правую начал бить его крестом по голове и страшным голосом, прямо-таки потрясающим, начал кричать: «Диавол! Именем Божиим запрещаю тебе прикасаться к женскому полу! Запрещаю тебе входить в царский дом и иметь дело с царицей... Святая церковь своими молитвами, благословениями, подвигами вынянчила великую святыню народную — самодержавие царей. А теперь ты, гад, рубишь, разбиваешь наши священные сосуды — носителей самодержавной власти!»

Гермоген потащил Распутину в храм, только Илиодор и Родионов последовали за ними, «а остальные, пораженные странным зрелищем, остановились в дверях храма и с испуганным видом дожидались, что будет дальше... Гермоген по-прежнему дико кричал: „Поднимай руку! Становись на колени! Говори: клянусь здесь, пред святыми мощами, без благословения епископа Гермогена и иеромонаха Илиодора не преступать порога царских дворцов!...“ Григорий, вытянувшись в струнку, трясаясь, бледный, окончательно убитый, делал и говорил все, что ему приказывал Гермоген... Что было дальше, я положительно не помню».

Не знаю, всю ли правду пишет Илиодор, во всяком случае он ни слова не говорит, как Распутину удалось спастись. По словам самого Распутина, его хотели убить или хотя бы оскопить, и это не исключено, Гермоген по окончании семинарии как будто сам себя оскопил. Он многим говорил открыто, что Распутин сожительствует с царицей, — не берусь судить, как это соединялось у него с желанием охранить «священные сосуды — носителей самодержавной власти».

Из Ярославского подворья Распутин бросился к Марии Головиной и Ольге Лохтиной, те звонили Илиодору и уговаривали помириться, а на следующий день приехал и сам Распутин и попросил помирить его с Гермогеном: «Папа и мама шума боятся... пожалей папу и маму, ведь они тебя так любят...» Гермоген согласился встретиться с Распутиным, только повернувшись к нему задом. Увидев епископский зад, Распутин воскликнул: «Владыка!» — «и как бы кем ужаленный, выбежал из покоев, на ходу надевая шубу и шапку...»

Илиодор, на этот раз более осторожный, все-таки поехал вечером 17 декабря к Головиной — увидев Распутину, он понял, что «ответ от царей Григорием получен, и ответ для Гермогена и для меня убийственный». Он довольно живо описывает, как на него наседали Вырубова,

Головина и Лохтина. «С бабами-то я расправлюсь одним маленьким креслом. Как махну им, так и разбегутся все, — рассудил он, — но вот Пистолькорс, драгунский офицер, с сильными большими кулаками, как с ним-то справлюсь?» Схватив подсвечник, Илиодор закричал, что если только к нему прикоснутся, он разобьет окно и по-казацки закричит караул! «Да что вы думаете, мы вас бить, что ли, будем?» — удивились поклонники Распутина, но Илиодор поспешил надеть свою шапочку, выйти из дома и уехать из Петербурга.

Примирения не состоялось, и раздраженный Распутин говорил, что «Митю нужно прибрать, а владыке достанется за то, что он так про царицу говорил, будто она живет со мной». 3 января 1912 года последовало «высочайшее соизволение» на увольнение Гермогена, за нападки на Синод в деле о дьякониссах, от присутствия в Синоде, официально объявленное ему 7 января. На следующий день Илиодор получил в Царицыне телеграмму: «Враги разрушают все наши дела. Меня удалили из Синода, Вам запрещают разрешенные уже типографию, газету и журнал. Вовсю работают два семенящих старца и не зарезанный, виденный вами во сне филин пакостный. Скорее езжайте сюда. Будем бороться с общим врагом». 12 января Илиодор приехал, и тут же появился Митя Козельский с известием от дворцовых осведомителей, что царица предлагала Илиодора расстричь, но царь «не захотел устраивать соблазнительный скандал».

"Я пойду против царя! — кричал Илиодор. — Против всех пойду! Погибну, а пойду! С неправдою не помирюсь! Я смерти не боюсь. Г. И. Гермоген с Илиодором бросились давать интервью газетам, не делая уже разницы между «жидовскими» и «истинно русскими». Они обвиняли Синод в готовности отказаться от канонических принципов с дьякониссами, а главное — в потакательстве «веросовратителю и насадителю новой хлыстовщины», в намерении сделать Распутина священником. В действительности этого хотел Гермоген год назад, и Илиодор по его поручению учил Распутина ектениям, «но он настолько глуп, дурак, — пишет Илиодор, — что мог только осилить первое прошение: „Миром господу помолимся“...».

Саблер отвечал газетам, что вопрос о священстве Распутина не поднимался в Синоде, а в вопросе о дьякониссах Гермоген обязан подчиниться его решению. Гермоген, Илиодор и Родионов ездили за помощью к Горемыкину, но тот, хотя и навещил Гермогена, влезать в это дело отказался. Между тем Синод предписал Гермогену выехать не позднее 16 января, отказал в четырех днях отсрочки «по болезни» и предложил «прекратить обсуждение решений и действий духовной власти перед лицами, к обсуждению сего не призванными».

«Горько, горько плача», Гермоген продиктовал царю телеграмму, что всю жизнь служил он церкви и престолу, «и вот на склоне лет моих с позором, как преступник, изгоняюсь тобою, Государь, из столицы. Готов ехать куда угодно, но прежде прими меня, я открою тебе одну тайну». Боюсь, что «тайна» эта была воображаемое сожительство царицы с Распутиным. Он и ей послал телеграмму, царица ответила: «Нужно повиноваться властям, от Бога поставленным». Гермоген плюнул на телеграмму со словами: «Это — Гришкины ответы».

«Уже 17 января днем, — пишет В. Н. Коковцов, — Саблер получил от государя телеграмму Гермогена с резкой собственноручной надписью, что приема дано не будет, и что Гермоген должен быть немедленно удален из Петербурга, и что ему назначено пребывание где-нибудь подальше от центра». Саблер поехал в Царское Село, пытаясь смягчить решение, но в тот же вечер сообщил Коковцову, "что встретил решительный отказ, что все симпатии на стороне Распутина, на которого — как ему было сказано — «напали, как нападают разбойники в лесу, заманивши предварительно свою жертву в западню».

В тот же день Синод постановил епископа Гермогена за неповиновение отстранить от управления Саратовской епархией и назначить ему пребывание в Жировицком монастыре Гродненской епархии, без права посещения Петербурга, Москвы и Саратова, а иеромонаха Илиодора из Царицына «переместить во Флорищеву пустынь Владимирской епархии в число

братии». Илиодор заявил, что он обратится за помощью к прибывающей в Россию делегации англиканских епископов, а его царицынские сторонники угрожали перейти в армяно-грегорианскую веру — было уже не до «канонических принципов».

М. О. Меньшиков, еще 14 января писавший в «Новом времени» о «распутице в церкви» и называвший Распутина «Хлыстовским начетчиком», уже через три дня в статье «Поменьше бы шума» задал вопрос: «Вступая на путь разных революционеров, ездивших жаловаться на родное правительство в Европу и в Америку, не подражает ли одновременно о. Илиодор и евреям, призывающим иностранное вмешательство в наши чисто внутренние дела?»

Гермогену приходили сочувственные телеграммы от графини С. С. Игнатъевой, В. М. Пуришкевича и других правых, а из Саратова сообщили, что уборщица Крестовской церкви «бабушка Параскева, узнав о гонении на епископа Гермогена, от огорчения скончалась». Никому дотоле не известная бабушка Параскева, теперь попавшая на страницы «еврейских газет», оказалась единственной жертвой «побоища благочестивых», так как Распутин все же не был ни убит, ни оскотлен, Илиодор не пострадал ни от женских ногтей, ни от драгунских кулаков, а Гермогена не свалила его «болезнь».

Сопровождавшим его в Петербург священникам велено было вернуться в их епархию, царицынский монастырь был окружен полицией, а в Саратов прибыл новоназначенный епископ Алексей. Гермогену стало ясно, что игра проиграна, и 22 января он выехал в Гродно, сопровождаемый на вокзал жандармским генералом А. В. Герасимовым, который четыре года назад был выбран для неудавшейся попытки арестовать Распутина. Вопрос же о дьякониссах и инославных христианах был отложен «до поместного собора».

Илиодор исчез еще 18 января, сообщив, что отправился во Флорищеву пустынь пешком, журналисты бросились за ним, но найти не сумели. 1 февраля в «Новом времени» появилось его письмо уже из Флорищева: «Шел ночами... В котомке за плечами нес святую библию... Отдыхал днем в самых глухих деревушках... Все время я пел псалмы и молитвы... На станции Чудово меня нашел по условному знаку нарочный владыки Гермогена и передал письмо. Горько мне было прекращать паломничество, но повеление подвижника-святителя победило меня. Я возвратился утром двадцать шестого января в четверг в Питер... и добровольно и охотно отдался в руки» властей. Прицает он далее епископа Волынского Антония за недоверие, тогда как у него «от этого подвига ноги в ступнях опухли и бедра онемели», а также наставляет погнавшихся за ним газетчиков: «Гоняйтесь, только не врите!»

В действительности никакого «паломничества» Илиодор не совершал, а в ночь с 18 на 19 января Гермоген, Родионов и Митя Козельский перевезли его в дом тибетского доктора Бадмаева в Петербурге, где он и скрывался до 26 января.

Петр Александрович Бадмаев, бурят, родившийся в Восточной Сибири в 1857 году, до крещения носил имя Жамсаран. По приезде в Петербург работал в тибетской аптеке у своего старшего брата, учился на восточном отделении Петербургского университета и в Военно-медицинской академии, тогда же принял православие, крестным отцом его был будущий император Александр III. Недолгое время служил он в Министерстве иностранных дел и преподавал монгольский язык в университете, но главным образом стал заниматься медицинской практикой методами тибетской медицины. Хотел он, однако, играть — и одно время играл — политическую роль. В 1893 году он подал Александру III записку, что скорое падение маньчжурской династии откроет пути для мирного присоединения к России Китая, Тибета и Монголии. Витте поддержал Бадмаева, и тот получил два миллиона рублей на организацию в Бурятии торговой компании для завязывания связей с монголо-китайской знатью. Впоследствии с Витте он разошелся и крупных ссуд от казны больше не получал, но продолжал организовывать и проталкивать «в верхах» разные компании, сойдясь с командующим корпусом жандармов П. Г. Курловым и дворцовым комендантом В. А. Дедюлиным. Хотя планы присоединить весь Китай оказались фантастическими, тем не менее

падение маньчжурской династии он предсказал точно, равно как и отрыв от Китая Внешней Монголии.

Уговорив Гермогена подчиниться властям и одновременно приютив Илиодора, Бадмаев написал Дедюлину, что «с государственной точки зрения весьма важно сделать этих двух лиц послушными властям — их можно сделать такими только благоразумными и кроткими мерами». «Сегодня очень сердечно и благожелательно к Вам беседовал со своим Хозяином», — отвечал ему Дедюлин, благодарил за помощь с Гермогеном, превратившимся «из чистого, беспредельно преданного царю и церкви иерарха в явного революционера», но продолжал: «По вопросу о Илиодоре я не убежден доводами Вашего письма, и святости, истинной преданности царю и делу спокойствия России Илиодора не верю. Это человек, дошедший до точки самофанатизма. Жить без скандала и без того, чтобы привлекать на себя общественное внимание, он не может. Полезным теперь его сделать нельзя, он будет всегда вреден...» Бадмаев все же попросил Илиодора составить записку о Распутине для передачи царю через Дедюлина. Но тут события приняли новый оборот, и интересы и записки Бадмаева устремились в другую сторону.

Глава XIV

ПИСЬМО ИМПЕРАТРИЦЫ

В разгоревшуюся вокруг Распутина битву вступил выжидавший своего часа нанести удар царю Гучков. 24 января 1912 года финансируемая им газета «Голос Москвы» полностью, а «Вечернее время» в отрывках поместили письмо М. Н. Новоселова «Голос православного мирянина»: «*Quosque tandem abutere patientia nostra?* — эти негодующие слова невольно вырываются из груди православных русских людей по адресу хитрого заговорщика против святыни церкви и гнусного растлителя душ и телес человеческих, Григория Распутина». И далее, в том же Цицероновом стиле, автор спрашивает: «Доколе, в самом деле, Святейший Синод, перед лицом которого уже несколько лет разыгрывается этим проходимцем преступная трагикомедия, будет безмолвствовать и бездействовать?»

Только что, раздраженный потоком газетных статей о Распутине, царь предложил министру внутренних дел А. А. Макарову принять «решительные меры к обузданию печати», приложив подобную же записку Столыпина от 12 декабря 1910 года. Основные законы свободы печати не ограничивали, тем не менее редакторам газет Министерством внутренних дел было предложено ничего более о Григории Распутине не печатать — поэтому распоряжением Главного управления по делам печати номера газет с письмом Новоселова были конфискованы, а редакторы их привлечены к ответственности.

Уже на следующий день фракция октябристов во главе с Гучковым внесла в Думе запрос министру внутренних дел: известно ли ему, что запрещено писать о Распутине и неисполнение этого требования привело к конфискации газет, и если известно, то какие меры им приняты к восстановлению порядка? Думаю, что Гучков специально приурочил публикацию письма ко времени наложения запрета, чтобы вынести скандал на трибуну Думы и сделать вопрос о Распутине «государственным вопросом».

Так начался — совершенно неожиданно для Распутина — его конфликт с Думой. Растерявшись, он прибег к испытанному средству — дал телеграмму царям: «Миленька и папа и мама! Вот бес-то силу берет окаянный. А Дума ему служит: там много люцинеров и жидов. А им что? Скорее бы Божьяго помазанника долой. И Гучков господин их прихвост клеветает, смуту делает. Запросы. Папа, Дума твоя, что хошь, то и делай. Какие там запросы о Григории. Это шалость бесовская. Прикажи. Не каких запросов не надо. Григорий». Но

приказать Думе было не так просто, как Синоду.

После думского запроса в «распутинскую историю» вовлекаются два новых влиятельных лица: председатель Совета министров В. Н. Коковцов — по неприятной обязанности — и председатель Государственной Думы М. В. Родзянко — по горячему желанию.

Владимиру Николаевичу Коковцову было в 1912 году пятьдесят девять лет, большую часть которых провел он «в бумажной петербургской работе... человек рабочий, по природе умный, но с крайне узким умом... человек честный, но по натуре карьерист... наполненный петербургским чиновничьим самолюбием и самообольщением», — характеризует его Витте, как всегда резко, с личным раздражением, но скорее всего точно. И личная порядочность, и самолюбие, и здравый смысл, и бюрократическая ограниченность, равно как и отсутствие государственного темперамента очень заметны и в собственных воспоминаниях Коковцова.

29 января Николай II поручил ему, Макарову и Саблеру обсудить, как прекратить шум из-за Распутина. Александра Федоровна долго «крайне сердечно» разговаривала с Коковцовым, имени Распутина не упоминая, но ясно было, что эту сердечность придется оправдать. «Тут впервые я оказался уже открыто пристегнутым к этой печальной истории», — замечает Коковцов.

Посоветовавшись, тройка нашла единственным выходом отъезд Распутина навсегда в Покровское. На Распутина решили повлиять через П. С. Даманского, только что по его протекции назначенного товарищем обер-прокурора, а на царя — через министра двора барона Фредерикса. Не знаю, что ответил Даманскому Распутин, но царь оборвал Фредерикса: «Сегодня требуют выезда Распутина, а завтра не понравится кто-либо другой и потребуют, чтобы он уехал». Макарову царь предложил «положить конец всей этой грязи», а Коковцову, с неудовольствием выслушав разъяснение, что слухи о сектантстве Распутина и его близости к царской семье вредят престижу власти, ответил, что нужно «пресечь эту гадость в корне».

13 февраля Коковцов был принят Марией Федоровной, которая, плача, обещала поговорить с сыном. В тот же день он получил письмо с предложением встретиться — от Распутина. После некоторых колебаний Коковцов согласился, и странная встреча между любящим пространное объяснения рациональным петербургским сановником, склонным хитрить, и косноязычным, мистически настроенным сибирским мужиком, тоже склонным хитрить, состоялась вечером 15 февраля.

Распутин сел в кресло, уставился в потолок и долго молчал: «Я так, я ничего, вот просто смотрю, какая высокая комната». Приглашенный Коковцовым его зять сенатор В. Н. Мамонтов, с Распутиным знакомый, спросил, не собирается ли он уезжать, и Распутин, глядя на Коковцова "в упор своими холодными, пронзительными глазами, проговорил скороговоркой: «Что ж, уезжать мне, что ли? Житья мне больше нет, и чего плетут на меня!» Коковцов и Мамонтов стали убеждать его, что ему не место при дворе, его разговоры о влиянии там очень вредят царю. Распутин долго молчал, наконец, отвернувшись, сказал: «Ладно, я уеду, только уж пускай меня не зовут обратно, если я такой худой, что царю от меня худо». М. Г. Распутина, П. Г. Курлов и А. А. Вырубова утверждают, что Коковцов предлагал Распутину за отъезд 200 тысяч, от которых тот отказался, — сам Коковцов ничего не пишет об этом.

На другой день Распутин позвонил Мамонтову, что он-то уедет, но вот в Царском Селе «серчают, говорят, зачем суются, куда не спрашивают, кому какое дело, где я живу, ведь я не арестант». Во время очередного доклада Николай II спросил Коковцова: «Какое впечатление произвел на вас этот мужичок?» На служившего в молодости по тюремному ведомству сановника Распутин произвел впечатление одного из его бывших клиентов — «бродяга, умный и выдрессировавший себя на известный лад простеца и юродивого». Царь заметил,

что сам «этого мужичка» почти не знает, но вечером Мамонтов сообщил Коковцову, что Распутину известно о его отзыве царю: «Вот он какой, твой-то, ну что ж, пушай, всяко свое знает».

В газетах появилось сообщение о приеме Г. Распутина председателем Совета министров, продолжавшемся два часа. На другой неделе Распутин, как и обещал, уехал в Покровское. Коковцов оставался на своем посту еще два года — ни разу за это время царь не заговорил с ним о «мужичке». Коковцов считает, что его отставка была предрешена уже в то время и на ней настояла Александра Федоровна. После отставки у него была еще одна встреча с Распутиным, о которой он в своих воспоминаниях не пишет, на этот раз они как бы поменялись местами — неявным просителем был бывший министр, тщетно надеющийся на возвращение к власти.

Пятидесятилетний Михаил Владимирович Родзянко, по его собственному определению, «самый большой и толстый человек в России», крупный помещик, правый октябрист, стал председателем Думы в марте 1911 года, когда Дума получила щелчок от Столыпина и Гучков рассудил уйти в отставку. «Главное качество Родзянки заключается не в его уме, а в голосе — у него отличный бас», — заметил о его избрании Витте. "За раскаты голоса шутники сравнивали его с «барабаном», а грузная фигура вызвала кличку «самовара», — вспоминает лидер кадетов Милюков, он отмечает его «незначительность», «природное незлобие» и «вспышки напускной важности, быстро потухавшие».

Был он в дружбе с двумя наиболее влиятельными противницами Александры Федоровны среди петербургской аристократии — великой княгиней Марией Павловной, женой дяди царя Владимира Александровича, и княгиней Зинаидой Николаевной Юсуповой, женой графа Феликса Сумарокова-Эльстона, за прекращением мужской линии Юсуповых получившего в 1891 году разрешение присоединить к своей фамилии имя и титул Юсуповых. Мария Павловна ненавидела царицу за то, что та противилась браку ее сына Кирилла с его кузиной Викторией, разведенной женой брата царицы герцога Эрнста Гессенского, и настаивала на лишении Кирилла великокняжеского титула. Соперничество усиливалось еще тем, что в случае смерти наследника от гемофилии и мorganатического брака брата царя Михаила Александровича с Н. С. Вульфферт престолонаследие могло перейти к Владимиру, а затем Кириллу. Юсупова была одно время близка с императрицей, высказалась отрицательно о Распутине — и была отстранена: то, что ее променяли на «грязного мужика», она никогда не простила.

Под влиянием, с одной стороны, двух этих дам, а с другой, Гучкова Родзянко кинулся разоблачать Распутина и «спасать государя». Сведения для доклада царю он получил от младшего сына З. Н. Юсуповой графа Феликса Сумарокова-Эльстона, будущего князя Юсупова, от друга Илиодора и свидетеля сцены у Гермогена И. А. Родионова, от И. А. Гучкова, снабдившего его брошюрой М. Н. Новоселова, и от П. А. Бадмаева.

Брошюра М. Н. Новоселова «Григорий Распутин и мистическое распутство» печаталась в начале 1912 года в Москве, распоряжением властей набор был рассыпан и тираж конфискован — тем не менее и печатные, и машинописные копии ходили по рукам. На той копии, которой пользовался я, сделана пометка: «Многое из сообщенного в брошюре, по тщательной проверке, оказалось ложью, многое крайне преувеличено. Вл. Бонч-Бруевич. СПб., 17 августа 1912 г.». Брошюра имела те же источники, что и синодальное дело, в частности доносы священников из Покровского, возможно, что Новоселов как миссионер имел доступ и к самому «делу».

Наиболее интересные материалы получил Родзянко от Бадмаева, написавшего и от себя записку, что «высокая сфера — святая святых русского государства» и для ее охранения «православные люди должны принять серьезные, глубоко обдуманые меры». Перечислил он «генеральный штаб Григория Ефимовича в Петербурге: г-жа Вырубова, семья Танеева,

Пистолькорс, Головина, Сазонова, Даманского, Саблера, графа Витте и епископа Варнавы) — графа Витте он затем вычеркнул, опасаясь ссориться со своим бывшим покровителем. Вместе с этой запиской он передал посетившим его Родзянке и Гучкову записки Илиодора, предназначенные сначала для Дедюлина, а что самое главное — копии писем царицы и великих княжон, которые когда-то Илиодор взял у Распутина в Покровском.

Сразу же по прибытии во Флорищеву пустынь Илиодор послал телеграмму брату Александру в Царицын, и тот привез ему письма. В один и тот же день, 8 февраля 1912 года, к Илиодору за ними прибыли гонцы от Бадмаева и А. И. Родионова. Подлинники Илиодор отправил Родионову для Гермогена, а копии — Бадмаеву. Бадмаев получил только четыре письма, так как Илиодор забыл сразу вложить в конверт копии двух писем — от Ольги и Анастасии. В сопроводительном письме «дорогому Петру Александровичу» он передает «самую искреннюю, сердечную благодарность тому неведомому для меня г. члену Государственной думы, который через Вас подарил мне прекрасное одеяло». Полагаю, что этот «неведомый член» А. И. Гучков, получив царские письма, о подаренном одеяле мог и не жалеть.

Передав письмо царицы намеревавшимся «возбудить страсти» Родзянке и Гучкову, Бадмаев 17 февраля написал очень сладкое письмо царю, что «епископ Гермоген и иеромонах Илиодор — фанатики веры, глубоко преданные царю, нашли нужным мирно уговорить г. Нового не посещать царствующий дом», и предлагал «спокойно, не возбуждая страстей, ликвидировать это дело». Увидев со временем, что «хлыст, обманщик и лжец г. Новый» не пошатнулся, Бадмаев стал именовать его «отцом Григорием» и «дорогим Григорием Ефимовичем».

Вслед за Коковцовым императрица-мать, по совету Юсупова, пригласила Родзянку.

— Я знаю, что есть письмо Илиодора к Гермогену, — (у меня действительно была копия этого обличительного письма), — и письмо императрицы к этому ужасному человеку. Покажите мне, — сказала она. — Не правда ли, вы его уничтожите?

— Да, Ваше величество, я его уничтожу.

Тут Родзянку добавляет, но тоже с большим благородством: «Это письмо и посейчас у меня: я вскоре узнал, что копии этого письма в извращенном виде ходят по рукам, тогда я счел нужным сохранить у себя подлинник».

В действительности никаких «подлинников» у Родзянки не было — они были у Родионова, и о них я скажу далее. Копии же писем, которые «в извращенном» или не извращенном виде стали ходить по рукам, имели своим источником самого Родзянку и его однопартийца Гучкова, ибо именно им эти копии передал Бадмаев. Если сам Родзянку и не имел намерения распространять эти письма, то во всяком случае он не задумался взять их у Бадмаева и не воспрепятствовал их распространению Гучковым. К сожалению, оказалось, что в России не только полиция, но и «общественность» считала возможным перлюстрацию и использование чужих писем.

Пустив по рукам письма царской семьи и отслужив молебен в Казанском соборе, Родзянку 26 февраля прибыл на очередной «всеподданнейший доклад», с намерением «открыть глаза» царю. Он прочел ему обстоятельную нотацию, что «присутствие при дворе в интимной его обстановке человека столь опороченного, развратного и грязного представляет из себя небывалое явление в истории русского царствования», показал письма «жертв», фотографии Распутина среди «хлыстов», подчеркнул необходимость оградить наследника от дурных влияний, сообщил, что «на съезде масонов в Брюсселе говорили о Распутине как о удобном орудии в их руках» — сведения, полученные от Юсупова-младшего, знакомого с масономанией царя. Показал Родзянку, хотя и не пишет об этом в своих воспоминаниях, и копии писем царицы и дочерей. В конце доклада царь поблагодарил председателя Думы,

сказав, что тот «поступил как честный человек, как верноподданный», и тот ушел довольный. В общем, как было принято писать в официальных сообщениях, аудиенция «носила всемирнолюбивый характер».

Не знаю, с каким чувством слушал «властитель слабый и лукавый» напористого и шумного «толстяка Родзянко», может быть, тот держался скромнее, чем он пишет в своих воспоминаниях, там он на каждой странице кого-нибудь «распекает». Но вот эпизод, характеризующий то ли надежность мемуаров, то ли лукавство царя: Родзянко показал "фотографию Распутина с наперсным крестом: «Вы видите, Ваше величество, Распутин не иерарх, он здесь изображен как бы священником». Государь на это сказал: «Да, это уж слишком. Он не имеет права надевать наперсного креста». Между тем крест этот с монограммой "Н" сами царь и царица подарили Распутину.

Царь видел, что Родзянко питается слухами и разносит их, и приказал Дедюлину дать Родзянко «синодальное дело» Распутина, чтобы тот составил и доложил личное мнение, добавив: «пусть об этом пока никто не будет знать». Дедюлин передал ему слова государя, что «Родзянко вполне убедится в ложности всех сплетен и найдет способ положить им конец». Но Родзянко немедленно распространил по городу весть об «оказанной ему государем чести», сразу же «засадил... всех присяжных переписчиц за копирование дела в полном объеме» и для изучения его привлек нескольких членов Думы, в том числе и Гучкова. Приехавшему за делом от имени царицы П. С. Даманскому он дела не отдал, а ее духовника А. Васильева, похвалившего Распутина, назвал «сектантом и участником сатанинского замысла». 8 марта с помощью своих друзей Родзянко кончил доклад и попросил приема у царя, а на следующий день царицу посетила З. Н. Юсупова, убеждая ее, что Распутин «хлыст», а Родзянко «честный и верный человек». Никак не могла в аристократических головах вместиться мысль, что царь скорее послушает мужика, чем камергера.

В этот же день, 9 марта 1912 года, при обсуждении в Думе сметы Синода выступил Гучков: «Все вы знаете, какую тяжелую драму переживает Россия; с болью в сердце, с ужасом следим мы за всеми ее перипетиями, а в центре этой драмы загадочная трагикомическая фигура — точно выходец с того света или пережиток темноты веков... Быть может, изувер-сектант, творящий свое темное дело, быть может, проходимец-плут, обдeldывающий свои темные делишки. Какими путями достиг этот человек этой центральной позиции, захватив такое влияние, перед которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти?...» Речь была построена на сведениях «записки» Илиодора и «синодального дела», не приводились факты, но делались намеки на якобы всем известное. Кончил он тем, что за спиной Распутина «стоит целая банда», в том числе «ненасытные честолюбцы, тоскующие по ускользнувшей из их рук власти» — явно имея в виду Витте.

Пока Родзянко бегал по городу, разглашая конфиденциальное поручение царя, а Гучков произносил в Думе речи, сводя счеты с царем и Витте, Родионов размышлял, что ему делать с полученными от Илиодора царскими письмами. Как монархиста, его уже неприятно поразило то, что Илиодор писал в своей «записке» о царской семье, появление писем в списках его еще более встревожило, и он решил не пересылать их Гермогену, а отдать министру внутренних дел Макарову для возвращения адресатам. Макаров, не в силах остановить распространение копий, был обрадован, что по крайней мере теперь невозможно фотографирование подлинников. Он показал письма Коковцову — одно императрицы, четыре великих княжон и росчерк наследника. Тот посоветовал передать письма лично императрице, но Макаров на очередном докладе дал их царю.

По его рассказу, «государь побледнел, нервно вынул письма из конверта, и, взглянув на почерк императрицы, сказал: „Да, это не поддельное письмо“ — а затем открыл ящик своего стола и резким, совершенно непривычным ему жестом швырнул туда конверт». «Теперь ваша отставка обеспечена», — сказал Макарову Коковцов — и действительно, в конце года тот был уволен.

В этих обстоятельствах понятно, насколько должна была раздражить царя просьба Родзянки о приеме — он переслал ее Коковцову со следующей резолюцией: «Я не желаю принимать Родзянку, тем более, что всего на днях он был у меня. Скажите ему об этом. Поведение Думы глубоко возмутительно, особенно отвратительная речь Гучкова по смете Св. Синода. Я буду очень рад, если мое неудовольствие дойдет до этих господ, не все же с ними раскланиваться и только улыбаться».

Тут воспоминания двух государственных деятелей расходятся: Коковцов пишет, что он не показал резолюцию Родзянке, грозившему отставкой, если царь его не примет, но Коковцовым «успокоенному», по словам же Родзянки, они «оба обомлели, читая эти строки, которыми был нанесен афронт Думе и ее председателю». Все же Коковцову удалось получить от царя примирительную резолюцию, что Родзянку может прислать ему доклад, а его самого он примет «по возвращении». 15 марта царь с семьей выехал в Крым, незадолго до отъезда сказав Коковцову: «Я просто задыхаюсь в этой атмосфере сплетен, выдумок и злобы».

Нужно было быть «таким самоуверенным и таким ограниченным человеком, как Родзянку», пишет Курлов, чтобы, показав царю копии писем, «удивляться и быть недовольным, когда его совет не имел никакого успеха». «Впечатление глубокого личного оскорбления, вызванного непрошеным вмешательством в самые интимные стороны семейной жизни, распространилось из-за Родзянки и Гучкова и на Государственную Думу», — замечает Милюков, сторонний наблюдатель конфликта.

Ответа на свой доклад Родзянку никогда не получил и не знает, читал его царь или нет. Через год, однако, — первый и последний раз — ему пришлось встретиться с Распутиным. Перед торжественным молебном в Казанском соборе по случаю трехсотлетия дома Романовых думский пристав доложил Родзянке, что «какой-то человек в крестьянском платье и с крестом на груди встал впереди» отведенных для депутатов мест. Родзянку, «догадавшись, в чем дело», направился к Распутину и «внушительным шепотом» спросил:

— Ты зачем здесь?

— А тебе какое дело? — ответил Распутин, бросив «нахальный взгляд».

— Если ты будешь говорить со мной на ты, то я тебя сейчас же за бороду выведу из собора, — ответил глава «народных представителей», у которого уже «глаза вылезали из орбит».

Несмотря на показанный Распутиным пригласительный билет и на то, что он опустился на колени и начал молиться — дело все-таки происходило в храме, — Родзянку «толкнул его в бок» и сказал: «Если ты сейчас же не уберешься отсюда, то я своим приставам прикажу тебя вынести на руках». С глубоким вздохом и со словами: «О Господи, прости его грех» — Распутин вышел. «Барин» из-за места выгнал «мужика» из храма Божьего — чем хвастал Родзянку перед смертью?

Илиодор в своем монастырском уединении горько сожалел, что Родионов отдал письма «батюшке-царю» вместо того, чтобы повести «серьезную кампанию против старца». Но болезненнее всех была реакция самой царицы, гордой, замкнутой, уверенной в своем превосходстве — и вдруг выставленной на глаза ее подданных в самом сокровенном. Она потребовала объяснений. «Миленькая мама! Фу, собака Илиодор. Вот вор. Письма воруют, — писал Распутин. — Какая гадость! Украл из сундука, или еще как. Да. Вот вам и священник. Бесам служит. Это знай. Остры у него зубы, у вора. Да! Григорий».

Слухи, что Распутин сожительствует с царицей, пущенные Гермогеном и подхваченные Гучковым, показав царю, какой грязью могут облить и его жену, и «старца», — скорее усилили его недоверие ко всему дурному, что он слышал о Распутине. Но то, что его семейная жизнь оказалась в центре всероссийского скандала, а письма жены и детей попали в чужие руки,

заставило его заколебаться и как будто дать «карт бланш» министру внутренних дел Макарову. Выехав после разговора с Коковцовым в феврале в Покровское, в июне Распутин, ускользнув в дороге от агентов, снова появился в Петербурге — но через несколько дней был выслан приказом министра. Казалось, влиянию «старца» на царскую семью приходит конец — но Бог судил иначе.

В Ливадии наследник подвернул ногу, нога долго болела, затем прошла, и семья переехала в Беловежье — царь был страстным охотником и даже в разгар революции не забывал перечислить в дневнике, сколько уток убил. В начале сентября наследник, прыгая в лодку, оступился, и на той же ноге появилась небольшая опухоль. Через несколько дней ему стало лучше, семья переехала в Спалу — но здесь наследник упал снова, и 2 октября 1912 года началось внутреннее кровоизлияние «в левую подвздошную область и всю поясничную с той же стороны». В первый же день температура поднялась до 39,4° С, пульс до 144, в помощь Боткину и Федорову были вызваны лейб-хирург С. Острогорский и лейб-педиатр К. Рауфхус.

С 10 октября стали публиковаться бюллетени о состоянии здоровья наследника. По словам Витте, «в царской семье есть какой-то странный — не то обычай, не то чувство — не признаваться в своей болезни», гемофилия наследника скрывалась даже от придворных, и распубликованию бюллетеней можно дать одно объяснение — страну начали готовить к его смерти. «Страна жила под страхом катастрофы, — вспоминает Коковцов. — Я не решался беспокоить государя никакими делами». Повсюду проходили молебны, царь отвечал благодарственными телеграммами — не берусь писать, каково было ему, а особенно матери.

Восьмилетний Алексей очень страдал от болей и сам не верил в выздоровление. «Когда я умру, поставьте мне во дворе маленький памятник», — сказал он родителям. 10 октября его причастили. «Вошли их величества в полном отчаянии, — вспоминает Вырубова. — Государыня повторяла, что ей не верится, что Господь их оставил. Они приказали мне послать телеграмму Распутину».

На следующее утро, вспоминает Мосолов, они с бароном Фредериксом «узнали, что в апартаментах императрицы и наследника царит большое волнение. Государыня получила телеграмму от Распутина, сообщавшего, что здоровье цесаревича исправится и что он вскоре освободится от страданий... В два часа врачи пришли опять ко мне, и первое, что они сказали, было, что кровотечение у цесаревича остановилось. По словам императрицы, это было уже не в первый раз, когда старец спасал жизнь наследника».

Телеграмма не сохранилась, но общий смысл был тот, что наследник не умрет, болезнь не так страшна, пусть только доктора его не слишком беспокоят. Мэсси пишет, что с медицинской точки зрения это был разумный совет, хлопоты вокруг наследника и истерия самой Александры Федоровны создавали напряжение, уже само по себе губительное. Вызванное телеграммой успокоение царицы передалось и мальчику.

21 октября Николай II послал успокоительное письмо матери, 24-го возобновил охоту на оленей. 2 ноября был напечатан последний бюллетень, а 5-го семья вернулась в Царское Село. Если на время царица и усомнилась в Распутине, то отныне уже никто и никогда не мог поколебать ее веры в святость и могущество «старца».

Глава XV

ОХОТА НА РАСПУТИНА. КОАЛИЦИЯ ТРЕЗВЕННИКОВ

В конце 1912 года Распутин вернулся в Петербург. Если его влияние на царскую семью не поколебалось, а имя постепенно сошло с газетных страниц, то и враги его отнюдь не опускали рук. Наибольшая активность сосредоточилась в двух кружках: вокруг отставного иеромонаха Сергея Михайловича Труфанова и вокруг бывшего «поставщика чудотворцев» великого князя Николая Николаевича.

Генерал Богданович был ктитором Исаакиевского собора, а также автором и издателем «кратких, но от сердца идущих» монархических брошюр, на которые он вымогал деньги и непосредственно у царя, и в Министерстве внутренних дел. В течение трех десятилетий салон Богдановичей посещался представителями столичной и провинциальной высшей бюрократии, церковниками, а затем и членами правых партий. Субсидии на салон получал он частью от Министерства внутренних дел, частью от дворцового коменданта В. А. Дедюлина, в придворной среде чувствовавшего себя не совсем уверенно и потому слегка заискивавшего перед монархическими кружками.

Богданович был настроен «антираспутински» с 1908 года, как только до него дошли слухи о близости «мужика» к царской семье, но кампанию против него повел с начала 1912 года, прежде всего в своих еженедельных письменных докладах царю. Сведения он получал от завсегдатая своего салона директора Департамента полиции С. П. Белецкого. По его же просьбе поручил Белецкий своему агенту журналисту И. Ф. Манасевичу-Мануйлову публиковать статьи, рисующие Распутина в дурном свете, — взятое им интервью, как Распутин водил голышом своих почитательниц в баню «смирять гордыню», перепечатано было в английских и французских газетах, положив начало известности Распутина как «Russia's greatest love machine».

Не надеясь только на силу слова, Богданович задумал покончить с Распутиным более верными методами. Еще в феврале 1912 года, в связи со слухами об отъезде Распутина в Крым с царской семьей, написал он ялтинскому градоначальнику генерал-майору И. А. Думбадзе, что ему, «старика, с тех пор не спится, как удостоверился, что Распутин — бродяга, он успел совершить много зла и здесь и обещает возмутительно вести себя и у вас... Многие россияне уповают, что бесценный, неподражаемый Иван Антонович утопит грязного бродягу в волнах Черного моря». И. А. Думбадзе был действительно неподражаем: когда в 1907 году в него с балкона одного из ялтинских домов была брошена бомба, он не стал искать виновных, а приказал сжечь весь дом. В феврале Распутин поехал в Покровское, а не в Ялту, а с июля по декабрь Думбадзе был временно отозван оттуда. Но просьбы старика он не забыл и осенью 1913 года, когда царская семья находилась в Крыму и Распутин был вызван туда, телеграфировал шифром Белецкому: 'Тазрешите избавиться от Распутина во время его переезда на катере из Севастополя в Ялту'. Белецкий передал телеграмму министру внутренних дел Н. А. Маклакову, спрашивал, что ответить, но тот сказал: «Я сам». Не знаю, доложил ли он царю, но эта попытка убить Распутина не состоялась.

У иеромонаха Илиодора влияние было уже гораздо меньше, чем у генерала Богдановича, но ненависти к Распутину пожалуй, больше. На совет Гермогена молиться владычице мира он ответил: «После помолюсь, а сейчас буду бороться». Начал он давать интервью газетчикам и бомбардировать проклятиями Синод, называя епископов «животными, упитанными кровью народной», — но интерес газет постепенно падал, как падает он ко всякой сенсации, а послания оседали в синодских архивах. Между тем жизнь во Флорищеве была не сладка, и в мае 1912 года, на четвертый месяц заточения, Илиодор попросил о снятии сана.

Феофан и Гермоген писали ему не делать этого — «с тех пор я Гермогена не знаю и знать не хочу», — закусил удила Илиодор. Синод постановил, как требует закон, «увещевать» его в течение шести месяцев. Илиодор гнал «увещевателей», и Распутин, следивший за судьбой бывшего друга, сокрушенно писал царям: «Илиодор с бесами подружился. Бунтует. А прежде таких монахов пороли. Цари так делали». В Царицын была Синодом назначена ревизия, и

поклонницы Илиодора, по его указанию, устроили демонстрацию в храме. «Миленькие папа и мама! — объяснял царям Распутин. — Илиодор их научил бунтовать. Вы не смотрите на его баб. Молитва их бесам. Надо приказать похлеще поучить этих баб».

Через шесть месяцев сана с Илиодора не сняли, и он, словно в его душу «вошли свою гордость все бесы, в разное время изгнанные из людей блаженным Григорием», написал в Синод: «Отрекаюсь от вашего Бога! Отрекаюсь от вашей веры! Отрекаюсь от вашей церкви!» «С ума сошел. Докторов надо, а то беда. Он пойдет играть в дудку беса», — комментировал Распутин. 22 декабря 1912 года Илиодор расписался на синодальной бумаге о лишении его сана и выехал из Флорищева в свою станицу Мариинскую на Дону. В дороге он представлялся газетчикам как «бывший колдун», просил прощения, что народ обманывал, говорил, что теперь будет поклоняться солнцу и звездам и в гостиничных бланках в графе «Религия» писал — «своя», а по прибытии на Дон начал строить «Новую Галилею».

На телеграмме Ольги Лохтиной царю — «Когда полюбите отца Илиодора?» — Распутин вывел резолюцию: «Ежели собак прощать, Серьгу Труханова, то он, собака, всех съест». И правда, не прощения, но борьбы, «съесть всех» жаждал бывший отец Илиодор. Как к естественному союзнику обратился он сначала к Государственной Думе — в январе 1913 года получил Родзянко бумагу из Царицына с пятьюстами подписей, что Распутин живет у Саблера и снова бывает при дворе. Тут же он послал бумагу Саблеру для объяснений, тот ответил, что это неправда, и пожаловался царю. «Опять появились намеки на Распутина, опять полились речи по адресу Саблера и Синода», — вспоминает Коковцов. Но в этой буре в стакане воды Распутин не погиб, и Труфанов, как и Богданович, рассудил, что пора перейти от слов к делу.

В октябре 1913 года, подражая Мите Козельскому, составил он «компанию из обиженных Распутиным девушек и женщин», для его оскпления, «уже были пошиты великосветские платья», чтобы проникнуть в петербургское окружение Распутина, но его предупредил приятель Труфанова Синицын — и дело сорвалось. Одна из участниц заговора, Хиония Кузьминична Гусева, «духовная дочь» Труфанова — «девица умная, серьезная, целомудренная», что не помешало ей потерять нос из-за сифилиса, ибо она «молила Бога отнять у нее красоту», — хотя сама и не была Распутиным «обижена», но воспламенилась ламентациями своего учителя. «Да Гришка-то настоящий диавол. Я его заколю! Заколю, как пророк Илья, по повелению Божию, заколол 450 ложных пророков Бааловых», — восклицала она, решив действовать в одиночку. «С мнением Гусевой о разделке с Гришкой я был согласен», — замечает Труфанов, оставалось выждать удобный момент.

У великого князя Николая Николаевича, когда-то введшего Распутина к царю, были свои мотивы добиваться его устранения. Помимо личной обиды на «неблагодарность» Распутина, не ставшего при дворе проводником влияния семьи великого князя, он опасался влияния «мужика» на царя и понимал, что это опасение разделяется многими аристократами и ослабляет среди них престиж монарха. Как главнокомандующий войсками гвардии, он мог наблюдать за ростом там антираспутинских настроений, даже способствовать ему. Директору Департамента полиции поступали сведения «о неудовольствии в среде офицеров гвардейского корпуса близостью Распутина к царской семье и что в результате можно ожидать переворота... Поведение последнего и отношение к нему будто бы оскорбляет офицеров...».

Полиция следила за гвардией, а гвардия обращалась за помощью к полиции: весной 1914 года Николай Николаевич попросил Белецкого, уже снятого с поста директора департамента, но сохранившего у себя копии агентурных сводок, дать ему «сведения о порочных наклонностях Распутина». Николай Николаевич говорил с царем, но положения Распутина это не поколебало. Скорее это поколебало положение Николая Николаевича, так как Распутин не упускал случая предупредить царя и царицу о его властолюбии. «Гр[игорий] ревниво любит тебя, — писала царица мужу в сентябре 1914 года, — и для него невыносимо,

чтобы Н[иколай Николаевич] играл какую-либо роль».

К середине 1914 — рокового для России и для Европы — года заговор Богдановича и Думбадзе кончился ничем, заговор Труфанова и Гусевой приближался к развязке, а «заговор аристократии» еще только зарождался. За последние два года к Распутину не удавалось привлечь много внимания. Государственная жизнь шла скорее спокойно, революционный вихрь опал, крайне правые раскололись на враждующие друг с другом мелкие группки, преобразовательные программы легли в долгий ящик, либерализация продолжалась — но это был скорее процесс медленного развинчивания, чем сознательных преобразований. Во главе правительства стоял Коковцов, осторожный и не желавший никого раздражать бюрократ, и «жизнь в стране и столице переворачивалась как медведь с боку на бок, ожидая и страшась надвигавшихся событий».

Пока что только два события вызвали напряжение: весной 1912 года расстрел рабочих на Ленских золотых приисках, сопровождаемый словами министра внутренних дел Макарова в Думе: «Так былой так будет впредь», осенью 1913-го суд в Киеве над Менделем Бейлисом, арестованным два года назад по обвинению в «ритуальном убийстве» русского мальчика. Ход делу был дан на гребне столыпинской политики «русского национализма», курировалось оно министрами юстиции И. Г. Щегловитовым и внутренних дел Н. А. Маклаковым. Правые во что бы то ни стало хотели доказать употребление евреями христианской крови — но дело настолько было шито белыми нитками, что даже один из лидеров националистов, Василий Шульгин, упрекал недавних единомышленников: «Вы сами совершаете человеческие жертвоприношения. Вы отнеслись к Бейлису как к кролику, которого кладут на вивисекционный стол».

Шульгин вспоминает, как одиноко и тяжело чувствовал он себя в это время — и вдруг вечером в его кабинете появился незнакомец, с давящим взглядом, и сказал, что он тоже знает, что важно узнать, кто же это сделал. Помедлив, незнакомец ответил:

— Есть такой человек.

— Какой человек?

— Такой человек, что все знает... И это знает... — и, понизив голос, сказал таинственно: — Григорий Ефимович...

Шульгин не стал обращаться к Распутину, между тем отношение того к инсценировке «дела Бейлиса» было отрицательным. Через три года, увидев в списке правых членов Государственного Совета Г. Г. Чаплинского, прокурора на процессе, он с отвращением сказал: «На этом кровь». Набранный из мужиков, суд присяжных Бейлиса оправдал.

Переваливание России «с боку на бок» не могло надолго устроить ни левых, ни правых, в том числе самого царя. Замысел тандема осторожного и опытного Коковцова с напористым, но малоопытным Хвостовым-младшим натолкнулся на сопротивление Коковцова и, что более важно, Распутина. Царь, после навязывавшего ему свою волю премьера удовлетворившись на время человеком более покладистым, уже через год стал думать о замене Коковцова и в октябре 1912 года предложил ему пост посла в Берлине. Это было связано с решением царя назначить министром внутренних дел Н. А. Маклакова, против чего возражал Коковцов, но он предпочел примириться с его назначением и остаться председателем.

Однако в Совете министров он стал наткаться на сильную оппозицию «правых» — Н. А. Маклакова, В. А. Сухомлинова, С. В. Рухлова, И. Г. Щегловитова и Л. А. Кассао, считавших, что он «заигрывает с Думой». «Умеренные» — С. Д. Сазонов, И. К. Григорович, П. А. Харитонов и С. И. Тимашев — поддерживали его, но скорее вяло, при весьма неопределенной позиции А. В. Кривошеина. Министра земледелия Кривошеина царь как будто и намечал в преемники Коковцову, но тот хотел выждать развития событий, считая, что

при непосредственных отношениях царя с министрами у председателя нет реальной власти, но только ответственность.

Сам Коковцов считает, что его смещения добивались прямо между собой не связанные, но равно против него настроенные — царица, «правые министры» и князь Мещерский с графом Витте. Оба они — один в еженедельнике «Гражданин», а другой в Государственном Совете — повели кампанию трезвости, обвиняя Коковцова в злоупотреблении водочной монополией и «спаивании народа». Витте, указывая, что доход от продажи водки в три раза превышает общие расходы на народное просвещение, предлагал уменьшить продажу алкоголя, компенсируя это увеличением прямых налогов.

С нападками на Коковцова он выступал еще в начале 1913 года, но особенно резко в январе 1914-го. Коковцов уговорил председателя Государственного Совета М. Г. Акимова вместе пожаловаться на Витте царю, тот, как всегда, слушал любезно и безразлично, а на обратном пути из Царского Села Акимов неожиданно спросил Коковцова, слышал ли тот, что вся эта кампания трезвости ведется Витте и Мещерским потому, «что на эту тему постоянно твердит в Царском Селе Распутин».

Распутин, действительно, говорил царю, что «нехорошо спаивать народ», — и это отвечало искреннему желанию царя ограничить народное пьянство, особенно после того, как во время путешествия на Волгу в мае 1913 года он увидел нищету русских деревень. От Распутина, да и от многих других Витте мог знать о настроении царя — и смело разыгрывать эту картину против Коковцова. Распутин же не простил тому отзыва царю, хотя Коковцов Распутина и не преследовал, ограничившись полицейской слежкой. Есть все же известный парадокс в том, что «кампанию трезвости» повели Витте и Распутин — «винную монополию» начал вводить сам Витте в 1895 году, Распутин же, добившись запрещения продажи спиртного, сам начал пить, и притом так, что вошел в историю с репутацией пьяницы.

24 января 1914 года, избегая сообщить ему лично, царь известил Коковцова собственноручным письмом, что «государственная необходимость заставляет меня высказать Вам, что мне нужно с Вами расстаться». Едва ли, однако, народная трезвость была единственной или главной причиной отставки Коковцова. Другой причиной было недовольство его финансовой политикой, стремлением во что бы то ни стало иметь сбалансированный бюджет и большие золотые накопления. Возобладал взгляд А. В. Кривошеина, который считал излишний золотой запас мертвым грузом и отстаивал широкие капиталовложения в промышленность и сельское хозяйство.

Если вопрос о трезвости сыграл, таким образом, роль в смещении Коковцова с поста министра финансов, то несомненно решающей причиной его смещения с поста председателя Совета министров была дорогая царю и царице идея возврата к неограниченному самодержавию, превращению законодательных палат в законосовещательные, «народу — мнение, царю — решение».

Идея возврата к старому не оставляла царя со дня подписания манифеста 17 октября, и первый шаг был сделан указом 3 июня 1907 года, изменившим — без участия законодательных палат — избирательный закон. Поскольку шаг этот прошел успешно, Николай II — не посвящая в свои планы Столыпина, сторонника сотрудничества с дворянско-буржуазной Думой, — в 1909 и 1910 годах попросил министра юстиции И. Г. Щегловитова с председателем Государственного Совета М. Г. Акимовым рассмотреть вопрос о преобразовании обеих палат в законосовещательные. Оба они, несмотря на консервативные взгляды, отнеслись к этому отрицательно, и Акимов сказал царю, что «худ или хорош этот порядок, но на нем помирился весь мир».

Летом 1911 года Л. Н. Тихомиров подал записку о законосовещательной Думе Столыпину, и тот, менее чем за два месяца до смерти, наложил резолюцию: «Все эти прекрасные

теоретические рассуждения на практике оказались бы злостной провокацией и началом новой революции». Скорее всего записка Тихомирова и резолюция Столыпина были известны царю, такого рода записки получал он и от генерала Богдановича, и от князя Мещерского.

Владимир Петрович князь Мещерский, достигший к описываемому времени семидесяти пяти лет, был фигурой патетической и в то же время не совсем чистой. Внук нашего знаменитого историографа Карамзина, унаследовал он монархический образ мыслей — по-семейному естественный, а не карьерный. Никакой карьеры он и не сделал, если не считать карьерой близость его к двум последним императорам — близость эта странным образом прерывалась Александром III на одиннадцать, а Николаем II на девять лет. С 1872 года издавал он еженедельную газету «Гражданин», сначала редактируемую Достоевским, а затем самим Мещерским, — газета с маленьким тиражом, но читаемая царями, была сильным оружием в его руках как для проповедования идей, так и для сведения счетов. Человек сильного темперамента, способен он был увлекаться людьми, как увлекался он Витте, а затем в ярости порывать с ними. Мог он втираться в доверие, нашептывать, как нашептывал царю, мог улавливать заветные мысли собеседника и в угоду ему подхватывать их — но мог и резко возражать, так, защищал он равноправие евреев, несмотря на известный ему антисемитизм Николая II. Две печальные черты накладывали отпечаток на его облик. Во-первых, он все время вымогал для себя и своей газеты денежные подачки у царя и министров — тем самым свое перо как бы ставя им на службу за плату, и хотя он, как исправник в «Дубровском», мог и взятку взять, и человека посадить, все же отпечаток угодничества лег на него. Во-вторых, он был гомосексуалистом, на что русское общество в то время смотрело не так, как американское сегодня, мало того, он изо всех сил старался проталкивать и пристраивать своих, как он их называл, «духовных детей» — некоторые из этих «детей» уже появились и еще появятся на этих страницах.

Близкий к Николаю II в начале царствования — он играл роль такого же «вздрючивателя волн», как позднее Распутин, — Мещерский к концу 1905 года был совершенно отстранен, но весной 1913-го «старая дружба вернулась окончательно», как писал ему царь. Зная, что восстановление самодержавия — заветная мысль царя и царицы, и сам ее вполне разделяя, Мещерский проводил ее в своей газете, писал о ней царю и всячески поддерживал в ней своего молодого друга Н. А. Маклакова.

Лично приятный царю и своим обожанием, и своими забавами, Н. А. Маклаков был его единственным настоящим единомышленником в Совете министров. Он был черниговским губернатором, когда царь после покушения на Столыпина посетил Чернигов, и здесь, как писал впоследствии Маклаков царю, «у раки святого Феодосия Черниговского Господь... послал Вам мысль призвать меня на пост министра». По определению своего сотрудника К. Д. Кафафова, он вообще «был министр-лирик, у него не было никаких резолюций, кроме «неужели», «когда же», «доколе это будет». Не обязанный Распутину своим назначением и мало соприкасавшийся с ним, Маклаков никогда о нем отрицательно не высказывался, что, вероятно, тоже нравилось царю.

14 октября 1913 года, накануне открытия думской сессии, Маклаков послал Николаю II в Ливадию письмо, предлагая сделать Думе «от имени всего правительства» строгое предупреждение и в случае протестов распустить ее, объявив в Петербурге «положение чрезвычайной охраны». Через четыре дня царь ответил министру, что «был приятно поражен» его письмом, «чрезвычайную охрану» находил нужным распространить и на Москву, главное же, почел «необходимым и благонамеренным обсудить в Совете министров мою давнишнюю мысль об изменении статьи учреждения Гос. Думы... Представление на выбор и утверждение государя мнений и большинства и меньшинства будет хорошим возвращением к прежнему спокойному течению законодательной деятельности, и притом в русском духе».

«У монарха было желание изменить такой порядок вещей», то есть лишить Думу права отклонять неудобные ей законопроекты и свести ее роль к подаче советов царю, показывал впоследствии Коковцов, но «Маклаков отлично знал, что такого рода повеления встретят с моей стороны отрицательное отношение и протест». Проекты указов на случай роспуска Думы были составлены в Совете министров в отсутствие бывшего в Париже Коковцова. Но и большинство присутствовавших министров высказалось против изменения Положения о Государственной Думе, считая, что этот шаг «повлечет за собой самые острые последствия». И царю, и Маклакову, и Мещерскому ясно было, что для достижения их цели необходимо изменить состав Совета министров, прежде всего заменить его председателя.

Распутин мог быть вовлечен в эту интригу и через царицу, которая нуждалась знать, «чего хочет Бог», — а поскольку Коковцов не жаловал Распутина, то «Бог хотел» смещения Коковцова и через Мещерского, который всегда «давал почет» Распутину и тем более теперь хотел привлечь его на свою сторону, и, наконец, через Витте. Отношения между царем, Распутиным и Витте тем более интересны, что прямо касались того, кто будет назначен на освобождаемые Коковцовым посты — Витте был поочередно и министром финансов, и председателем, а Распутин еще с 1911 года добивался его возвращения к власти, «повторяя царю, что его спасет Сергей». Правда, в 1906 году царь писал матери: «Никогда, пока я жив, не поручу я этому человеку самого маленького дела!» — но прошло уже семь лет, и мало ли от каких «непреклонных решений» приходилось отказываться. В 1912-1913 годах Николай II сделал по отношению к Витте по крайней мере два жеста благоволения: в июле 1912 года было выдано 200 000 рублей «для поправки дел» с тем, чтобы он не переходил на частную службу, а в апреле 1913-го он был награжден Св. Владимиром 1-й степени, вторым по значению российским орденом. Можно было истолковать это как желание царя во всяком случае иметь Витте «в резерве». По мнению Коковцова, тот и не рассчитывал сразу занять одно из его мест, но ожидал, что его преемники доведут государственное управление до такого состояния, что не останется ничего другого, как обратиться к Витте.

«Быстрый ход внутренней жизни и поразительный подъем экономических сил страны требуют принятия ряда решительных и серьезнейших мер, с чем может справиться только свежий человек», — писал царь Коковцову, сообщая об отставке. Как бы в насмешку на пост председателя Совета министров был назначен семидесятипятилетний И. Л. Горемыкин. Новый министр финансов Л. П. Барк более отвечал понятию «свежего человека» и был сторонником широких капиталовложений в народное хозяйство — с этой целью еще Столыпин намечал его на пост министра. В качестве первого шага Барк в 1911 году был назначен на пост товарища министра торговли и промышленности, променяв оклад в 150 000 в частном банке на казенные 13 000 в год. Также в конце прошлого века при переходе на государственную службу Витте 50 000 променял на 8 000, хотя Александр III и надбавил ему еще 8 000 из своих личных средств — настолько в России престиж государственной службы и власти выше престижа денег.

Витте считал Горемыкина слишком безынициативным, а Барка неопытным, чтобы они остались надолго. Весной 1914 года в немецких газетах появилось интервью с неназванным «великим русским государственным деятелем», сказавшим, в частности, что Витте вскоре призовут чистить авгиевы конюшни, а «сила и тайна» успеха Распутина в том, «что он не такой человек, как остальные». Интервью это усилило неприязнь царя к Витте и как будто вызвало временное охлаждение к Распутину. В письме царю от 17 мая 1914 года Витте поспешил оправдаться, отрицая свою причастность к этим газетным сообщениям и объясняя их «интригами» Мещерского — недавние союзники разошлись, едва свалив Коковцова. И это не удивительно, так как целью Мещерского было открыть дорогу не Витте, а законосовещательной Думе.

Если и мелькала у царя «византийская» мысль поручить кастрацию Думы ее создателю, то должен он был от нее отказаться как от нереалистичной. Не только как председатель, но и как министр финансов Витте доминировал бы в правительстве и не только не способствовал

бы планам царя, но поставил бы их под угрозу. Теперь же, при политически бесцветном Барке и послушном царю и враждебном Думе Горемыкине, царь надеялся, что ему удастся склонить своих министров к сведению палат до роли необязательных совещаний. 18 июня 1914 года он пригласил министров в Петергоф и сам поставил этот вопрос на рассмотрение — никто, кроме Н. А. Маклакова, его не поддержал, слишком рискованным казался новый государственный переворот. Поблагодарив всех, царь отпустил министров — чтобы вернуться к своей идее фикс зимой 1916-1917 годов — в последний раз.

Глава XVI

ВСТУПАЯ НА ПУТЬ ТЕРНИСТЫЙ...

Собрав своих министров решать судьбу Думы на третий день после убийства сербским террористом австрийского наследника, быть может, хотел Николай II сокрушить «внутреннего врага» накануне схватки с врагом внешним, ибо «престол-отечеству», как учили молодых солдат, наряду с «врагом унутренним — жидом, евреем и скубентом» все более угрожал и «враг унешний — немец, германец и австрияк».

Соперничество между Россией и поддерживаемой Германией Австрией на Балканах, между Англией и Германией на морях и между Францией и Германией из-за Эльзас-Лотарингии привело к созданию двух враждебных коалиций, и любой двусторонний конфликт мог перерасти в мировую войну, которую Европа не знала уже столетие. Людские и промышленные ресурсы, а также военные бюджеты Англии, России и Франции превышали австро-германские, их военный потенциал рос быстрее, и Германии с Австро-Венгрией не стоило слишком медлить, если они хотели выиграть войну. Коковцов из поездки в Берлин осенью 1913 года вынес «убеждение в близости и неотвратимости катастрофы». Царь, выслушав его, «долго всматривался в расстилавшуюся перед ним безбрежную морскую даль» и наконец, взглянув на Коковцова, сказал: «На все воля Божья!»

Теперь странно читать, с каким легкомысленным энтузиазмом шла Европа к войне, оказавшейся фатальной и для победителей, и для побежденных. Россию толкал на бой своего рода военно-дипломатический комплекс, поддерживаемый финансистами, промышленниками и землевладельцами. Противниками войны были, с одной стороны, социалисты и левые либералы, руководствуясь соображениями тяжести войны для народа и опасностью усиления самодержавия, а с другой, часть консерваторов, считавших, что Россия к войне не готова и что во всех случаях война между двумя оплотами монархизма — Россией и Германией — приведет к гибели «старого порядка».

Записка бывшего министра внутренних дел П. Н. Дурново, поданная царю в феврале 1914 года, по своему пророческому тону могла бы быть названа «Просуществует ли Российская империя до 1917 года?». По мнению Дурново, никаких особых политических или экономических выгод участие в англо-французской коалиции против Германии принести России не может, в то же время «в побежденной стране неминуемо разразится социальная революция, которая силой вещей перекинется в страну-победительницу... Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма... и всякое революционное движение неизбежно вырождается в социалистическое. За нашей оппозицией нет никого, у нее нет поддержки в народе, не видящем никакой разницы между правительственным чиновником и интеллигентом... Как бы ни распинались о народном доверии к ним члены наших законодательных учреждений, крестьянин скорее поверит безземельному казенному чиновнику, чем помещику-октябристу, заседающему в Думе;

рабочий с большим доверием отнесется к живущему на жалование фабричному инспектору, чем к фабриканту-законодателю, хотя бы тот исповедывал все принципы кадетской партии...».

Если военные действия будут развиваться для России неудачно, возможность чего «при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть... все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала черный передел, а затем и общий раздел всех ценностей и имуществ. Победенная армия, лишившаяся, к тому же, за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованною, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишённые действительно авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению». Теперь мы хорошо знаем, каков был исход этой анархии.

Так же смотрел на возможное развитие событий сначала противник Дурново в Совете министров, а затем союзник в Государственном Совете, граф Витте. Он долго рассчитывал на назначение послом в Берлин, чтобы приостановить русско-германское расхождение, но царь разбил эти надежды, как и надежды на пост министра. Витте проводил лето 1914 года на одном из германских курортов, с горечью наблюдая неудержимое движение России к войне. В разговоре с А. В. Осмоловским он сказал, "что есть один лишь человек, который мог бы помочь в данное время и распутать сложную политическую обстановку. На естественный вопрос Осмоловского, да кто же этот человек, граф Витте назвал, к его большому удивлению, Гр[игория] Е[фимовича] Р[аспутин]а. Осмоловский на это возразил, как может Распутин быть опытным дипломатом, он, человек совершенно неграмотный, ничего не читавший, как может он знать сложную политику и интересы России и взаимоотношения всех стран между собой. На это граф Витте ответил: «Вы не знаете, какого большого ума этот замечательный человек. Он лучше, нежели кто, знает Россию, ее дух, настроения и исторические стремления. Он знает все каким-то чутьем, но, к сожалению, он теперь удален».

15 (28) июня 1914 года Распутин, мрачный и озабоченный, вернулся из Покровского в Петербург. Дню этому было суждено войти в историю. Пока Распутин ехал к себе на извозчике по широким, но летом пустынным улицам Петербурга, на другом конце Европы, на узкой пыльной улице Сараево, к автомобилю австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда бросился член сербской террористической организации «Единение или смерть» Таврило Принцип и двумя выстрелами из револьвера убил эрцгерцога и его жену. Убийство австрийского наследника привлекло сначала внимание России, но через две недели было заслонено другой, гораздо более волнующей русские умы сенсацией.

В Петербурге Распутин был неспокоен, прежде чем выйти из дому, спрашивал: «Рожи, рожки невидны?» — 22 июня (5 июля), провожаемый группой поклонниц и репортеров, выехал с дочерьми в Покровское. «В пути, — пишет его старшая дочь Матрена, — мы познакомились с петербургским репортером, ехавшим в том же направлении. Это был молодой человек, скорее невысокий, с еврейским профилем, очень разговорчивый и остроумный». В Тобольске он сел с ними на пароход и здесь признался Матрене, что это он уже неоднократно звонил ей в Петербурге, прося о свидании. Теперь Давидсон был рад случаю, позволившему им встретиться, — и все это было приятно Матрене. Но она почувствовала тревогу, когда Давидсон сказал, что хочет провести несколько дней в Покровском, — «несмотря на мою невинность шестнадцатилетней девушки, мне показалось невероятным, что только ради меня он совершил столь долгое путешествие, и хотя он выглядел совершенно безобидно, я стала бояться, не вынашивает ли он какие-то планы относительно моего отца».

В толпе, встречавшей пароход, Давидсон затерялся. На следующее утро, в воскресенье 29 июня (12 июля) семья Распутиных отправилась к обеду — и здесь внимание детей обратила женщина в лохмотьях, со скрывающей нос повязкой. Дмитрий громко указал на нее и был резко оборван отцом. Вернувшись домой, Григорий Ефимович погонял жеребят на заднем дворе и вышел к ожидавшим его с полевыми цветами и просьбами женщинам. После обеда Матрена побежала к подруге и по дороге встретила почтальона с телеграммой отцу. Было три часа дня. Не прошло и пяти минут, как влетела ее кузина в слезах, а с улицы послышался нарастающий гул.

Получив телеграмму от царицы, Распутин помедлил, отвечать ли сразу, и пошел нагнать почтальона. У ворот та же безногая нищенка — действительно «рожа» — протянула руку за подаванием, но едва он остановился, как она выхваченным из-под лохмотьев солдатским тесаком ударила его в живот. Дмитрий выбил у нее тесак и с криком: «Тятеньку закололи!» — побежал за фельдшером. Почтальон и стоявшие поблизости мужики схватили убийцу. Истекавшего кровью Распутина внесли в дом. Со всех сторон бежали мужики с дрекольем и вилами, бабы голосили, возбужденная толпа тащила вырывавшуюся нищенку. «Пустите меня! Пустите меня! Я убила антихриста!» — кричала она. Потрясенная Матрена, минуя лужу крови, бросилась в дом и у дверей увидела Давидсона. «Прочь отсюда! — закричала она в слезах. — Это все из-за вас!»

Убийцей оказалась благословенная Труфановым-Илиодором Хиония Гусева, по одной версии сорока, по другой двадцати восьми лет. Она охотилась за Распутиным с марта: из Царицына выехала в Ялту, оттуда в Москву, затем в Петербург, где получила известие, что Распутин в Покровском, — и выжидала его там около двух недель, пока Распутин снова ездил в Петербург. Сама ли Гусева известила газетчиков о своих планах или это сделал Труфанов, но корреспондент «Петербургского курьера» Давидсон был осведомлен заранее, пытался в Петербурге познакомиться с дочерью Распутина и поехал в Покровское — не с тем, чтобы предотвратить преступление, но чтобы первым описать «сенсацию».

Давидсон начал публиковать статьи о Распутине в ряде петербургских газет и продолжал настойчиво звонить Матрене, так что Вырубова попросила Белецкого, назначенного в сентябре 1915 года товарищем министра по полиции, «положить конец преследованию». Белецкий вызвал Давидсона, связанного с Департаментом полиции, и предложил прекратить звонки и публикацию статей, выдав взамен 600 рублей «из секретного фонда».

Перед отправкой в тюрьму Гусева успела дать интервью, объяснив, что «убийством антихриста» хотела «положить конец злу и обману, который опутал Россию», что Распутин «живет с девушками... Мою близкую подругу Ксению растлил на моих глазах... Сгубил кроткого Илиодора...» Ксения, которую Распутин едва ли «растлил на глазах» не знавшей его Гусевой, как будто даже выехала из Жировицкого монастыря, от Гермогена, свидетельствовать в ее защиту. Гусевой было предъявлено обвинение в покушении на убийство с заранее обдуманном намерением, но психиатрической экспертизой она была признана невменяемой и помещена в больницу.

1 (14) июля в Покровское прибыли Тобольский епископ Варнава и хирург М. Владимиров из Тюмени. В приготовленные для перевозки носилки лег проверить их Дмитрий — и рухнул на землю. Срочно изготовили новые, и Распутина, провожаемого всем селом, понесли на пароход, многие в толпе плакали, на пристани епископ Варнава отслужил молебен. В Тюмени ожидала большая толпа, Распутина, окруженного семьей, несли в больницу, а впереди шел местный блаженный, священник-расстрига, и, тасуя карты, повторял: «Нет Григория... Нет Григория...» На другой день Владимиров сделал операцию брюшной полости — тесак Гусевой не задел жизненно важных органов, и сильный организм Распутина начал одолевать болезнь.

Покушение на Распутина вызвало волнение во дворце. Уже 30 июня (13 июля) царь писал

министру внутренних дел Маклакову: «Николай Алексеевич. Я узнал, что вчера в селе Покровском Тобольской губернии совершено покушение на весьма чтимого нами старца Григория Ефимовича Распутина, причем он ранен в живот женщиной. Опасаясь, что он является целью злостных намерений скверной кучки людей, поручаю вам иметь по этому делу неослабное наблюдение, а его охранять от повторения подобных покушений...»

Еще большее волнение вызвало покушение в «Новой Галилее» на Дону — «кроткий Илиодор», уже обвиненный в кощунстве, богохульстве, оскорблении его величества и образовании «преступного сообщества», решил, что промедление опасно. 2 (15) июля, переодетый в женское платье, он бежал из своего находящегося под наблюдением полиции дома, а 6 (19) июля — в день объявления Германией всеобщей мобилизации — перешел русско-шведскую границу «около г. Торнео, четырьмя километрами выше пограничной стражи». Три года назад служил он молебен у царицынского рабочего, и тот сказал, что видел его во сне, остриженного неровно, в поддевке и старых брюках, будто бы он за границей и ест «мертвую руку, свою руку». Сон сбывался.

Со всех сторон Распутину поступали телеграммы с запросами о здоровье. Князь Мещерский послал телеграмму сразу же 30 июня (13 июля) — он теперь нуждался в помощи Распутина, как никогда раньше, надвигалась гроза, которой он смертельно боялся. 10 (23) июля, дождавшись отъезда из Петербурга французского президента Пуанкаре, Австро-Венгрия предъявила сорокавосемичасовой ультиматум Сербии, требуя прекращения антиавстрийской пропаганды, увольнения офицеров по указанию австрийского правительства, расследования с австрийским участием заговора, жертвой которого пал Франц-Фердинанд. Принятие ультиматума означало подчинение Сербии Австрии и Германии и утрату русского влияния на Балканах, непринятие — войну, в которой Сербия была бы уничтожена, не вступись за нее Россия.

В тот же день больной Мещерский, который еще двадцать лет назад писал, что антигерманский союз сулит России разорение ради возвращения Франции Эльзаса и Лотарингии, поехал к царю умолять не вступать в войну: он, как и Дурново, не сомневался в ее исходе. Царь, всегда затруднявшийся отказать в прямой просьбе и сам не хотевший войны, дал ему честное слово, что войны не будет, — успокоенный Мещерский под проливным дождем вернулся домой и в тот же вечер умер. Судьба была милостива к старику: он не увидел ни войны, ни революции.

12(25) июля Сербия приняла все пункты австрийского ультиматума, кроме права австрийцев участвовать в следствии на сербской территории. Австрия ответила, что она не удовлетворена, и 15(28) июля объявила Сербии войну. На следующий день Николай II отдал приказ о мобилизации — но, все еще надеясь избежать войны, только четырех пограничных военных округов. Министр иностранных дел Сазонов, военный министр Сухомлинов и начальник Генерального штаба Янушкевич убедили царя, что частичная мобилизация затруднит неизбежное проведение всеобщей, и Николай II согласился на нее. Но вечером пришли две телеграммы: от Вильгельма II с предложением посредничества между Австрией и Россией при условии прекращения мобилизации и от Распутина: «Не шибко беспокойтесь о войне, время придет, надо ей накласть, а сейчас еще время не вышло, страдания увенчаются».

В 11 часов вечера Николай II отменил мобилизацию, а в 1 час ночи германский посол в Петербурге граф Пурталес телеграфировал в Берлин, что если Австрия исключит из ультиматума пункт, нарушающий сербский суверенитет, Россия прекратит военные приготовления. Утром 17(30) июля, не дождавшись немецкого ответа, Сазонов, Сухомлинов и Янушкевич по телефону, а затем Сазонов два часа в личной аудиенции убеждали царя, что война неизбежна, — несчастный царь, который никогда не мог отказать, глядя в глаза, снова дал согласие на общую мобилизацию. Сазонов тут же телефонировал Янушкевичу, который заранее обещал после этого сломать телефон, чтобы его не застиг новый приказ об отмене.

«Милой друг, — обращаясь к царю из тюменской больницы, выводил свои каракули Распутин. — Еще раз скажу: грозна туча над Рассеей, беда, горя много, темно и просвета нету, слес-то море и меры нет, а крови? Что скажу? Слов нету, неопикуемый ужас. Знаю, все от тебя войны хотят, и верные, не зная, что ради гибели. Тяжко Божье наказание: когда ум отымет, тут начало конца. Ты — царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Рассея? Подумать так не было от века горшей страдальницы, вся тонет в крови, велика погибель, бес конца печаль. Григорий».

К императрице вечером пришла Вырубова с рассказом, какие она "раздирающие сцены видела на улицах при проводах женами своих мужей. Императрица, — пишет Вырубова, — мне возразила, что мобилизация касается только губерний, прилегающих к Австрии. Когда я убеждала ее в противном, она раздраженно встала и пошла в кабинет государя... Я слышала, как они около получаса громко разговаривали; потом она пришла обратно, бросилась на кушетку и, обливаясь слезами, произнесла: «Все кончено, у нас война, и я ничего об этом не знала!» Но и Вильгельм II колебался, 17(30) июля объявив мобилизацию и в тот же день отменив ее. 18(31) июля он получил телеграмму Николая II: «Мы далеки от того, чтобы желать войны. Пока будут длиться переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не предпримут никаких вызывающих действий», — но еще до получения этой телеграммы Вильгельм II потребовал от Николая II приостановки военных приготовлений, а Австро-Венгрия объявила всеобщую мобилизацию. В полночь граф Пурталес передал русскому правительству двенадцатичасовой ультиматум: или отмена мобилизации, или война.

19 июля (1 августа) общая мобилизация была объявлена в Германии. Прикованный к постели Распутин послал из Тюмени телеграмму царю: «Верю, надеюсь на мирный покой, большое злодеяние затевают, не мы участники, знаю все наши страдания, очень трудно друг друга не видеть, окружающие в сердце тайно воспользовались, могли ли помочь». Но царю никто уже не мог помочь — тем более те, кто «тайно воспользовался» его нерешительностью, толкая его к войне. Теперь телеграмма Распутина только раздражила его, вспоминает Вырубова, «государь, уверенный в победоносном окончании войны, тогда разорвал телеграмму и с началом войны, как мне лично казалось, относился холоднее к Григорию Ефимовичу».

«Был бы я здесь, и уж не допустил бы кровопролития, — якобы говорил впоследствии Распутин. — А то тут без меня все дело смастерили всякие там Сазоновы да министры окаянные». Учитывая колебания государя, вполне возможно, что Распутин убедил бы его не слушаться Сазонова, Янушкевича и Сухомлинова и не объявлять мобилизацию, пока не будут использованы все средства решить конфликт миром. Царица придавала телеграммам Распутина такое исключительное значение, что своей рукой все их переписала.

19 июля (1 августа), в седьмом часу, германский посол граф Пурталес посетил Сазонова и трижды спросил его, согласна ли Россия отменить мобилизацию, — и трижды Сазонов отвечал: нет. Посол дрожащими руками передал ноту с объявлением войны и, отойдя к окну, схватился за голову и разрыдался. Было отчего плакать, рушился весь привычный и прочный старый порядок.

21 июля (3 августа) Германия объявила войну Франции, в ночь на 23 июля (5 августа) Англия объявила войну Германии, 24 июля (6 августа) Австро-Венгрия объявила войну России. В больничной постели Распутин нацарапал своим корявым почерком на только что сделанной с него фотографии: «Что завтра? Ты наш руководитель, Боже. Сколько в жизни путей тернистых».

Вступая на очень тернистый путь, Россия тем не менее была охвачена эйфорией, как бы оправдав надежды царя на пробуждение монархических и националистических чувств. Казалось, наступил решающий час в тысячелетней борьбе славян с германцами. 20 июля (2 августа) сотни тысяч манифестантов заполнили улицы Петербурга, после молебна государь и

государыня вышли на балкон Зимнего дворца, под громовое «ура» толпа опустилась на колени — от волнения царь не мог говорить: вот наконец сбылась мечта о единстве царя и его доброго народа.

26 июля (7 августа) Государственная Дума и Государственный Совет в однодневном заседании вотировали военные ассигнования — только маленькая большевистская фракция выступила с антивоенной декларацией. В тот же день в Николаевском зале Зимнего дворца государь принял членов обеих палат — как не похож был этот прием на первый, в 1906 году. «Тот огромный подъем патриотических чувств, любви к родине и преданности к престолу, который, как ураган, пронесся по всей земле нашей, служит в моих глазах — и, думаю, в ваших — ручательством в том, что наша великая матушка Россия доведет ниспосланную Богом войну до желаемого конца», — говорил Николай II и кончил словами уверенности, «что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Велик Бог земли русской!».

Те же чувства увлекали и культурную элиту русского общества. Война, по мысли Сергея Булгакова, должна была привести к «возрождению религиозно-трагического восприятия мира» и созданию «универсальной теократии», «тысячелетнего царства святых на земле». Евгений Трубецкой мотивировал необходимость завоевания Константинополя с храмом Св. Софии тем, что «в образе Софии наше религиозное благочестие видит... грядущий мир, каким он должен быть увековечен в Боге». Один из представителей этого «религиозного благочестия» архиепископ Волынский Антоний спокойнее смотрел на это, считая, что Константинополь «русским все равно не отдадут англичане — да и лучше, чтобы не отдавали, ибо что хорошего обращать Св. град тот во второй Петербург».

Глава XVII

СОЮЗЫ ХОРОШИ, ПОКА ВОЙНЫ НЕТ

Если даже левые выступили за войну, трудно было ждать открытой оппозиции справа. Мещерский умер, полуослепший Дурново затих, Распутин, вернувшись в Петербург 29 августа, говорил осторожно, что раз уж война началась, надо воевать. Однако был человек, который буквально на каждом углу громко повторял, что война — страшная глупость и ее необходимо как можно скорее кончать миром.

В начале сентября, почти в одно время с Распутиным, граф Витте — через Францию, Италию и Турцию — вернулся в Россию, сопровождаемый негласным надзором русской политической полиции. «Я бы уцепился за штаны кайзера, но войны не допустил!» — сказал он своему бывшему секретарю Колышко, сожалея, что не был назначен послом в Берлин. Барку он говорил, что единственное спасение — это, «воспользовавшись нынешними кратковременными успехами, заключить мир с Германией и Австро-Венгрией... хотя бы на нашем фронте». Не оставлял он прямого языка и со своими противниками.

«Эта война — сумасшествие, — говорил он французскому послу Морису Палеологу. — Осторожность царя превозмогли глупые и близорукие политики. Война может иметь лишь ужасные результаты для России. Только Англия и Франция могут надеяться получить какие-то выгоды от победы... Наш престиж на Балканах, наш благочестивый долг защищать наших братьев, наша историческая священная миссия на Востоке?!... Предоставим сербов наказанию, которое они заслужили... Что мы надеемся получить? Увеличение территории? Боже! Разве империя его величества уже не достаточно велика?... Мало того, если мы аннексируем прусскую и австрийскую части Польши, мы потеряем всю русскую... Как только Польша восстановит свое единство... она потребует и получит полную независимость. Константинополь, крест на Святой Софии, Босфор, Дарданеллы? Смешно даже говорить об

этом! И даже если мы представим себе полную победу... это значит не только конец германского доминирования, но провозглашение республик в Центральной Европе. Это значит одновременно конец царизма! Я уж предпочитаю не говорить о том, что с нами случится в случае поражения!»

Палеолог сказал Сазонову, что царь должен остановить Витте. Сазонов предложил Палеологу самому поговорить об этом с царем, но тот не решился. Английский посол Джордж Бьюкенен в конце декабря произнес речь с нападками на неназванных «германофилов», но когда Витте послал к нему одного из журналистов с вопросом, его ли он имеет в виду, Бьюкенен уклонился от прямого ответа.

Витте не только говорил. С ноября 1914 года он через Стокгольм находился в переписке с Робертом Мендельсоном-Бартольди, главой немецкого банка «Мендельсон и К°», который уже более ста лет обслуживал русские интересы и куда Витте депонировал полученные от царя в 1912 году двести тысяч. С началом войны вклад был заморожен, и теперь Витте сообщил, что «принято решение» просить его быть членом русской делегации на мирной конференции после войны, и потому он хотел бы «прояснить» отношения с банком — он просил о переводе денег в Швейцарию, Данию или Швецию на имя его жены; Мендельсон отвечал, что лучше сделать перевод на какое-либо доверенное лицо из нейтральной страны.

Этой перепиской Витте воспользовался указать, что виновники войны «за морем» и если бы он был у власти, то не допустил бы Россию до войны, теперь же лучший путь к достижению мира — с гарантиями для России, Франции и Германии — это прямые переговоры между двумя императорами, которые могут быть начаты по семейным каналам, притом как можно скорее. Мендельсон переписывался с Витте с ведома германского министра иностранных дел фон Ягова, этот совет дошел до него — и, как увидим дальше, был принят. Но самому Витте не пришлось ни принять участие в переговорах, ни получить назад свои деньги — 28 февраля (13 марта) 1915 года он скончался.

«Моя возлюбленная душка, — писал в тот же день добрый русский царь своей жене, — хотя мне, разумеется, очень грустно покидать тебя и дорогих детей, но на этот раз я уезжаю с таким спокойствием в душе, что даже сам удивляюсь. От того ли это происходит, что я беседовал с нашим Другом вчера вечером, или же... от смерти Витте, а может быть от чувства, что на войне случился что-то хорошее — я не могу сказать, но в сердце моем царит истинно пасхальный мир».

Не знаю, был ли «пасхальный мир» в душе царя из-за смерти единственного государственного деятеля, кто еще мог спасти его и страну, нарушен «загробным молением»: «...Эти строки дойдут до Вас, государь, когда я буду на том свете. Припадаю к стопам Вашим с загробным молением. Как бы ни судили современники о настоящем, беспристрастная история внесет в свои скрижали великие дела Ваши на пользу Богом вверенного Вашему величеству народа. В Ваше царствование Россия получила прочную денежную систему, в Ваше царствование расцвела отечественная промышленность и железнодорожное строительство, в Ваше царствование с народа сняты многие тяготы — уничтожены выкупные платежи и круговая порука и проч. и проч. Но что русский народ не забудет, куда будет жить — это то, что император Николай II призвал народ свой к совместным законодательным трудам». Историк, пишет он далее, «возвеличивая Ваши деяния», упомянул и об одном из сотрудников — Витте, и теперь Витте просит передать дарованный ему графский титул его внуку Льву Нарышкину, любимому им, «как только дед может любить своего внука».

Этот честолюбивый человек не мог пересилить своего "я" — он называет все главное, что не царь, а он, Витте, сделал для России, даже введение законодательных палат, уничтожения которых царь хотел всей душой. Может быть, Витте понимал, что это худшее вступление для просьбы, — но горбатого не исправила и могила. Николай II, более озабоченный поисками мемуаров Витте, чем судьбой его внука, в посмертной просьбе отказал. Впрочем, едва ли это

было так важно, уже через два года графский титул в России быстрое значение утратил.

Витте был последним крупным государственным деятелем старой России — к несчастью, политический великан оказался в руках политического карлика. По-видимому, два чувства боролись в душе Витте. С одной стороны, он думал, что при конституционном и республиканском строе человек его энергии и дарований не зависел бы от капризной воли ничтожного человека, каким он почитал Николая II. С другой, видел, что монархический принцип — это единственное, что еще держит Россию, и «раз не будет Николая II при всех его плачевных недостатках, монархия в России может быть поколеблена в самой своей основе».

При жизни Витте никого не оставил равнодушным — заставляя любить его или ненавидеть или ненавидеть и любить попеременно, — но и после смерти мы не имеем еще его беспристрастной оценки. Можно указать на многие его политические ошибки и на такие поступки, которые мягко называются некорректными. Но человек великий отличается от малого не тем, что у него нет слабостей, а тем, что у него есть ум, воля и креативный инстинкт, которых нет у других. Витте оставил после себя воспоминания — полные желчи, юмора, понимания хода истории и ощущения надвигающегося конца, — мне, еще мальчику, дал их прочесть мой отец, и каждый раз с новым удовольствием я перечитываю их вот уже скоро тридцать лет.

Распутин, разговор с которым успокоил царя за день до смерти Витте, едва ли отнесся к этой смерти, как его державный друг. Он терял своего единственного союзника среди государственных деятелей, причем в то время, когда роль самого Распутина начала неудержимо возрастать. Ему оставались случайные союзы со случайными людьми, которые сходились с ним, чтобы добиться власти, а затем хотели избавиться от него, не умея или не желая стать проводниками политических взглядов Распутина.

«Едва ли что-то нужно говорить о политических взглядах Распутина по той простой причине, что их у него не было, — пишет английский историк Михаил Флоринский. — Безграмотный и безнравственный мужик, он был неспособен обсуждать общие вопросы». «Распутин вследствие своей феноменальной необразованности никакой политики не делал и не мог делать», — повторяет советский историк Е. Д. Черменский.

Как человеку без формального образования, мне трудно согласиться с такой высокомерной профессорской оценкой. История знает немало примеров, когда необразованный или полуобразованный человек из низов общества поднимался на верхушку власти — начиная от византийских императоров из солдат и кончая Никитой Хрущевым, над безграмотными речами которого все смеялись, но который в первые годы своего правления сумел вывести страну из опасного кризиса.

Природный ум и практический опыт часто позволяют составить правильное представление о многих сложных вещах, и мне порой приходилось слышать более здравые суждения от малограмотных мужиков, чем от высокообразованных профессоров. В сущности каждый политик «самоучка», порой необходимо как можно более упрощенно интуитивно схватывать сущность проблемы — чем в более сложные детали входить, тем труднее будет принять решение.

Распутин получил широту взгляда, пройдя через все слои русского общества от деклассированного «дна» до верхушки аристократии. Его знание страны было полнее, чем у крестьянина, не видевшего ничего, кроме своей деревни, или у офицера, знающего только жизнь своего полка, у купца, фабриканта, помещика, чиновника, преимущественно вращающихся в среде себе подобных и живущих ее представлениями.

Ум Распутина отмечали почти все, кто так или иначе сталкивался с ним, — как друзья, так и

враги. О его «недюжинном пытливом уме» пишет Родзянко. Коковцов отмечает, что на вопросы о крестьянской жизни Распутин отвечал «просто, толково и умно». Он «говорил умно и хитро», вспоминает Мосолов. Курлов «был поражен его природным умом и практическим умением разбираться в текущих вопросах, даже государственного характера». «Он понимал и учитывал все людские слабости, на которых мог играть, — вспоминал Белецкий. — Это был очень умный человек». «Он был очень умный. Он был великий комедиант», — говорил о Распутине Манасевич-Мануйлов. «Ум у него был пронизательный, — отмечает Протопопов, — совсем только необразованный, и в обществе людей малознакомых он держал себя будто ненормальный человек. При знакомых же это у него не проявлялось».

Первые годы знакомства политические советы Распутина царю — если он не проводил чью-то чужую мысль — сводились к тому, что нужно слушать сердца, а не разума. Однако его вовлекали в политику, притом трояко: те, кто нападал на него, вынуждая обороняться, те, кто через него пытался оказать влияние на царя для проведения своих планов, и наконец — хотя и не в последнюю очередь — сами царь и царица, желавшие, чтобы он «посмотрел душу» того или иного сановника.

Он играл сначала роль «подводного камня», о который церковные, придворные и бюрократические «корабли» разбивались, только если направляли свой ход на него. Сам Распутин не хотел ссориться ни с кем, и даже в годы его наивысшего влияния если тот или иной сановник избегал с ним контактов, но и не пытался настроить царя против него, то мог чувствовать себя спокойно. Однако, иногда по соображениям самозащиты, иногда желая угодить царю или царице, иногда следуя своим политическим оценкам, Распутин постепенно начинал все более и более влиять на ход событий: «подводный камень» превращался в «подводную лодку».

Политические шаги Распутина, чаще всего сводясь к проталкиванию «верных людей», тем не менее опирались на определенные взгляды. Распутин не приводил да и не мог привести их в законченную систему, мало заботясь о противоречиях, они претерпевали постоянные изменения, часто оставались на уровне инстинктов без последующей рационализации, наконец, их приходится собирать, как лоскутное одеяло, по кусочкам, отрывкам, иногда не имея в руках важных кусков, — тем не менее общую картину представить можно.

Формула «царь и народ» была основой политического исповедания Распутина, и она сближала его как с царицей, так и с ненавидимым ею Витте. Царица понимала ее прежде всего как «народ для царя», Витте как «царь для народа», это был и взгляд Распутина. Идея самодержавной монархии была близка русскому крестьянину, в гигантских масштабах как бы повторяя идею большой крестьянской семьи во главе с пользующимся абсолютной властью «большаком». Власть большака, отца семьи, держалась не только на старшинстве и опыте, но и на известных нравственных основаниях — должен он был быть «справедлив» ко всем членам семьи, не выделяя одного в ущерб другим.

Несправедливо выделенным сыном батюшки-царя крестьяне считали дворянство. Формула, что дворяне несут государственную службу, а за это получают землю и крестьянский труд, не отвечала действительности уже с середины XVIII века, а формула, что земля и крестьянский труд вознаграждают помещика за отеческую опеку над крестьянами, — с середины XIX века. Дворянские привилегии, оберегаемые окруженным дворянами царем в ущерб другим классам, стали анахронизмом, и это явно противоречило роли монарха как арбитра между сословиями.

«Боже, сохрани Россию от престола, опирающегося не на весь народ, а на отдельные сословия», — писал Витте Николаю II в 1898 году. По его мнению, большинство "дворян в смысле государственном представляет кучку дегенератов, которые, кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей, ничего не признают, а потому и направляют все свои усилия относительно получения тех или иных милостей за счет народных денег...

Трудно ожидать, что весь народ за царя, когда государь управляет посредством «дворцовой дворянской камарильи».

Под этими сентенциями Распутин подписался бы обеими своими корявыми "руками и даже ногами. «Псы их сахар грызут, а у меня и чаю на заварку нет», — писал он о «господах», вспоминая свои странствия по России. «Он ругал и издевался над дворянством, — вспоминает Симанович, — называл их собаками и утверждал, что в жилах любого дворянина не течет ни капли русской крови». «Как тресну мужицким кулаком — всё сразу и притихнет, — говорил Распутин князю Юсупову. — С вашей братьей, аристократами (он особенно как-то произносил это слово), только так и можно. Завидуют мне больно, что в смазных сапогах по царским-то хоромам разгуливаю... Поперек горла им стою... Зато народ меня уважает, что в мужицком кафтане да в смазных сапогах у самого царя да царицы советником сделался».

«Он из народа вышел, знал народ, любил его и радел о мужике, простом и забитом», — говорил Иван Чуриков. Распутин разделял крестьянский взгляд, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. Как будто одоблив сначала столыпинскую реформу, дающую большую инициативу крестьянам, впоследствии он относился к ней отрицательно — как к попытке сохранить дворянское землевладение. Он был недоволен тем, что Дума не смогла и не сумела решить земельный вопрос в интересах крестьян, и накануне революции поддержал проект принудительного отчуждения помещичьих земель.

Вместе с тем Распутин не был сторонником насильственного устранения аристократии или других классов общества кроме крестьян — он был за «классовый мир». «Одна сторона уступит и другая — вот и умиротворится народ... Силой нельзя. Честью надо просить», — говорил он. Распутин, вспоминая Сенин, «охарактеризовал несколько высокопоставленных особ, которые добра народу желают, но не знают, как это сделать. — Знаю я и забастовщиков, — продолжал Распутин, — хорошие есть люди и самого настоящего добра народу желают, хотят устроить жизнь так, что и лучше не надо, да разве возможно это?» Возможно и нужно самим перестраивать жизнь на более человеческих основаниях — «грамота нужна, свету мало, водка одолела», — говорил о «мужике» Распутин.

Он был демократом не в смысле социального и имущественного уравнивания, но признания ценности каждой человеческой личности и ее права на независимое существование — все равны перед Богом и царем. Поэтому Распутин так выходил из себя, если к нему относились с пренебрежением как к «мужику». Труфанов описывает, как Распутин отказался пить чай у купчихи, которая епископу поставила рукомойник в комнату, а ему ткнула пальцем на кухню, или как он вышел из себя, когда с ним отказался разговаривать член Думы — о чем-де с мужиком разговаривать, «вот с иеромонахом поговорить, с образованным человеком, это дело вероятное». Или как пришел он «мужик мужиком» в скит к старцу, а тот его отталкивает, «да все чистых, да видных, да богатых подзывает». Распутин одолжил шубу и цепочку золотую у знакомого купца и явился назавтра, старец увидел его и замахал рукою: «А пойдешь сюда, пойдешь сюда, дружок» — и провел Распутина в келью. "Здесь я ему и говорю: «Старец, я тебя обманул»... «А-а, — протянул старец, — какой ты, Григорий, озорник. Да ведь сам знаешь, что со всеми людьми одинаково обращаться не гоже. К богатым так, а к бедным так». Вот этого-то у Распутина не было — со всеми он хотел быть одинаков.

Будучи сторонником сильной самодержавной власти, способный защитить «слабых» от «сильных», Распутин не был противником совещания царя с народом, учета царем народной воли. Он и себя рассматривал как такого советника — «ведь мужичок перед царем врать не будет». Между двумя революциями на поверхности политической жизни острым и постоянным был конфликт между царем и Думой, и общественным мнением Распутин заносился в ее враги. Курлов, однако, называет его «поклонником дальнейшего существования Думы», а Смиттен более осторожно, но все же замечает, что Распутин «не был противником Государственной Думы или, вернее, был противником ее лишь постольку, поскольку в ней раздавались нападки против него».

Отчасти это верно, отношение к нему всегда было важно для Распутина, а у Думы он был «мальчиком для битья» — как только там хотели уязвить царя, вытаскивали имя Распутина. Но другой причиной недоверия Распутина к Думе было то, что, по его мнению, она выражала только интересы привилегированных классов. «Какие это представители народа?!» — с насмешкой говорил он. Выборы в Думу были многостепенны, голос одного помещика приравнивался, грубо говоря, к четыремстам голосам представителей низших классов, при этом никакой легальной крестьянской партии не существовало, и «крестьянская группа» раскололась между крайне левыми и крайне правыми.

Чтобы поставить под контроль правительство, Дума должна была бы расширить свою избирательную базу — не знаю, удалось ли бы этого достичь в мирное время, но в обстановке войны и нарастающей революции конфликт Думы с правительством превращал ее в невольный катализатор процесса, справиться с которым она затем не смогла. Распутин хорошо знал настроения крестьянства и видел, насколько они не отвечают тому, что происходит в Думе, он понимал, что «народное представительство», в котором более 50% депутатов представляют менее 0,5% населения, есть часть сложившегося строя, которая рухнет вместе с ним, и речь пойдет не об «ответственном министерстве» или о «Константинополе и проливах», а о «хлебе, земле и мире». Народная вера в царя представлялась Распутину более стабильным фактором, чем надежды на Думу, — конечно, если царь сумеет прекратить войну, накормить города и дать землю демобилизованным солдатам.

Он своим мужицким инстинктом понимал, что России нужна самодержавная или какая угодно — но сильная власть, способная многое переделать по-новому, в частности покончить с земельной аристократией, тогда как была слабая власть, желавшая все сохранить по-старому. Видя шаткость положения царя, он не советовал ему ссориться с Думой. «Все равно, что права, что лева, папаша ничего не понимает», — говорил он, сознавая, что слабое место самодержавия — сам Николай II.

Распутину трудно было дать определенную дефиницию «правого» или «левого». Приблизительно до 1912 года он был под влиянием «правых», но после разрыва с Гермогеном и Илиодором стал осторожнее. Он с ужасом начинал видеть, что среди тех, кто громче всего кричал о своей преданности царю, нет людей с государственным мышлением. «Все правые дураки», — рассудил он и свою последнюю — и самую несчастную — ставку сделал «между правыми и левыми».

Взгляд Распутина на национальную и религиозную проблемы был очень широк — здесь он стоял впереди многих своих современников. Он был православным и любил православные обряды, но не считал, что православная церковь — единственная хранительница истины, и уж тем более не думал, что нужно принуждением заставлять людей верить так, а не иначе, разным людям и разным народам единый Бог открывает себя по-разному. Он всегда старался заступиться за гонимых за веру, если даже сам их веры не разделял, — за сектантов, мусульман, иудеев.

Если проследить за его влиянием при назначении иерархов церкви, то — помимо желаний продвигать «своих людей» — можно видеть определенную тенденцию. Он способствовал назначению епископа Варнавы на Тобольскую кафедру, потому что этот приятель и духовник Витте, необразованный, но честолюбивый и яркий проповедник, был таким же, как и он, человеком из народа. Епископ Алексей, назначенный экзархом Грузии по ходатайству Распутина, не только оказал ему услугу, прекратив в бытность свою на Тобольской кафедре в 1912-1913 годах дело духовной консистории о «хлыстовстве» Распутина и сменив доносивших на него священников в Покровском, но был известен веротерпимостью и решительностью. Так, он однажды публично посоветовал царю «не пятиться назад и не топтаться на одном месте». Питирим, проведенный Распутиным в 1914 году в Петроградские митрополиты, отличался не только веротерпимостью, но и редким среди епископов

либерализмом, стремился к самоуправлению приходов, обеспечению белого духовенства и хотел сотрудничества царя с Думой. Содействовал назначению в 1912 году на Московскую митрополичью кафедру епископа Макария из Томска, Распутин продвинул «человека из народа», к тому же провалил кандидатуру крайнего консерватора Волынского архиепископа Антония. На всех этих епископов клалась кличка «распутинцев», находили у них много моральных изъянов — полагаю, что изъянов хватало и у тех, кто был назначен без помощи Распутина, «нет святых на земле».

Так же широко — в век разгула национализма — смотрел Распутин на национальность. Он радовался тому, что он русский, но не видел никакого ущерба для человека, если тот турок или еврей. «Турки куда религиознее, вежливее и спокойнее» греков и славян, говорил он. Он считал, что вечен Бог, но отдельные народы — в том числе и русский — появляются и исчезают, выполнив свою миссию, поэтому важно общение между народами. На жалобу, что «русские вообще не могут обойтись без иностранцев», Распутин отвечал: «Беды в этом большой нет. Разве в этом их (русских) сила? Все равно от них ничего не останется. Как-нибудь потом вспомнят, что были, а их уже и не будет. А что иностранцы идут к нам — это хорошо, потому что русский народ хороший — дух в нем выше всего. Самый плохой человек у нас, а лучше духом, чем иностранец. У них машина. Вот они чувствуют это и сами идут к нам за духом. Одной машиной не проживешь...»

Распутин защищал малые народы империи от национальных преследований. Так, в 1914 году он добился смещения таврического губернатора Н. Н. Лавриновского, преследовавшего крымских татар. Долгое время он, под влиянием своих «правых» друзей, повторял фразы о «люцинерах и жидах» и еще в 1911 году в своей брошюрке «Ангельский привет» советовал повсюду основывать кружки Союза русского народа, тогда «евреи и не подумают просить равноправия», но уже ранее засомневался, что евреи виновники всех русских бед. «Был я нынче осенью в Смоленской губернии у евреев, — рассказывал он в 1907 году. — И беднота же, Господи! Одной селедочкой да кусочком хлеба целый день сыты, а я думал, что все они богатые, пока сам не увидел».

Со времени разрыва с Гермогеном и Илиодором, возможно под влиянием Витте, Распутин становится сторонником еврейского равноправия. Уже в начале 1914 года В. М. Пуришкевич, один из основателей Союза русского народа, обрушился на него за помощь еврейской бедноте в Сибири и ходатайство о допущении еврейских купцов на Нижегородскую ярмарку. В том же году встречался он с известным еврейским деятелем адвокатом Г. Б. Слиозбергом, а царю советовал даровать равноправие евреям сразу же после манифеста 1 (14) августа 1914 года о будущей автономии Польши. «Все просят меня евреи свободу дать... — говорил он князю Юсупову в 1916 году. — Чего ж, думаю, не дать? Такие же люди, как и мы — Божья тварь».

С национально-религиозным экуменизмом, с идеей, что все люди братья и дети одного Бога, был связан и пацифизм Распутина. Он был против всякого убийства вообще, в том числе и на войне. «Нехорошее дело война, — говорил он в 1913 году, — а христиане, вместо покорности, прямо к ней идут... Вообще воевать не стоит, лишать жизни друг друга и отнимать блага жизни, нарушать завет Христа и преждевременно убивать собственную душу. На что мне, если я тебя разобью, покорю; ведь я должен после этого стеречь тебя и бояться, а ты все равно будешь против меня. Это если от меча. Христовой же любовью я тебя всегда возьму и ничего не боюсь».

Во время другого интервью Распутин говорил: «Была война там, на Балканах этих. Ну и стали тут писатели, в газетах этих, значит, кричать: быть войне, быть войне!... И нам, значит, воевать надо... И призывали к войне, и разжигали огонь. Да... А вот я спросил бы их... Господа! Ну для чего вы это делаете? Ну, нешто это хорошо?... Надо укрощать страсти, будь то раздор какой, аль целая война, а не разжигать злобу и вражду».

Две войны на Балканах в 1912-1913 годах вызвали большое возбуждение в России, и Николая II толкали выступить против извечного врага славянства — Турции, что привело бы к мировой войне. О «братьях-славянах» Распутин отозвался вполне в духе Витте: «А Бог, ты думаешь, это не видит и не знает? А может быть, славяне не правы, а может быть, им дано испытание?» — и предостерег, что в трудной ситуации Россия могла бы оказаться одна: «Что касается разных там союзов, то ведь союзы хороши, пока войны нет, а коль разгорелось бы, где бы они были? Еще неизвестно...» Это замечание не лишено смысла, если учесть, что даже после объявления Германией войны России в Берлин поступили сведения — впоследствии опровергаемые, — что Франция первая на Германию не нападет, Вильгельм II сказал при этом: «Итак, мы просто со всей армией двигаемся на восток!»

Говоря дальше о Балканских войнах, Распутин добавил, что «тому и тем, кто совершил так, что мы, русские, войны избегли, тому, кто доспел в этом, надо памятник поставить, истинный памятник, говорю... И политику мирную, против войны, надо счесть высокой и мудрой». «Доспел» в этом в первую очередь сам Распутин. «Когда великий князь Николай Николаевич и его супруга старались склонить государя принять участие в Балканской войне, — вспоминает Вырубова, — Распутин чуть ли не на коленях перед государем умолял его этого не делать, говоря, что враги России только и ждут того, чтобы Россия ввязалась в эту войну, и что Россию постигнет неминуемое несчастье». Так же Распутин уговаривал царя не ввязываться в войну из-за аннексии Австрией Боснии и Герцеговины в 1908 году.

Если Распутин смог удержать Россию от вступления в войну в 1912 году, то он отсрочил мировой пожар на два года — не сумел он оказать влияния на Николая II летом 1914 года или потому, что из-за ранения был далеко от него, или потому, что уже никто не в силах был остановить ход событий, судить не берусь. Войну 1914 года Распутин не только ненавидел как братоубийственную бойню, но и считал, в полном согласии с Мещерским, Дурново и Витте, что она приведет к крушению царского режима. Он, вспоминает Вырубова, «часто говорил их величествам, что с войной все будет кончено для России и для них». Единственным спасением был выход из войны, хотя бы ценой сепаратного мира — в общем, «что касается разных там союзов, то ведь союзы хороши, пока войны нет». Пусть себе воюют другие народы, «это их несчастье и ослепление. Они ничего не найдут и только себя скорее прикончат. А мы любовно и тихо, смотря в самого себя, опять выше всех станем».

Глава XVIII

ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ...

В 1905-1908 годы, наезжая в Петербург, Распутин обычно останавливался в Александро-Невской лавре, у епископов Сергия и Феофана, в 1909-1912 годы — чаще всего у О. В. Лохтиной, Г. П. Сазонова или П. С. Даманского, а с конца 1912 года снимал квартиру в Петербурге. В мае 1914 года он поселился в пятикомнатной, с окнами во двор, квартире во флигеле дома № 64 на Гороховой, выбрав это место, очевидно, из-за близости к Царскосельскому вокзалу. Правда, с весны 1916 года, по просьбе царицы, Распутин стал ездить в Царское Село не на поезде, а на автомобиле, чтобы привлечь меньше внимания.

С конца 1912 года, по распоряжению министра внутренних дел А. А. Макарова, Петербургским охранным отделением было установлено наблюдение за квартирами Распутина — сначала тайно, а со времени поселения на Гороховой явно, под видом «охраны». С начала 1916 года, кроме агентов охранного отделения, дежурили также агенты дворцовой охраны.

По описаниям соседа Распутина, «дежурят четыре агента, трое из них на парадной лестнице

дома, а один у ворот. При этом постоянно дежурит швейцариха в подъезде, дворник и другой швейцар у ворот. В подъезде агенты все время играют в карты от безделья. Иногда поднимаются на второй этаж, где и сидит один, а иногда один из них поднимается на третий этаж, где поставлена скамейка у самой двери квартиры». Агенты сопровождали Распутина также во время его поездок, в том числе и в Покровское, где один дежурил постоянно. Иногда кого-нибудь из них приглашал Распутин «чай пить», а кроме того, было организовано, говоря полицейским языком, «внутреннее освещение», то есть завербованы осведомители среди постоянных посетителей Распутина и среди дворцовой прислуги.

Как заявил впоследствии жандармский генерал Комиссаров, они «не могли играть втемную при неожиданном появлении на политическом и придворном горизонте такого, на первый взгляд, таинственного и загадочного козыря, каким всплыл Распутин. Его надо было расшифровать начисто». «Начисто» эти господа не расшифровали Распутина: деньги, кутежи, женщины, политические интриги — все это живо схватывал полицейский ум, но не то «высокое», что было, кроме того, в Распутине, потому-то и осталось для них загадкой, чем же этот мужик взял при дворе.

Осенью 1914 года Распутин чувствовал себя подавленным общим шовинистическим настроением в Петербурге, спешно переименованном в Петроград, и в начале ноября снова уехал в Покровское. Он успел повидаться с царем и царицею, а из Покровского регулярно писал им. Царице, начавшей работать сестрой в Царскосельском госпитале, он телеграфировал: «Ублажишь раненых — Бог имя твое прославит за ласкоту и подвиг твой», — а объезжавшему войска царю, по его словам, послал «высоко-утешительную» телеграмму.

Распутин вернулся в Петроград 15 декабря, и с зимы 1914-1915 года в его жизни происходит резкая перемена: он начал пить. Усилием воли более двадцати лет подавляемая страсть, развернувшись, приобрела черты безудержного разгула, не такой был человек, чтобы держаться золотой середины. Ненавидимая им война, едва не стоившее ему жизни покушение, непрекращающаяся травля напрягали его расшатанные нервы, и требовалось «минутное забвенье горьких мук». Впрочем, весь Петербург, все, кто сколько-нибудь был с деньгами, прямо кинулись в непрерывный кутеж, словно и вправду чувствуя приближение конца. Как же Распутину, впитывавшему все скрытые токи страны и столицы, было не удариться напропалую в последний разгул. «Скучно, затравили, чую беду», — говорил он.

Вовлекли Распутина в пьянство дельцы, желавшие получить через него военные подряды, ведь без выпивки никакое дело в России не делается: сначала надо «оживить» разговор, затем «обмыть» сделку, затем «угостить» в связи с ее благополучным завершением. Если домашние Распутина и пытались удержать его от пьянства, то, с другой стороны, они сами получали куши от дельцов и были заинтересованы, чтобы Распутин имел сношения с ними.

Может быть, могла бы как-то сдержать Распутина Вырубова — но 2 января 1915 года она попала в железнодорожную катастрофу. «Она умирает, ее не стоит трогать!» — сказал врач, когда ее с перебитыми ногами и спиной извлекли из-под обломков вагона. Вырубову причастили, царица позвонила Распутину — тот никак не мог найти машину, пока ему не предложил свою граф Витте. Стоя у постели умирающей, Распутин с напряжением, так что пот тек по лицу, повторял: «Аннушка, Аннушка...» — пока Вырубова не открыла глаза. «Жить будет, но останется калекой», — сказал обессиленный Распутин. «И я осталась жить», — вспоминает Вырубова — полгода лежа на спине, затем в инвалидной коляске, затем на костылях.

Вырубова была простой и смешливой девушкой, большой радостью и испытанием для которой стала ее дружба с императрицей. С точки зрения «большого света», та не должна была дарить своей дружбой особу со столь скромным придворным положением — уже это вызвало раздражение против них обеих, начались разговоры о ненормальности их

отношений. Несчастный брак усилил религиозность Вырубовой, не удивительно, что почитаемый царицей и понимавший женщин Распутин произвел на нее огромное впечатление. Она стала не только связным его с царской семьей, не только «фонографом слов и внушений» Распутина, но и его другом. Их дружба еще более усилилась весной 1914 года, когда царица временно охладела к Вырубовой, и зимой 1915 года, после катастрофы.

Молва не щадила ее имя, называли ее — несмотря на девственность — любовницей и царя, и Распутина, «мессалиной» — этих упреков ей много потом пришлось слышать в заключении от солдат. Вовлеченная в политику царицей и теми, кто искал через нее путей к власти, она, чтобы не сбиться, выработала себе ясный ориентир. «Как бы серьезный человек ее ни назуживал, чтобы объяснить какую-нибудь политическую теорию, она его слов понять совершенно не могла! — показывал позднее А. Н. Хвостов, явно имея в виду под „серьезным человеком“ себя самого. — А простые вещи, которые Распутин ей говорил, что у того „душа плохая“, а у другого „хорошая“, — это она хорошо понимала».

Поостерегусь, однако, вслед за недоброжелателями называть ее «дурой»: мы, русские, чрезмерно щедры на это слово. «Чтобы удержаться в фаворе у их величеств в течение двенадцати лет, удержаться под напором всеобщей ненависти и, временами, среди чисто женских недоразумений на почве ревности, надо было иметь что-либо в голове», — пишет Спиридович. И оставленные Вырубовой воспоминания говорят о, может быть, небольшом и нисколько не политическом, но здравом уме.

Ту же необычайную силу, которую Распутин проявил, изгоняя «блудного беса», показал он и принимая «зеленого змия». Водку он не пил, предпочитая вино, особенно мадеру, но выпивал подчас до шести литров за обедом. Он мог, показывал А. Ф. Филиппов, «кутить и пить с 12 часов дня до 4 часов утра, затем отправиться к заутрене, стоять за Божественной службой до 8 часов утра и затем, вернувшись домой и напившись чаю, до 2 часов как ни в чем не бывало принимать посетителей».

Сводка «данных наружного наблюдения» за Распутиным полна такими записями: «26 января 1915. Симанович принес Распутину несколько бутылок вина... Пели песни, плясали... 12 февраля. В 4 1/2 часа утра пришел домой в компании шести пьяных мужчин (с гитарой), которые пробыли до 6 часов утра, пели и плясали... 10 марта. Около часу ночи к Распутину пришли человек семь-восемь мужчин и женщин... Вся компания кричала, пела песни, плясала, стучала...» Порой те, кто спаивал Распутина, сами начинали волноваться. «27 апреля. Было слышно, что Распутина вызывают в Царское Село, но так как он еще не проспался, то Волынский и баронесса Кусова не советовали ему в таком виде ехать и говорили: „Испортит все дело“. Между собой вели разговоры: „Что-то наш старец избаловался“...»

Полицейская хроника регистрирует и другую сторону приключений «избалованного старца»: «3 апреля 1915. Распутин привел к себе на квартиру в 1 час ночи какую-то женщину, которая и ночевала у него... 9 мая. Распутин посылал жену швейцара к массажистке, но та отказалась его принять. Тогда он сам пошел в том же доме к портнихе «Кате», 18 лет, и говорил ей: «Почему ты не приходишь ко мне?» Она ответила, что «нет костюма»... 2 июня. Отправился... к портнихе Кате. По-видимому, его не пустили в квартиру, так как он вскоре вернулся и на лестнице стал приставать к жене швейцара, прося его поцеловать... 11 июля. Вышли из дома Соловьева и Патушинская, обхватив Распутина с обеих сторон, а он их, причем Патушинскую взял рукой за нижнюю часть туловища... 3 октября. Незвестная женщина... выйдя от Распутина, начала рассказывать швейцарихе, что какой-то странный он человек, и описала, как он ее принимал: "...Он мало слушал мою просьбу, а стал хватать руками за лицо, потом за груди и говорит: «Поцелуй меня, я тебя полюбил». А потом написал какую-то записку и... этой записки не дал, сказав, что «я на тебя сердит, приходи завтра». Агент Терехов спросил эту даму, намерена ли она зайти завтра, но последняя ответила: «Нет, потому что к нему идти, то надо дать задаток, какой он хочет...»

Сведения, сколько бутылок Распутин выпил и за какую «часть туловища» какую даму держал — да ведь не пропадать же этим частям зря, — в виде регулярных сводок передавались директору Департамента полиции и министру внутренних дел. «Этот журнал, — хвастал, ставши министром, А. Н. Хвостов, — который содержит описание жизни Гришки чуть ли не по минутам, представляет совершенно исключительного интереса исторический документ». Сводка об «обхваченных» Распутиным женских задах, так волновавших русских министров всего за год до революции, и составлялась таким образом, чтобы подчеркнуть сексуальную распущенность Распутина и его склонность к пьянству — это видно при сравнении «сырых» агентурных донесений с «обработанными» в охранном отделении. От полиции шли и в обществе слухи о похождениях Распутина. «Вы ведь посылаетесь для охраны, а передаете другое», — раздраженно пенял он агентам. Нет никакого сомнения, однако, что был он настойчив со многими женщинами, а порой они с ним. Это ведь извечная игра, и бывают такие положения, когда мужское отступление равносильно дезертирству с поля боя. В. А. Подревская возмущалась приставаниями Распутина и попросила А. С. Пругавина пойти с ней к нему под видом ее дяди. Шел чинный разговор, и «вдруг я вижу, — пишет Пругавин, — как она быстрым привычным движением вынимает из волоса гребенки и шпильки, делает легкое движение головой, и в тот же момент волна темно-русых волос рассыпалась по ее плечам и спине... Из рамки густых пышных волос выглянуло оживленное раскрасневшееся лицо с тонкими красивыми чертами. Я с большим недоумением посмотрел на нее, не понимая, зачем она это делает, к чему эта игра». Нет святых на земле, сказал бы Распутин, и на доклад агента, что его ожидают две красивых дамы, ответил: «Мне такие и нужны».

Все это рано или поздно должно было плохо кончиться. 25 марта 1915 года Распутин на пять дней приехал в Москву, и уже на второй день произошел скандал в «Яре», занявший почетное место в «распутиниане». В докладе товарищу министра внутренних дел В. Ф. Джунковскому от 5 июня 1915 года начальник Московского охранного отделения полковник А. П. Мартынов так излагал события:

«...26 марта сего года, около 11 часов вечера, в ресторан „Яр“ прибыл известный Григорий Распутин» вместе с А. И. Решетниковой, журналистами Н. Н. Соедовым и С. Л. Кугульским и «неустановленной молодой женщиной». «Вся компания была уже навеселе... пригласили женский хор, который исполнил несколько песен и протанцевал „матчиш“ и „кэк-уок“». По-видимому, компания имела возможность и здесь пить вино, так как опьяневший еще более Распутин плясал впоследствии „русскую“, а затем начал откровенничать с певичками в таком роде: „Этот кафтан подарила мне „старуха“, она его и шила“, а после „русской“: „Эх, что бы „сама“ сказала, если бы меня сейчас здесь увидела“. Далее поведение Распутина приняло совершенно безобразный характер какой-то половой психопатии: он будто бы обнажил свои половые органы и в таком виде продолжал вести беседу с певичками, раздавая некоторым из них собственноручные записки с надписями вроде „люби бескорыстно“ — прочие наставления в памяти получивших их не сохранились. На замечание заведующего хором о непристойности такого поведения в присутствии женщин Распутин возразил, что он всегда так держит себя перед женщинами, и продолжал сидеть в том же виде. Некоторым из певичек Распутин дал по 10-15 рублей, беря деньги у своей молодой спутницы, которая затем оплатила все прочие расходы по „Яру“. Около 2 часов ночи компания разъехалась».

Этот полицейский отчет отчасти совпадает с рассказами о проповедях в бане или с «Исповедью» Хионии Берландской, она пишет, что Распутин «и в поле на работе соберет всех и заставит иногда кого-нибудь обнажить его. Сестры видели в этом блаженство его и детство — невинность». Полиция в этом невинности не увидела. Но я склонен отнестись с осторожностью как к показаниям разочарованных «сестер», так и — в большей степени — к полицейским отчетам.

Настораживает уже то, что отчет о событиях в марте был составлен только в июне. Московский градоначальник генерал-майор Адрианов говорил и даже писал впоследствии, что «никакой неблагопристойности» Распутин в «Яре» не сделал. Осенью 1916 года

добивался он свидания с Распутиным, но тот его не принял, сказав, что хотя он «и дал другое показание, но все-таки ему нужно было в свое время, когда он был градоначальником, посмотреть, что такое полиция писала Джунковскому». Когда Распутин снова кутил в «Яре» в мае 1916 года, цыганский хор жался, боясь скандала и допросов, а градоначальство сразу же командировало двух чиновников «для охраны».

Если Адрианов изменил позицию потому, что противники Распутина Щербатов и Джунковский были уволены с постов министра и его товарища, то можно предположить, что и рапорт о событиях в «Яре» составлялся в угоду только что назначенному Щербатову, Джунковскому и поддерживавшей их сестре царицы Елизавете Федоровне. Любой знакомый с методами русской полиции знает, что то или иное происшествие может она раздувать или сжимать — в зависимости от того, что требуется начальству.

Неполицейские описания распутинских кутежей производят не такое комически-зловещее впечатление. Б. А. Алмазов вспоминает, как на вечере у Екатерины Лесненко Распутин слушал «Ave Maria» и просил повторить, а потом с хором гостей, размахивая руками, подпевал своей любимой "Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить...". Захотел он доказать, что у них в деревне танцуют не хуже, чем в императорском балете: подражая солисту балета Александру Орлову, пустился в пляс на столе — но с грохотом рухнул и тут же вскочил, крича пианисту: «Давай дальше... Танцевать я горазд!» Когда же Орлов сказал: «Вот бы вы вместо „Вилла Родэ“ пришли хоть раз искусство посмотреть... Я бы вам „Иванушку-дурачка“ показал... Вы бы ахнули!» — Распутин необычайно обиделся, увидев в «Иванушке-дурачке» намек на себя, и большого труда стоило растолковать ему, что речь идет о роли в балете Пуни «Конек-Горбунок».

После танцев рассказывал он сказку про «добрую царицу», напугался, увидев, как один журналист записывает ее, просил не печатать — тот напечатал. Звали его к цыганам ехать, особенно один из гостей, но чем настойчивее тот предлагал, тем упорнее Распутин отказывался и с рассветом отправился домой. На вопрос хозяина, почему он к цыганам не захотел, Распутин отвечал, указывая на настойчивого гостя: «С ним не хочу... Плохой человек». Пил он много, но только тогда, когда видел, что другие выпили из этой бутылки.

Он «держал себя во время ужина сдержанно, с большим достоинством, — пишет Джанумова о ресторанном застолье с пригласившими Распутина дельцами. — Много пил, но на этот раз вино не действовало на него, и говорил, как будто взвешивая каждое слово. И все время выщупывал глазами собеседников, как будто читал их мысли». Описывает она и бесшабашный кутеж в «Стрельне»: «Публика вскоре узнала, что с нами Распутин. Влезали на пальмы, чтобы взглянуть в окно... Он настойчиво угощал хор шампанским. Хор заметно пьянел. Начиналась песня, внезапно обрывалась, прерываемая хохотом и визгом. Распутин разошелся вовсю. Под звуки „русской“ он плясал с какой-то дикой страстью. Развевались пряди черных волос и борода и кисти малинового шелкового пояса... Плясали с ним и цыганки... В кабинет вошли два офицера, на которых сначала никто не обратил внимания. Один из них подсел ко мне и, глядя на пляшущего Распутина, сказал: „Что в этом человеке находят? Это же позор: пьяный мужик отплясывает, а все любят. Отчего к нему льнут все женщины?“ Он смотрел на него с ненавистью». Внезапно офицеры начали стрелять — когда их задержали, они заявили, что хотели только припугнуть Распутина. У него «лицо пожелтело. Он сразу же как будто постарел на несколько лет».

Еженедельно по воскресеньям у Распутина бывала так называемая уха, на которую собиралось человек двадцать, только хорошо знакомые, преимущественно поклонницы. Вырубова, едва только смогла ходить, неизменно присутствовала. «Начинается о чем-то разговор, — вспоминает Манасевич-Мануйлов, — потом Распутин говорит: „Вот ты, Аннушка, само добро, от тебя добро идет“... Она смотрит на него совершенно дикими глазами, впивается в него и каждое его слово ловит, потом хватает его за руку и при всех... целует ее». «Удивительно добрая, очень добрая личность», — заметил и князь Андронников,

считавший ее несчастной и глупой истеричкой. «Отчаянный, гадкий человек», — отозвалась сама Вырубова о Мануйлове, а об Андронникове заметила, что «он отвратительный тип. Все время страшно врал».

За годы войны новшеством в жизни Распутина стали почти ежедневные приемы. За помощью к нему обращались давно, но по мере того как расходились слухи о могуществе Распутина, число посетителей неудержимо росло. «Посетителей очень много с утра и до позднего вечера и самого разнообразного типа, возраста и положения, — записывал в свой дневник сосед Распутина. — ...Когда отворяются двери „его“ квартиры, то видно, как сидит очередь у „него“ в прихожей, за неимением иногда там места сидят на площадке у двери на скамейке... Сидят дамы, кстати сказать, очень элегантно одеты... Есть много... барышень очень молоденьких, вид которых меня всегда поражал тем, что они слишком серьезны, когда идут к „нему“... что-то обдумывают, очень сосредоточены на чем-то. Сидят генералы почтенные, батюшки какие-то провинциальные, монахи, чиновники, женщины бедно одетые, с ребятами на руках. Мужчины попадают типа нерусского, но есть и солидные господа именно русского происхождения».

«Он принимал посетителей, вызывая их в кабинет... — вспоминает Джанумова. — ...»И все-то к нему тянутся, всех-то он греет, всем-то он светит как солнышко», — говорит [А]килина [Лаптинская], проходя по столовой с озабоченным видом... Около часу приехала фрейлина В[ырубов]а с большим портфелем... Она сейчас же прошла в приемную, вернулась с пачкой прошений, которые, наскоро просмотрев, сунула в портфель. Распутин торопливо выбежал и, бросившись на стул, стал отирать пот с лица. «Силушек нет, замучался, — жаловался он, — народу-то, народу сколько привалило, с утра принимаю, а все прибывает»... В передней раздавались звонки, прибывали новые посетители, приносили подарки, цветы, торты, какие-то вещи... Около стены сидели два священника с большими золотыми крестами на груди. Они с удивлением смотрели на все происходящее... «Ну и кутил же я, поп, — обратился Распутин к одному из них, — одна такая хорошенькая цыганка пела, ну и пела же... „Еду, еду, еду к ней, еду к любушке своей“, — запел он. Один священник, опуская глаза, сказал нараспев: „Это, отец, серафимы, херувимы тебе пели, ангелы в небеси“... Распутин ухмыльнулся, махнул рукой и пошел в переднюю к просителям». «Распутин выходил в приемную и обходил посетителей, — вспоминает Спиридович. — Расспрашивал, давал советы, принимал письменные просьбы, все очень участливо, внимательно». Некоторые, особенно молодые девушки, просто приходили за советом «как жить», но чаще просьбы были спасти мужа, отца, брата от тюрьмы или другого наказания, восстановить на службе, получить место, получить разрешение на проживание в столице, выхлопотать пенсию, устроить какое-нибудь дело, а то и просто помочь деньгами. Последнее было особенно просто. Распутин «шарил у себя в карманах и совал просительнице деньги. Одна интеллигентная женщина жаловалась, что муж убит, пенсии еще не вышло, а жить не на что... Распутин зорко смотрит на нее. Треплет свою бороду. Быстро оборачивается, окидывает взглядом просителей и хорошо одетому господину говорит: „У тебя деньги ведь есть, дай мне“. Тот вынимает из бокового кармана бумажник и подает что-то Распутину. Посмотрев, Распутин берет просительницу за плечи: „Ну, пойдём“. Проводит ее до выходных дверей. „На, бери, голубушка, Господь с тобой“. Выйдя на лестницу и посмотрев, что сунул ей Распутин смятым, она насчитала пятьсот рублей».

Распутину все время звонили, и у телефона поочередно дежурили его поклонницы, отвечая: «Квартира Григория Ефимовича! У телефона дежурная такая-то. Кто говорит?» — и добиться самого Григория Ефимовича было не так-то легко. Если же он подходил, то держался картинно: по описанию Пругавина, «одну ногу он поставил на стул, стоящий у аппарата, левой рукой держал трубку, а правой подбоченился».

После приема он разбирал почту, распределяя, кому передать какое прошение и выводя резолюции. «В корявых пальцах неловко торчало перо. Старательно выводя какие-то каракули, „старец“ все время сопел», — вспоминает Пругавин. Одну просьбу, от

железнодорожника, Распутин разорвал, сказав про министра путей сообщения С. В. Рухлова: «Сначала он все исполнял как следует быть, с охотой, ну а теперь — не то... Недавно я ему одиннадцать прошений послал, а он из них всего только шесть исполнил... Нет, не буду я посылать ему...»

Ежедневно «до семидесяти человек являлось к нему с просьбами, с прошениями, — вспоминает Манасевич-Мануйлов, — причем было много вещей, которые он делал даром, а за многое он брал деньги, причем он брал столько, сколько давали. Много и мало. У него не было какой-нибудь таксы определенной, никаких требований, но, конечно, денежные дела он настойчиво проводил». Если Распутин или его окружение в каком-то деле были особенно заинтересованы, Распутин доходил до царя. «У меня куча прошений, принесенных нашим Другом для тебя», — пишет, например, царица царю в январе 1915 года.

Но в большинстве случаев со словами: «Не роняй слезу, такой-то все сделает», — Распутин давал просителю записку на имя того или иного сановника, а то и вообще без имени, с крестиком наверху: «Милый дорогой устрой беднаго тебе бог поможет Григорий», или «начальнику николаевской железной дороги милой дорогой извиняюсь простите спасите бедную девочку трудом роспутин», или «министеру хвостову милой дорогой красивую посылаю дамочку бедная спаси ее нуждается поговори с ней Григорий», или записка Горемыкину: «Дорогой старче божей выслушай ево он пусть твоему совет и мудросте поклонитца роспутин».

Записки эти иногда заранее заготавливались Распутиным, появились даже коллекционеры, скупавшие их. Они приводились как пример «вмешательства темных сил в дела государственного управления» — хотя свидетельствовали только о желании Распутина — иногда бескорыстно, иногда нет — помочь тем, кто попал в беду, об этом говорят, в частности, записки дворцовому коменданту В. Н. Воейкову — помочь инженеру, который «устроил моих бедных минимум 150 человек» или достать бесплатные железнодорожные билеты для бедных. «Почти никогда Распутин не отказывал в своей помощи, — пишет Симанович. — Он никогда не задумывался, стоит ли проситель его помощи и годен ли он для просимой должности. Про судом осужденных он говорил: «Осуждение и пережитый страх уже есть достаточное наказание».

Эффект записок не был всегда тот, на который рассчитывали их обладатели. Если они обращались к лицам, заинтересованным в хороших отношениях с Распутиным, или дело было несложно — записка могла помочь, если же попадали к враждебному Распутину адресату — не давали результата. «Некоторые рвали послание и отказывали в просьбе, — вспоминает Спиридович. — Об этом просители обычно сами жаловались «старцу». Тот бросал обычно: «Ишь ты, паря, какой строгий. Строгий!» Это было все, но при случае он говорил про такого нелюбезного человека: «Недобрый он, недобрый!» Только если записку игнорировал человек, лично ему обязанный, мог Распутин выказать раздражение.

Он никогда не просил и не брал для себя денег у царя и царицы. Квартиру ему, по словам Белецкого, оплачивал А. С. Танеев, отец Анны Вырубовой, а по словам Спиридовича, банкир Д. Л. Рубинштейн. С осени 1915 года, с большим перерывом, одну-полторы тысячи ежемесячно получал он из фондов Департамента полиции, получал он денежные подарки от своих поклонников и поклонниц, но главным образом деньги для содержания семьи, благотворительности и кутежей приносила Распутину особая категория посетителей — дельцы.

Проведение через Распутина финансовых комбинаций началось с 1910 года, но большая деловая активность вокруг него развернулась в связи с получением военных подрядов. Более крупные фигуры финансового мира пытались использовать связи с Распутиным и для продвижения «нужных людей» в административный аппарат. Среди них выделялись два соперника — Игнатий Порфирьевич Манус, директор правления Товарищества петроградских

вагоностроительных заводов, и Дмитрий Львович Рубинштейн, более известный под именем Митька, председатель правления Русско-французского банка. Оба они, по слухам, были связаны с немецкими банками.

Немалая часть установленной или неустановленной mzды прилипала к рукам устроителей дел Распутина. Сначала ими занимался главным образом Иван Иванович Добровольский, бывший уездный инспектор народных училищ, поддерживаемый Вырубовой. Это положение Добровольского вызывало раздражение у остальных приближенных Распутина, и к 1915 году им удалось вызвать недоверие Распутина к нему. Хотя Добровольский окончательно устранен не был, его место занял «лутший ис явреев» — сорокадвухлетний Арон Семенович Симанович, ювелир, ростовщик и содержатель игорного клуба. С Распутиным он познакомился еще в 1905 году в Киеве, но стал его секретарем только в годы войны. Товарищ министра внутренних дел Белецкий установил, «что Симанович хотя и пользуется Распутиным для проведения многих дел, но что он относится к Распутину и его семье хорошо, старается воздержать Распутина от публичных выступлений, ревниво охраняет его от подозрительных знакомств... Он был отличный семьянин... умел себя держать с достоинством... оказывал бедным своим соплеменникам, при поддержке Распутина, бескорыстную помощь в деле оставления их на жительство в столицах». После гибели Распутина Симанович первое время помогал его дочерям.

Финансовые дела Распутина устраивали также Акилина Никитична Лаптинская, монахиня и сестра милосердия, Вера Иевлевна Трегубова, в филерских дневниках называемая проституткой, и другие, что-то получали от дельцов даже живущие у Распутина с юности сестры Екатерина и Евдокия Печеркины.

Сам «Распутин не имел никакого понятия о финансовой стороне существования, — пишет Симанович, — и очень неохотно занимался финансовыми вопросами. Неоднократно в своей прошедшей жизни ему приходилось попрошайничать, проживать бесплатно в монастырях, монастырских гостиницах или у зажиточных крестьян. Будущность его интересовала очень мало. Он был вообще человеком беспечным и жил настоящим днем». Белецкий, напротив, полагал, что «Распутин даже самых близких ему лиц никогда не посвящал во всех подробностях в свои денежные дела, но зорко следил за охраною своих материальных интересов». Симанович будто бы говорил ему, что Распутин, кроме дома в Покровском, оставил своей семье 30 000 рублей. Но Симанович пишет, что после смерти Распутина дочери его оказались в трудном положении и им 50 000 выдала царица. Протопопов показывал, что Вырубова передала ему желание царицы «обеспечить детей Распутина суммою в 100 000 р.», очевидно, из фондов министра внутренних дел, но при встрече царица сказала ему, что Вырубова перепутала и что они с государем обеспечат семью Распутина сами. В своей первой книге Матрена Распутина пишет, что Протопопов выдал им с сестрой из средств царицы и наследника по 40 000 каждой, но во второй книге уменьшает эту сумму до 30 000 каждой. Она утверждает, что после гибели отца осталось всего 3 000 рублей и деньги в столе дочерям на приданое, которые кто-то украл. Вообще же, при подсчете денег в чужом кармане, человеческая память творит чудеса.

В сущности, обе характеристики отвечают натуре Распутина — с одной стороны, человека «не от мира сего», а с другой — хитрого мужика. Конечно, он не любил, чтобы его обманывали, но никогда не смотрел на деньги как на цель, а лишь как на средство для исполнения желаний — хороших или дурных. Он никогда не забывал свою семью, и жена его отвозила из Петрограда в Покровское деньги и вещи — но сколько бы он ни оставил своей семье, это была небольшая часть прошедших через руки Распутина денег.

НЕ ПОСРАМИМ ЗЕМЛИ РУССКОЙ!

Вызванные войной подъем и единение продолжались недолго. Через несколько недель ни немцы не были в Париже, ни русские в Берлине; становилось ясно, что война принимает затяжной характер, что потребуются все большее напряжение сил и что проблемы, как бы смазанные «полуконституцией» Витте, «полуреформой» Столыпина и «полупарламентаризмом» Коковцова, снова обостряются. На авансцену сразу же вышли противоречия между «самодержавием», т. е. царем и его правительством, и «обществом», т. е. образованными и обеспеченными классами, в то время как ропот народных масс оставался пока что четко не различимым, но зловещим фоном. На этом фоне, каждым жестом и каждым словом приближаясь к развязке, развертывалась сложная игра, участники которой — словно герои греческой трагедии — движимы были как бы слепым роком; может быть, они понимали опасность того, что делали, но свои роли были изменить не в силах.

С началом войны в стране возникли три видимых центра власти, формально сходящиеся в руках царя, но по существу конфликтующие не только друг с другом, но и с ним самим.

Во-первых, ставка Верховного главнокомандующего, которым царь назначил своего дядю, великого князя Николая Николаевича, человека властного, неглупого, пользующегося репутацией серьезного военного, но, по словам Витте, «унаследовавшего в полном объеме психическую ненормальность своего прадеда, императора Павла», прежде всего склонность к самоволию: «Хочу и баста». Начальником штаба он пригласил генерала Н. Н. Янушкевича, накануне войны подтолкнувшего царя к всеобщей мобилизации. С введением Временного положения о полевом управлении, подчинившего верховному главнокомандующему обширные территории, ставка вмешивалась во многие вопросы тыла — и начался постоянный конфликт между военными и гражданскими властями.

Во-вторых, правительство во главе с престарелым И.Л. Горемыкиным, склонным рассматривать войну как событие вне рамок его компетенции. Он вообще на всякое предложение, исполнение которого требовало от него усилий, отвечал: «Это вздор, чепуха, к чему это!» Скорее всего после смещения Коковцова Горемыкин был взят царем как бы «на затычку», как и в 1906 году, когда через три с половиной месяца он был заменен Столыпиным. Теперь двумя наиболее вероятными кандидатами были министр земледелия А. В. Кривошеин и министр внутренних дел Н. А. Маклаков. Маклаков, лично наиболее приятный царю и отвечающий ему обожанием, был сторонником самодержавия, в то время как умеренный консерватор Кривошеин — сторонником сотрудничества с Думой. Он пользовался, несомненно, большим авторитетом и в обществе, и в правительстве, чем не любимый даже правыми коллегами по кабинету Маклаков. Распутин, познакомившийся с ним в 1913 году, тоже отнесся к нему с прохладцей и насмешкой. Программа Маклакова значила разрыв с полуконституционным строем, но он не обладал ни умом, ни темпераментом Столыпина для нового «третьеиюньского переворота». Царь колебался — и Горемыкин оставался премьером, возглавляя правительство лебедея, рака и щуки и пересидев в нем и Маклакова, и Кривошеина.

В-третьих, Государственная Дума и связанные с ней общественные организации. 30 июля 1914 года на съезде представителей земств, а 8-9 августа на съезде городских голов в Москве для помощи раненым и беженцам были организованы Всероссийский земский союз (во главе с князем Г. Е. Львовым) и Всероссийский союз (во главе с М. В. Челноковым). В июне 1915 года для координации военных усилий предпринимателей были организованы Военно-промышленные комитеты (во главе с А. И. Гучковым, проваленным на выборах в IV Думу и теперь снова вышедшим на политическую сцену), а затем Союзы земств и городов Комитет земгора с той же целью снабжения армии. Поэтому эти союзы находили поддержку в ставке. Не удивительно, что в них буржуазно-дворянская оппозиция увидела главное оружие

в борьбе за ограничение самодержавия, и хотя при прямой конфронтации с царем общественные организации каждый раз уступали, в целом позиции власти слабели.

Существовал и четвертый — не столь явный — центр власти, получивший в обществе название «темные» или «безответственные силы». Было два таких оказывавших закулисное влияние кружка, в глазах общества неразличимых, но по существу часто враждебных один другому. Кружок крайних правых, включая депутатов Думы и Государственного Совета, стянулся вокруг Б. В. Штюрмера, объединившего после смерти Мещерского и Богдановича их кружки, с начала 1916 года этот кружок возглавил А. А. Римский-Корсаков. Другой кружок сложился вокруг царицы, Вырубовой и Распутина — по словам А. Н. Хвостова, «Распутин был там центром, а остальные марионетки».

Русское командование переоценило свои силы, наметив два стратегических направления наступления: на Австрийскую Галицию и на Восточную Пруссию. Однако даже сейчас трудно сказать, как следовало бы поступить.

Наступление против Австро-Венгрии казалось более перспективным. Вооружение австрийских дивизий не превышало вооружение русских, высокий процент славян делал их менее надежными. «Лоскутность» Австро-Венгерской империи позволяла бы при продвижении вглубь сыграть на национальных противоречиях. Выход на Венгерскую низменность ставил под удар Будапешт и Вену, а главное, позволил бы создать единый русско-сербский фронт и изолировать Турцию, в октябре выступившую на стороне центральных держав. Для Австро-Венгрии оставался бы или сепаратный мир, с потерей славянских территорий, или полное расчленение.

Подобный план в конце 1915 года был предложен генералом Алексеевым, но в 1914 году идея расчленения Австро-Венгрии скорее всего казалась царю и ставке слишком противоречащей монархическому принципу. Что еще более важно, пренебрежение германским фронтом позволило бы Германии все силы бросить против Франции, как и было предусмотрено немецким планом, а затем повернуть против России. Если бы немцам удалось разбить Францию, то самые впечатляющие русские успехи в Австрии пошли бы насмарку.

Русское наступление в Восточной Пруссии, по просьбе союзников начатое раньше, чем были подтянуты необходимые силы, кончилось разгромом одной из русских армий. Правда, немцам пришлось снять часть войск с Западного фронта, и их наступление там остановилось, но поражение в первой крупной боевой операции сказалось болезненно на русских. Эта неудача, однако, была перекрыта успехами наступления в Галиции.

Результаты кампании 1914 года, таким образом, не были неудачными для России. Зато они в полной мере выявили русскую техническую отсталость: слабость и неорганизованность железнодорожной сети, нехватку тяжелых орудий, а главное — снарядов. Однако и 1915 год начался удачно для русских: был занят хребет Карпат и открывался путь в Венгерскую долину. С 9 по 11 апреля царь — по совету Николая Николаевича и вопреки предостережениям Распутина — посетил Львов и Перемышль. «Наш Друг предпочел бы, чтобы ты поехал в завоеванные области после войны», — писала царица, вместе с Распутиным считая успех незакрепленным.

На северных участках фронта русских начали понемногу теснить с января. К весне русская армия истощила все запасы снарядов. 17 апреля в Петрограде произошел приписываемый немецким агентам взрыв на военном заводе, а на следующий день началось австро-германское наступление по всему фронту. «Как громадный зверь немецкая армия подползала своими передовыми частями к нашим окопам, — вспоминает Н. Н. Головин, — но лишь настолько, чтобы приковать к себе наше внимание и в то же время быть готовою немедленно же после очищения окопов занять их. Затем этот гигант подтягивал свой хвост —

тяжелую артиллерию. Последняя становилась в районы, малодоступные для нашей легкой артиллерии, часто даже вне достижимости ее выстрелов, и с немецкой методичностью начинала барабанить по нашим окопам».

Началось «великое отступление» русской армии. 21 мая был сдан Перемышль, 9 июня Львов, 22 июля Варшава, одновременно немцы продвигались на Северо-Западном фронте, и, чтобы не попасть в мешок, приходилось сдавать без боя крепости. К августу противник вышел к нижнему течению Западной Двины и верхнему течению Припяти. Еще более тяжелое впечатление, чем огромные территориальные потери, производило число убитых, раненых и попавших в плен. За время отступления русская армия потеряла убитыми и ранеными около 1,5 млн. и пленными около 1 млн. человек. К ноябрю 1915 года общие потери составили свыше четырех миллионов человек. «Отступление можно перенести, но не это», — писала царица мужу.

Исходя из того, что русские военачальники великолепно, после первых неудач 1914 года начали искать козлов отпущения — прежде всего «изменников и шпионов». 18 февраля 1915 года, сразу же после январского отступления на Северо-Западном фронте, был арестован по обвинению в шпионаже и мародерстве контрразведчик и бывший жандарм полковник С. Н. Мясоедов — и после однодневного суда повешен 17 марта. Никаких серьезных доказательств «шпионажа» обнаружено не было, но за дело ухватились два контрразведчика — начальник разведотдела при штабе Северного фронта полковник Н. С. Батюшин и начальник штаба Северо-Западного фронта генерал М. Д. Бонч-Бруевич, брат В. Д. Бонч-Бруевича. По мнению С. П. Мельгунова, «можно считать вполне доказанным, что Мясоедов пал искупительной жертвой верховной ставки, возглавляемой в. к. Николаем Николаевичем».

Непосредственный эффект «дело Мясникова» оказало на А. И. Гучкова и военного министра В. А. Сухомлинова. Политический кредит Гучкова, еще в 1912 году обвинившего Мясоедова в связях с австрийцами и дравшегося с ним на дуэли, повысился, тогда как Сухомлинова, дружившего с Мясоедовым и рекомендовавшего его в контрразведку, упал. Но наиболее важным результатом дела стало распространение слухов, что «измена гнездится наверху», и так шаг за шагом дошли до утверждения, что у самой царицы в Царском Селе стоит аппарат для прямой связи с немцами.

«Шпиономания» коснулась целых народов — крымских татар, этнических немцев и евреев. Приказы о выселении евреев стали отдаваться с сентября 1914 года, с ноября стало применяться взятие «от еврейского населения заложников, предупреждая жителей, что в случае изменнической деятельности кого-либо из местных жителей... заложники будут казнены», затем последовали приказы о «безотлагательном выселении всех евреев и подозрительных лиц с мест, лежащих вблизи линии фронта». Также выселяли и немцев-колонистов. Ссылные и беженцы, встречаемые недоброжелательно населением внутренних губерний, находились в отчаянном положении и еще более увеличивали хаос в тылу. «Смотри, чтоб истории с жидами велись осторожно, без излишнего шума, чтобы не вызвать беспорядков в стране», — писала царица мужу. Совет министров вынужден был отменить черту оседлости для городов, как потому, что она была уже нарушена, так и потому, что нужно было произвести хорошее впечатление за границей для получения очередного займа.

Стали искать виноватых и среди солдат. Начальник Генерального штаба Янушкевич предложил и получил одобрение царя на лишение пайка семей добровольно сдавшихся в плен солдат и на высылку их самих в Сибирь по возвращении из плена. Напротив, за хорошую службу он предлагал вознаграждать землями, конфискованными у немецких колонистов.

Гонения на все немецкое начались с первых дней войны. Погром немецкого посольства в Петербурге проходил при попустительстве властей, были закрыты газеты на немецком языке,

Синод запретил рождественские елки как «немецкий обычай», сенат постановил, что подданные вражеских государств не должны пользоваться судебной защитой, начали увольнять лиц с немецкими фамилиями, хотя бы из семей, несколько поколений живущих в России. Газеты расписывали немецкие зверства и призывали к мщению. 27 мая 1915 года — после первых неудач в Галиции — начался двухдневный погром в Москве, толпа кидала камнями даже в карету сестры царицы, «немку». Московский генерал-губернатор князь Юсупов на докладе царю всю вину приписал товарищу министра внутренних дел Джунковскому, который возвращал высланных немцев, что «возмутило простой народ». Доклад Юсупова, по словам Спиридовича, «произвел странное, неясное впечатление. Выходило так, что он сам натравливал население на немцев». «Военная психология» — ненависть к врагу, сознание, что с ним все позволено, — развязывала самые низкие инстинкты, которые в полной мере проявились в русской революции, гражданской войне и в последующие годы.

Образованные классы общества тоже были охвачены германоедством, но понимали, что в русских поражениях виноваты не галицийские евреи и московские немцы, но те, кто не сумел организовать снабжение армии боеприпасами, прежде всего военный министр Сухомлинов, так легкомысленно и провоцирующе заявлявший весной 1914 года, что «Россия готова к войне». Правительству было ясно, что для продолжения войны необходим «мир в тылу», сотрудничество власти с обществом, — и после майского отступления стал вопрос о созыве Думы, за год войны собранной только на четыре дня.

Умеренное крыло Совета министров видело, что в настоящем составе Совет с Думой работать не может, необходимо устранить крайне правых: скомпрометированного Сухомлинова, врага Думы Маклакова, подчинившего юстицию администрации Щегловитова и внесшего паралич в жизнь церкви Саблера. Составился своего рода «заговор министров», под угрозой отставки предложивших Горемыкину доложить царю о необходимости смещения остальных четырех — они были не прочь убрать и самого премьера, но понимали, что тогда весь план будет обречен на неудачу у царя. Николай II был возмущен, что одни министры требуют смещения других, «в полках так не делают», однако согласился, что обстоятельства вынуждают делать шаг навстречу Думе.

Кривошеин — душа и ум «заговора министров» — предложил кандидатов для замены: министром внутренних дел — Н. Б. Щербатова, военным министром — А. А. Поливанова, обер-прокурором Синода — А. Д. Самарина; на пост министра юстиции Горемыкин предложил А. А. Хвостова-старшего, дядю А. Н. Хвостова. Все предложения были приняты царем, что вызвало беспокойство царицы как сделанное под чужим влиянием — «не слушай других, а только свою душу и нашего Друга». Она одобрила смещение Щегловитова — «он против нашего Друга», согласилась с отставкой «бедняги» Сухомлинова, не была уверена в Поливанове — «не враг ли он нашего Друга, что всегда приносит несчастье», была против Щербатова и крайне против Самарина — «он пойдет против нашего Друга... москвич... из недоброй ханжеской клики Эллы...». В общем, тон писем против новых министров идет крещендо до конца июня, пока царь не вернулся из ставки.

15 июня, выразив царице беспокойство, каких еще министров сменят, Распутин выехал в Покровское. Не знаю, уезжал ли он из Петрограда, потому что обычно ездил на родину летом, или чтобы избежать конфликта с новым министром внутренних дел. Бывший главноуправляющий государственным коннозаводством, теперь оседлавший полицию, Щербатов был не только «либерал» в глазах дворянской Думы, но и ставленник «великокняжеской оппозиции», ненавидящий «грязного мужика» как неожиданную и досадную помеху для своего влияния на царя. «Господь нам никогда не простит нашей слабости, если мы дадим преследовать Божьего человека и не защитим его», — писала взволнованная царица.

Однако политическая полиция почувствовала изменения наверху, и 5 июня — в день

назначения нового министра — его товарищу Джунковскому, тоже из «клики Эллы», был направлен Московским охранным отделением отчет о мартовском дебоше Распутина в «Яре». В середине июня в ставке Джунковский, после доклада государю о погроме в Москве, сказал, что, принимая во внимание визиты Распутина в Царское Село, «счел долгом осветить картину поведения этого человека» — и сообщил о скандале в «Яре». По его словам, царь "слушал очень внимательно, но не проронил ни одного слова... Затем протянул руку и спрашивает: «У вас это написано?» Я вынул записку из портфеля, государь взял ее, открыл письменный стол и положил. Тогда я сказал государю, что... ввиду того, что я считаю деятельность Распутина крайне опасною и полагаю, что он должен являться орудием какого-нибудь сообщества, которое хочет повлечь Россию к гибели, я просил бы разрешения государя продолжать мои обследования о деятельности Распутина и докладывать ему. На это государь сказал: «Я вам не только разрешаю, но я вас даже прошу сделать это. Но пожалуйста, чтобы все эти доклады знал я и вы — это будет между нами».

Эту просьбу царя Джунковский не выполнил. «Ах, дружок, он нечестный человек, — пишет царица мужу 22 июня, — он показал Дмитрию эту гадкую, грязную бумагу (против нашего Друга), Дмитрию, который рассказал про это Павлу и тот Але. Это такой грех, и будто бы ты сказал, что тебе надоели эти грязные истории, и желаешь, чтобы Он был строго наказан. Видишь, как он перевирает твои слова и приказания — клеветники должны быть наказаны, а не Он». Все же царица решила сама проверить доклад о «Яре» и послала в Москву флигель-адъютанта Н. П. Саблина — о результате его поездки ничего не известно.

Смена министров подняла престиж Николая Николаевича как сторонника соглашения с «общественностью» и «антираспутинца». «В ставке хотят отделаться от Него (этому я верю)», — писала царица о Распутине, но хотели отделаться уже не только от «него», но и от нее. Появились слухи, особенно в Москве, что Николаю Николаевичу необходимо предложить диктатуру или регентство, а Александру Федоровну заточить в монастырь, планы эти связывались с начальником военно-походной канцелярии государя князем В. Н. Орловым, давно уже из «преданной собаки их величеств» превратившегося в собаку кусачую.

И царица, и Распутин были встревожены — опасения, что Николай Николаевич захочет играть самостоятельную политическую роль, были у них с самого начала войны, особенно они заметны по письмам царицы с января 1915 года, где она — с постоянными ссылками на Распутина — закликает царя не давать Николаю Николаевичу первенствовать.

В разгар отступления на Николая Николаевича напали и министры, стремясь не столько подорвать его политическую роль, сколько сузить административные права ставки. «В ставке Верховного главнокомандующего наблюдается растущая растерянность, — говорил на заседании Совета министров 16 июля 1915 года Поливанов. -...В действиях и распоряжениях не видно никакой системы, никакого плана... И вместе с тем ставка продолжает ревниво охранять свою власть и прерогативы». "Никакая страна, даже многотерпеливая Русь, не может существовать при наличии двух правительств, — сказал поддержанный другими министрами Кривошеин. -...Положение о полевом управлении составлялось в предположении, что верховным главнокомандующим будет сам император.

Тогда никаких недоразумений не возникало бы и все вопросы разрешались бы просто: вся полнота власти была бы в одних руках".

Напрашивался логический вывод, что нужно или изменить Положение, или императору стать во главе армии. «Господа, обращаю ваше внимание на необходимость с особою осторожностью касаться вопроса о ставке, — предостерегал Горемыкин. -...Императрица Александра Федоровна, как вам известно, никогда не была расположена к Николаю Николаевичу... Сейчас же она считает его единственным виновником переживаемых на фронте несчастий». На заседании 24 июля Горемыкин повторил свой совет.

Он оказался прав. На следующем заседании, 6 августа, Поливанов, начав с того, что «ставка окончательно потеряла голову», под конец воскликнул: «Как ни ужасно то, что происходит на фронте, есть еще одно гораздо более страшное событие, которое угрожает России. Я сознательно нарушу служебную тайну и данное мною слово до времени молчать. Я обязан предупредить правительство, что сегодня утром на докладе его величество объявил мне о принятом им решении устранить великого князя и лично вступить в верховное командование армией». Поднялось общее волнение, и министр внутренних дел Щербатов заметил, что до него «доходили слухи об интригах в Царском Селе», но он не думал, что все случится так быстро.

От мысли возглавить армию министры удержали царя в канун войны. Тем более — вне зависимости от всяких «интриг» — сильным душевным движением его было стать во главе армии, когда армия и страна в опасности. Но как человек нерешительный, мог он заколебаться — и царица прилагала все усилия, чтобы он был твердым в его же собственных намерениях. «Заставь их дрожать перед твоей волей и твердостью» — лейтмотив ее писем, рефрен которых: «Бог с тобой и наш Друг за тебя». А поскольку на непосредственное вмешательство Бога рассчитывать было трудно, она через Горемыкина вызвала из Покровского «нашего Друга». Тот виделся с царем 31 июля, в день приезда, и 4 августа, а еще ранее послал ему несколько телеграмм. Именно эти «интриги» имел в виду Щербатов.

С его одобрения его товарищ по полиции предпринял контринтригу. 4 августа царь принял Джунковского, который, пользуясь разрешением докладывать о Распутине, представил составленный его секретарем Л. А. Сенько-Поповским доклад, кульминацией которого было все то же происшествие в «Яре», описанное еще более яркими красками. Царь встретился с Распутиным в тот же день, и тот попал, что называется, под горячую руку — «таким он никогда до того даже и не видел государя, — вспоминает его рассказ Белецкий, — но Распутин, в свое оправдание, говорил, что он, как и все люди, грешник, а не святой. По словам Распутина, государь после этого его долго не пускал к себе на глаза».

Царский гнев не повлиял на его решение возглавить армию, но положение Распутина ухудшил. На следующий день он выехал из Петрограда — и уже в дороге начались неприятности. «Около часу дня Распутин вышел из каюты пьяный и пошел к солдатам, едущим на том же пароходе из Тюмени в Тобольск, — сообщается в филерской сводке, — вступил с ними в разговор, а затем дал им на чай 25 рублей и заставил их петь песни... Пенье продолжалось около часу, после чего Распутин забрал всех солдат и повел их во 2-й класс, разместил их за столами и был намерен угостить их обедом, но капитан парохода не разрешил присутствовать нижним чинам во 2-м классе... Спустя некоторое время Распутин опять явился к солдатам, поставил их в кружок, сам стал посредине, и все пели хором, причем пеньем руководил Распутин и был в очень веселом настроении... После этого встретил официанта парохода, обозвал его „жуликом“ и сказал, что это он украл у него три тысячи рублей. Официант, попросив некоторых пассажиров быть свидетелями по данному делу, обратился с жалобой к капитану парохода». Тот обещал составить протокол, а Распутин «опять удалился в каюту и у открытого окна, положив голову на столик, что-то долго про себя бормотал, а публика им любовалась. Из публики было слышно: «Распутин, вечная память тебе, как святому человеку». Другие говорили: «Надо его обрить, или машинкой бороду снять». В Покровском мертвецки пьяный Распутин был агентами с помощью матросов вытаснен на берег и взвален на телегу. На следующее утро он «спрашивал агентов относительно вчерашних происшествий, все время ахая и удивляясь, что скоро так напился, тогда как выпил всего три бутылки вина, и добавлял: «Ах, парень, как нехорошо вышло».

Вышло, действительно, не очень хорошо. Можно допустить, однако, что официант вправду обворовал пьяного Распутина, а намерение угостить солдат обедом во всяком случае более человечно, чем приказ капитана выгнать их как «нижних чинов» — миллионы «нижних чинов» проливали в это время кровь на фронте.

Был составлен полицейский протокол об оскорблении официанта и приставании к публике, а затем в губернское жандармское управление поступил донос, что Распутин на пароходе «позволил себе неуважительно отозваться об императрице и ее августейших дочерях». По приказанию губернатора было начато дознание, однако, пишет Белецкий, «факт происшествия этого не был в достаточной степени дознанием установлен, так как многие из пассажиров не были опрошены за нерозыском и неуказанием их заявительницею».

Так, менее чем за неделю после доклада Джунковского царю против Распутина, были начаты два дела — «бытовое» и «политическое» — и материалы по ним пересланы губернатором А. А. Станкевичем и начальником губернского жандармского управления полковником В. А. Добродеевым в Министерство внутренних дел. Губернатор, скорее всего по указанию министра, пригрозил даже задержать Распутина, если тот выедет из Покровского, на что "Распутин плюнул и сказал: «Что мне губернатор-то?» Из Покровского он, правда, не выезжал, ожидая телеграмму от Вырубовой и прося царицу назначить губернатором своего сторонника Н. А. Ордовского-Танаевского.

Присланные ему материалы Джунковскому использовать не удалось. Из донесений агента он обнаружил, что 10 августа Распутин сказал: «Джунковского со службы уволили, а теперь он, может быть, будет думать, что уволили его через меня, а я его не знаю, кто он такой». Не знаю, как к этому отнесся все еще состоящий на службе Джунковский, но 15 августа Щербатов дал ему прочесть записку государя: «Настаиваю на немедленном отчислении генерала Джунковского». Была, видимо, разница докладывать царю против Распутина в ставке, когда царица далеко, или в Царском Селе. Что до «распутинских протоколов», то они остались лежать в Департаменте полиции, ожидая своего часа.

Отставка Джунковского была для сторонников Николая Николаевича сигналом, что влияние Распутина не ослабевает. Чтобы подорвать его позиции, прежде всего была сделана попытка снова раздуть вокруг его имени шум — 16 августа в «Биржевых ведомостях» появилась статья с нападениями на Распутина и его окружение, якобы в связи с выходом его книги «Мои мысли и размышления». Вслед за тем Родзянко пригрозил министру юстиции Хвостову-старшему, что, если против Распутина не будет возбуждено уголовное дело, последует запрос в Думе. Хвостов, при всей неприязни к Распутину, ответил, что для дела нет оснований.

Это была, так сказать, обходная атака на решение царя, между тем развивалась и прямая. В то время как Распутин разгуливал по Покровскому, жалуюсь агентам, что «душа очень скорбит», министры — тоже со скорбными душами — обсуждали, как им переубедить царя. На заседании 19 августа Поливанов, ссылаясь на вчерашнее заявление Московской думы о необходимости «правительства, сильного доверием общества», и о «непоколебимом доверии великому князю как верховному главнокомандующему», предложил просить государя «отсрочить свой отъезд в ставку и смену командования». Кривошеин поставил вопрос, как некогда Витте, — «или сильная военная диктатура, если найдется подходящее лицо, или примирение с общественностью», но предложил компромисс: царь примет командование, оставив Николая Николаевича своим помощником. Горемыкин, считая, что решение царя не будет поколеблено, во всяком случае советовал не подчеркивать популярность великого князя, так как это приведет к обратным результатам.

Быть может, в глазах привилегированной верхушки Николай Николаевич, в отличие от нерешительного царя, отвечал обоим требованиям — сейчас как креатура «общественности», в возможном будущем — как «военный диктатор». Чувствуя колебания почвы под ногами, аристократы хотели уцепиться за «сильную личность»: Самарин кричал об «акте, губящем Россию и монархию», суетился и распекал царя Родзянко, а его приятельница Юсупова, безуспешно пытаясь повлиять на царя через императрицу-мать, паниковала: «Я чувствую, что это начало гибели». Но русская аристократия сходила на нет: перед революцией 1917 года Николай Николаевич, чье самоволие принимали за решительность,

спасовал еще быстрее, чем перед революцией 1905 года.

Министров вопрос о главнокомандующем волновал не с военной точки зрения, а со стороны возможного соглашения с общественными организациями и Думой, сессия которой открылась 19 июля. Развивалась вторая часть кривошеинской стратегии: союз ставки, общественности и правительства, из которого будут удалены «реакционеры», — это и было бы «правительство, сильное доверием общества». Наиболее вероятным кандидатом в его премьеры был сам Кривошеин, и можно полагать, что это он уже заранее подсказал умеренным кругам Думы идею «прогрессивного блока» для поддержки такого правительства.

Как противовес Дурново пытался организовать «правый блок», но безуспешно. Между тем в результате интенсивных переговоров между «умеренно-правыми» и «умеренно-левыми» к 22 августа «прогрессивный блок» из депутатов Государственного Совета и Думы был сформирован. Решили все же из тактических соображений требовать не ответственного перед Думой министерства, но «министерства доверия» — из назначенных царем, но угодных Думе бюрократов и общественников. Удайся этот союз ставки, правительства и Думы, можно было бы меньше считаться с царем и идти путем конституционных реформ, но смещение Николая Николаевича при сохранении премьером Горемыкина разбивало бы всю комбинацию.

20 августа в Царском Селе состоялось заседание Совета министров под высочайшим председательством. «Государь император остается правым, а в Совете министров происходит быстрый сдвиг влево», — резюмировал на следующий день свои впечатления Горемыкин. Царь не внял министрам, и на заседании 21 августа морской министр Григорович предложил в качестве последней попытки представить письменный доклад. Горемыкин возразил, что царь уже объявил свою последнюю волю — «какие же тут возможны письменные доклады». Однако в тот же вечер, собравшись на частное совещание без Горемыкина, министры подписали составленное «наследником славянофилов» Самариним коллективное обращение, закончив его словами:

«Государь, еще раз осмеливаемся Вам высказать, что принятие Вами такого решения грозит, по нашему крайнему разумению, России, Вам и династии Вашей тяжелыми последствиями... Воочию сказалось коренное разномыслие между председателем Совета министров и нами в оценке происходящих внутри страны событий и в установлении образа действий правительства. Такое положение, во всякое время недопустимое, в настоящие дни губительно. Находясь в таких условиях, мы теряем веру в возможность с сознанием пользы служить Вам и родине».

Подписались «Вашего Императорского Величества верноподданные» Харитонов, Кривошеин, Сазонов, Барк, Щербатов, Самарин, Игнатъев и Шаховской. Григорович и Поливанов, полностью соглашаясь с письмом, не подписали его, как связанные военной присягой.

На следующий день царь в Зимнем дворце торжественно открыл заседание Особых совещаний по вопросам обороны и снабжения, созданных из представителей бюрократии и общественности. Царь сказал о своем «полном доверии», ему ответили председатели обеих палат, в зале неожиданно появилась царица с наследником и тоже стали обходить участников совещания. Это был день полного согласия монарха с общественными организациями, принявший даже какую-то трогательную, семейную форму. Министры могли торжествовать — им казалось, что царь внял их письму. В действительности оно еще лежало в его кабинете непрочитанным.

Сразу же после приема царь выехал принимать командование. «Бог с тобой и наш Друг за тебя!» — писала ему вслед царица. «Свидание сошло удивительно хорошо и просто, -телеграфировал ей Николай II на следующий день. — Он уезжает послезавтра, но смена состоялась уже сегодня. Теперь все сделано». Николай Николаевич был назначен

командующим Кавказского фронта, куда он взял с собой и Янушкевича.

Царь настоял на своем, покончив с путаницей двоевластия и взяв на себя ответственность в трудный час отступления. Он считал, что Николай Николаевич должен ответить за неудачи, но нельзя великого князя заменять простым генералом. Но, быть может, главной причиной его решения — царица и Распутин постоянно внушали ему это — была боязнь династического переворота, если не сейчас, так в будущем.

Ездивший к великому князю с письмом от царя о смене командования Поливанов признавался, что «отправлялся в ставку с весьма смутными чувствами, отнюдь не будучи уверен в благополучном исходе моей миссии». В августе 1915 года Николай Николаевич подчинился царю — но поступил бы он так год спустя? «Если наш не взял бы место Ник[олая] Ник[олаевича], то летел бы с престола теперь», — говорил Распутин царице в декабре 1916 года.

Распутин был близок к истине. 1 января 1917 года, по поручению главы Всероссийского земского союза кн. Г. Е. Львова, тифлисским городским головою А. И. Хатисовым было сделано великому князю предложение принять императорскую корону, Николай II должен был отречься за себя и за наследника, а царица заключена в монастырь или выслана за границу. «Я очень вначале волновался, — рассказывал впоследствии Хатисов, — и с большой тревогой слепил за рукой великого князя, который барабанил пальцами по столу около кнопки электрического звонка. А вдруг нажмет, позвонит, прикажет арестовать». Но великий князь не арестовал Хатисова и не доложил царю о заговоре. Три дня вместе с Хатисовым и Янушкевичем он подробно обсуждал этот план и наконец отказался — «мужик и солдат» не поймут насильственного переворота и не поддержат его.

В ответ на постоянные напоминания жены, что «наш Друг» спас его, царь в августе 1916 года возразил, что это сам «Бог сказал» ему написать Николаю Николаевичу — но хватило ли бы у него решимости сделать это без давления Распутина и царицы? Что до Распутина, то слета 1915 года он боялся уже не только и не сколько удаления от царя, сколько удаления царя с престола и заточения царицы, и критерий личной верности царю — «любит папу» тот или иной кандидат в министры или не любит — стал для него решающим при его рекомендациях, особенно к осени рокового 1916 года.

23 августа 1915 года Николай II подписал первый приказ: «Сего числа Я принял на СЕБЯ предводительствование всеми морскими и сухопутными силами, находящимися на театре военных действий», — и, как он писал жене, «прибавил несколько слов довольно-таки дрожащей рукой»: «С твердою верою в милость Божию и с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и не посрадим земли Русской. Николай».

Глава XX

ПЕРВЫЙ ТРИУМВИРАТ. ОХОТА НА РАСПУТИНА

Смену верховного главнокомандующего, вопреки всем историческим предостережениям, армия и страна приняли спокойно. Царь понимал, что он не военачальник и его командование будет скорее символическим, однако к концу августа фронт стабилизировался — и он почувствовал себя уверенно на новом посту, со своим «косоглазым другом» генералом М. А. Алексеевым в роли начальника штаба. Короткий роман с «общественностью» казался теперь царю ошибкой.

Правительство еще пыталось договориться с представителями «прогрессивного блока», но было ясно, что оно себя под контроль Думы поставить не согласится, а Дума с правительством Горемыкина работать не захочет. 1 сентября Горемыкин вернулся из царской ставки с нахлобучкой министрам за их «коллективное письмо», повелением всем оставаться на своих постах, а сессию Думы прервать не позже 3 сентября — стало известно, что готовится запрос о Распутине. Поливанов боялся всеобщей забастовки, Сазонов кричал, что «кровь завтра потечет по улицам», но Горемыкин, не видя связи между рабочими волнениями и думскими заседаниями, ответил старческим голосом: «Дума будет распущена в назначенный день, и нигде никакой крови не потечет». 3 сентября Дума разошлась — скорее к ее собственному облегчению, так как объявлять себя Учредительным собранием она явно не хотела.

Провал комбинации «министерства доверия» выбивал почву из-под ног у министров, приглашенных царем для успокоения Думы. Горемыкин уже пожаловался царице, что «министры хуже Думы». С середины июня почти во всех письмах царю царица нападала на Щербатова и Самарина, обвиняя их в слабости, а главное в том, что оба «против нашего Друга», — сам же «Друг» в начале августа сказал определенно: «Самарин долго обер-прокурором не будет».

Самарин вызвал царское недовольство прежде всего делом двух епископов: Гермогену он разрешил приехать в Москву в связи с занятием Жировицкого монастыря немцами, а Варнаву вызвал из Тобольска в Петербург для объяснений о прославлении им мощей епископа Тобольского Иоанна Максимовича (1651-1715). «Они хотят выгнать Варнаву и поставить Гермогена на его место — видал ли ты когда-нибудь такую наглость?» — спрашивала царя взволнованная царица. Назревал новый скандал, так как Гермоген считался «жертвой» Распутина, а Варнава — не совсем справедливо — его ставленником. Борьба Варнавы с Синодом стала в глазах общества как бы зеркальным повторением борьбы Синода с Гермогеном в 1912 году.

Пятидесятилетний Варнава, сын огородника, никогда в Духовной академии не учившийся и за то прозванный епископами «огородником», а царицей за смышленность и лукавство «сусликом», в 1911 году был назначен епископом Каргопольским, а в 1913-м — уже при поддержке Распутина — Тобольским и Сибирским. Смиттен характеризует его «человеком находчивым и хитрым, с остроумной живой народной речью, хорошим, понятным народу проповедником». Он не был правым, и на вопрос, почему он не открывает у себя отделения Союза русского народа, ответил, что он и так всегда в союзе с русским народом.

По словам Белецкого, «незлобие и отношение к иноверцам создали ему на месте его служения глубокое к нему почитание со стороны последних... Во время приездов своих в Петроград он посещал всех своих знакомых и бывших в милости, и впавших в немилость, относясь так же к последним, как и тогда, когда они были в силе». Хотя и затрудняя ему доступ к царю, но «сделавши ту или иную неприятность владыке, Распутин через некоторое время старался чем-либо исправить ее».

В январе 1915 года Варнава ходатайствовал перед царем и Синодом о «причтении» Иоанна к двухсотлетию со дня его кончины, т. е. к 10 июня 1915 года. Синод, недолюбливая честолюбивого Варнаву, тянул, постановив после частичного открытия тела «продолжать запись и исследование чудес». Варнава решил обойти Синод, и 26 августа царь получил телеграмму: «Владыко просит Ивану Максимовичу пропеть величание своеручно благим намереньям руководит бог Григорий новый» — и прошение от Варнавы «совершить не открытие, а пока хоть прославление, то есть пропеть величание святителю митрополиту Иоанну, о чем горько скорбит народ».

Как и с канонизацией Серафима Саровского, не берусь судить, в какой степени тут играли роль вопросы веры, а в какой политики, — но открытие нового святого отвечало как

интересам Варнавы, так и царской семьи. Для нее было и некоторое добавочное личное чувство в том, что новый святой — из епархии «нашего Друга». 27 августа царь телеграфировал Варнаве: «Пропеть величание можно, но не прославление». Тонкость эта была едва ли доступна сибирским богомольцам, и торжественное богослужение у гробницы Иоанна было понято как открытие Св. мощей.

По словам Варнавы, «величание было встречено удушливыми газами злобы злобных синодских анархистов» — на 7 сентября он был вызван в Синод для отчета, и новый обер-прокурор Самарин решил дать бой «распутинству» в церкви. «Какие ужасы принужден был выслушивать Суслик от своего начальника в течение 3-х часов... — телеграфирует царица царю. — Они почти смеялись над твоей телеграммой, игнорировали ее и запретили продолжать величание». «Я предстал как преступник перед этими синодскими бейлисами кровопийцами родной государь, — описывает сам Варнава эту встречу, — это было сплошное глумление циничный смех и особенно злобствовали Ярославский Агафангел и Финляндский Сергей подойдут к оберу и вполголоса говорят, но так что мне слышно пора спросить как Григория руку целовал, а тот говорит это на следующий раз».

Чувствуя поддержку царя, «на следующий раз» Варнава в Синод не явился, сообщив, что выехал к больной сестре, а на самом деле отсидевшись в Петрограде у князя Андронникова. Уже после смещения Самарина найден был компромисс: «прославление» Иоанна Тобольского было торжественно совершено митрополитом Московским Макарием 9-10 июня 1916 года. Варнава, чьи действия Синод, по желанию царя, «ради мира церковного» покрыл «прощением и любовью», в том же году был возведен в сан архиепископа.

Щербатов не угодил царю и царице разрешением в Москве земского и городского съездов, где один из депутатов сказал, что они понимают власть «с хлыстом, но не такую власть, которая сама находится под хлыстом». «Докажи им теперь всюду, где можешь, что ты самодержавный правитель!» — восклицает царица в письме к мужу, а по поводу «хлыстовского каламбура» добавляет: «Это — клеветническая двусмыслица, направленная против тебя и нашего Друга. Бог их за это накажет. Конечно, это не по-христиански так писать — пусть Господь их лучше простит и даст им покаяться!»

По окончании съездов их представители попросили аудиенцию у царя. «Самозванных уполномоченных», как он их назвал, Николай II принять отказался, а на заседании Совета министров в ставке 16 сентября дал понять, что выбирает новый курс. Царица очень беспокоилась, не спасует ли он перед министрами, несколько раз заклинала перед заседанием расчесаться гребенкой Распутина, писала: «Помни — ты властелин, а не какой-нибудь Гучков». После встречи с министрами царь успокоил ее, что «строго высказал им в лицо свое мнение», и сообщил, что по его возвращении в Совете министров будут перемены.

Вопрос о смене министров — прежде всего министра внутренних дел — обсуждался между царем и царицей еще в августе, и здесь снова возникла кандидатура А. Н. Хвостова, царю симпатичная, но после смерти Столыпина отвергнутая и Распутиным, и Коковцовым. Выжитый Щербатовым из Петрограда, Распутин теперь мог смотреть на Хвостова по крайней мере как на меньшее зло, но Горемыкин был о Хвостове того же мнения, что и Коковцов. «Я надеюсь, что Горем[ыкин] одобрит назначение Хвостова — тебе нужен энергичный министр внутренних дел, — пишет царица 22 августа и успокаивающе добавляет: — Если он окажется неподходящим, можно будет его позднее сменить, беды в этом нет. Но если он энергичен, он может очень помочь, и тогда со стариком нечего считаться».

А. Н. Хвостов, после небрежного обращения с Распутиным в 1911 году принятый царем очень холодно, подал в отставку с поста нижегородского губернатора и позднее был избран в Думу от Союза русского народа. Теперь, едва до него дошли слухи о предстоящей замене министров, он решил не повторять прежних ошибок, а напротив — искать ход к Распутину и

царице. Еще ранее о том же пути к утраченной власти подумал С. П. Белецкий, в январе 1914 года смещенный с должности директора Департамента полиции по настоянию Джунковского. Человек скромного происхождения, обязанный своей карьерой работоспособности и страсти к полицейскому сыску, Белецкий объяснял их расхождение тем, что он «человек из народа», а Джунковский «человек придворный» — Джунковский был против провокационных методов Белецкого и не доверял ему. Как член кружка генерала Богдановича, Белецкий занимал антираспутинскую позицию, но когда Джунковский был смещен из-за попытки свалить Распутина, а положение Щербатова заколебалось, Белецкий, одержимый «стремлением к работе и власти», подумал о кружке царицы, Распутина и Вырубовой.

Связующим звеном между Белецким, Хвостовым, Вырубовой и Распутиным стал князь М. М. Андронников, занятый, по словам Витте, «какой-то странной профессией. Он втирается ко всем министрам, старается оказать этим министрам всякие одолжения, сообщает иногда весьма интересные для этих министров сведения...». Разнося от министра к министру слухи, как пчела пыльцу от цветка к цветку, причисленный к Министерству внутренних дел, а затем к Синоду чиновник девятого класса оказался вхож ко многим представителям власти. Сам Андронников сказал о себе: «Благодатью Божиею я есть то, что есть; человек в настоящем смысле этого слова, но интересующийся всеми вопросами государственной жизни», а более конкретно — желающий «посещать всех министров».

Кроме рассылки министрам икон, а их женам букетов, он, как только узнавал, что какой-нибудь Иван Иванович назначен директором пусть самого маловажного департамента, сразу же отправлял ему письмо, что «наконец-то воссияло солнце правды в России» — судьбы такого-то департамента вручены «в ваши благородные, просвещенные и твердые руки». Завел он дружбу с фельдъегерями, которые заезжали к нему с правительственными пакетами, — и в дни раздачи наград по адресу на конверте не стоило труда определить, кому везут благую весть, задержать немного курьера и первым поздравить награжденного, создав у того впечатление, что Андронников не только знал заранее о награде, но даже сам выхлопотал ее. Пользуясь своими связями, он проводил множество дел, что было источником его существования, — но тут же проживал все это; ежедневно, по словам его камердинера, к нему «народ приходил пить и есть целыми партиями». Главным стимулом Андронникова были не деньги, а какое-то хлестаковское желание «быть в центре событий», при этом определенных политических взглядов у него не было — все действия определялись личными отношениями. Была у него репутация большого богомольца и целый иконостас в спальне, под этим иконостасом спал он с милыми его сердцу молодыми людьми — их за два года перебивало у него более тысячи, иногда прямо с улицы. Женщин он не любил и, по его словам следственной комиссии, разочаровался в Распутине, увидев с ним «девиц известного свойства». «Тут я увидел, что он развратник!» — с пафосом закончил князь.

С Белецким Андронников познакомился в 1912 году, с Распутиным — весной 1914 года, осенью того же года познакомился у него с Вырубовой, а с А. Н. Хвостовым — летом 1915 года, после его речей в Думе о «немецком засилье». Он ли говорил с Вырубовой о Хвостове или она сама, но в конце августа или в начале сентября 1915 года она просила привезти ей Хвостова. На этот раз Хвостов лицом в грязь не ударил, о «Григории Ефимовиче» отозвался с почтением, сообщил, что уже остановил запрос в Думе о нем и в дальнейшем не даст в обиду. Вырубова засомневалась все же, сумеет ли неопытный в полицейских делах Хвостов организовать охрану Распутина, и тут Андронников предложил ей Белецкого. Хвостову было дано понять, что условие его назначения — приглашение Белецкого товарищем министра, заведующим полицией.

Так Хвостов, Белецкий и Андронников образовали «первый распутинский триумvirат» — из претендента на первую роль («министра»), на вторую («советника») и на третью («посредника», который, не занимая официального поста, проводил бы закулисно свои политические или коммерческие интересы). «Распутинским» триумvirат был в том смысле, что заранее считался с Распутиным как политической силой, имея в виду не только не

восстановить его против себя, но прямо на него опереться. Тем более, что со времени отъезда царя в ставку политическая роль кружка царицы, Распутина и Вырубовой начала расти.

17 сентября Хвостова приняла царица, нашла, что он «удивительно умен», «производит прекрасное впечатление», остановит нападки «на нашего Друга» — мажорный тон писем царицы 17 и 18 сентября сбивается только в двух местах: печально, что в Государственный Совет избран Гучков и что глуп искренне преданный Юсупов. 20 сентября Вырубова виделась с Белецким и нашла его «подходящим» на пост товарища министра, одновременно Андронников убеждал Горемыкина не противиться назначению А. Н. Хвостова министром. 23 сентября царь вернулся из ставки с намерением «разрубить гордиев узел». 24 сентября, получив от Вырубовой долгожданную телеграмму, Распутин выехал из Покровского. 26 сентября Щербатов и Самарин получили отставку.

Царь очень любезно принял А. Н. Хвостова, но оставил его в полном недоумении: тот ждал назначения министром, царь же сказал, что ждет с большим интересом его выступлений в Думе. Хвостов не знал, что у лукавого царя уже готово письмо к Горемыкину о его назначении управляющим министерства: оно последовало 27 сентября. Белецкий был назначен 28-го, и в тот же день в Петроград прибыл Распутин. Так что не прав Милюков, повторяя общее место тех лет, что Хвостов «был обязательный кандидат, поставленный Распутиным», — в лучшем случае можно сказать, что Распутин не возражал против его назначения.

Распутин не возражал, но еще отнюдь не одобрил эти назначения. Встреча его с членами триумvirата состоялась на другой день по приезде на обеде у Андронникова. Начал он с упреков Андронникову, что тот провел всю комбинацию в его отсутствие, Хвостову напомнил нелюбезную встречу в Нижнем Новгороде, а Белецкому слежку за ним. Те, как могли, оправдывались — Белецкий, в частности, тем, что при нем не было по крайней мере покушений на Распутина, — и уверяли его, что «на первых порах нашего вступления в должность и его советы и поддержка во дворце сразу нас поставят на правильный путь и охранят от ошибок». А расчувствовавшийся Хвостов так даже руку Распутину поцеловал.

Распутин был не совсем доволен и ролью Вырубовой, посредничавшей между «триумvirатом» и царицей. По поводу обеда Хвостова и Белецкого у Вырубовой царица писала мужу, что «наш Друг» желает, чтобы она жила исключительно интересами царской семьи, но «похоже, что она хочет играть роль в политике. Она так горда и самоуверенна и недостаточно осторожна». Вырубова получила от Хвостова и Белецкого деньги на свой госпиталь — а через Белецкого наводила некоторые полицейские справки.

Между Хвостовым, Белецким и Андронниковым было заранее обговорено, что Андронников будет посредником в случае каких-либо просьб Распутина, будет склонять его к тем или иным действиям в Царском Селе и через Андронникова Белецкий будет выдавать Распутину 1 500 рублей в месяц из сумм Департамента полиции, не считая экстраординарных расходов. Этот полицейский план, явно переоценивший роль денег для Распутина, оказался несостоятельным. Распутин, пишет Белецкий, «была колоссальная фигура, чувствовавшая уже и понимавшая свое значение, что и сказилось на первых же порах». Деньги он принимал спокойно, не разворачивая даже конверта проверить, но посредничество Андронникова отверг и, как только ему было нужно, обращался к Белецкому или Хвостову.

Белецкий более всего нервничал, что жена узнает о его дружбе с Распутиным, у Хвостова же с ним установились отношения «Алешки» с «Гришкой», вместе они кутили в «Вилле Родэ», ездили к цыганам — прошел даже слух, что Распутин сделал Хвостова министром за то, что тот хорошо подтянул хору басом. Но если Хвостов рассчитывал, что это лучший путь «войти в друзья» и «вертеть Гришкой» в Царском Селе, то скоро понял, что он ошибается, скорее эта необходимость личного контакта придавала ему с Белецким окраску «распутинцев» в глазах общества.

Между тем они задумали манипулировать «общественностью» так же, как Распутиным. Их программа сводилась к централизации беженского и продовольственного вопросов в Министерстве внутренних дел (для улучшения снабжения предполагались ревизии железных дорог и открытие с помощью полиции рабочими кооперативами лавок — смягченный вариант зубатовщины); формированию из разрозненных групп в Думе «единой правой» в поддержку правительства; борьбе с «немецким засильем» в банках и, наконец, негласному использованию прессы путем реорганизации Осведомительного бюро и покупки ряда газет. Во главе бюро — прообраза Министерства пропаганды — был поставлен И. Я. Гурлянд, сын одесского раввина, некогда привлеченный Столыпиным руководить официозом «Россия» для пропаганды русского национализма. При попытке приобрести акции популярного «Нового времени» выяснилось, что значительная их часть уже скуплена Дмитрием Рубинштейном, чтобы изменить антисемитское направление газеты. Акции эти он правительству уступил.

Думский опыт дал сорокатрехлетнему joviallyному Хвостову некоторую гибкость. В своем газетном интервью — что уже было новостью — он говорил о «сильной власти», но и о том, что «власть должна пойти на уступки. Я — человек твердый и уступок не боюсь». Умеренная часть общества приняла его назначение скорее положительно — а своей демагогией о «борьбе с дороговизной» и «немецким засильем» он мог импонировать массам.

Он понимал, что в настоящем правительстве его возможности ограничены, и начал выдвигать «своих людей». Первым ему удалось провести на пост обер-прокурора Синода своего свойственника Волжина. На место ушедшего в отставку Кривошеина удалось провести А. Н. Наумова, после чего Хвостов начал кампанию против министра финансов Барка, надеясь заменить его В. С. Татищевым — и царица уже упомянула в письме к мужу, что Татищев «очень любит нашего Друга». Но конечной для А. Н. Хвостова целью было столкнуть Горемыкина и «взять власть в свои руки».

Упоенный своим новым постом, Белецкий во всем поддерживал Хвостова, даже в своих показаниях он все время повторяет «мы», а первое время, пишет Спиридович, «буквально не отходил от Хвостова, и когда тот делал визиты, сопровождал его в автомобиле и терпеливо дожидался в нем его возвращения». Быть может, в случае назначения Хвостова премьером Белецкий рассчитывал на пост министра внутренних дел. Но Хвостов, в еще большей степени, чем Горемыкина, желал устранить навязанного ему Белецкого. Белецкий не подпускал его к контролю над полицией, а по словам Хвостова, министр внутренних дел без Департамента полиции все равно что «кот без яиц».

Раньше или позже, но предстояло созывать думскую сессию, Хвостов с Белецким хотели как можно дальше дистанционироваться от Распутина, не портя в то же время отношений с ним, чтобы он не помешал планируемой ими смене министров. Они задумали удалить его из Петрограда, предложив поездку по монастырям, — Хвостов собирался доложить царю, что эта поездка Распутина «не только в интересах умиротворения Государственной Думы», но и свидетельствует «о религиозных порывах духовной стороны его натуры». Сопровождать Распутина приглашен был игумен Тюменского монастыря Мартемиан, знакомый Хвостову по Вологде. Получил он за свое согласие чин архимандрита и несколько тысяч «на дорогу», Распутин, которого Белецкий осторожно шантажировал лежащими в Департаменте полиции делами о скандале на пароходе и оскорблении царицы, от поездки не отказывался, но тянул и ставил условием назначение губернатором в Тобольск своего друга А. Н. Ордовского-Танаевского. В ноябре 1915 года тот был назначен, и тут же Распутин заявил, что никуда не поедет, а улаживать «пароходные дела» взялся новоназначенный губернатор.

Скорее всего, отказ от поездки спас жизнь Распутину. По словам Хвостова, он поручил Мартемиану в дороге столкнуть Распутина под поезд, на что тот охотно согласился. Разрушена была и другая комбинация Хвостова: назначить тобольским губернатором теперешнего вице-губернатора, а на его место перевести из Вологды преданного Хвостову исправника Алексина — для организации убийства Распутина, если бы попытка Мартемиана

не удалась. Но Хвостов не отказался от своих планов, считая, что устранение Распутина откроет ему прямую дорогу и к царю, которого он надеялся подчинить своему влиянию, и к обществу, перед которым он предстанет как спаситель от «темных сил». Тогда никакой нужды ни в Белецком, ни в Андронникове, чьими руками он теперь рассчитывал устранить Распутина, у него не будет. «Но это было самомнение, которое свойственно каждому человеку, — заметил он впоследствии, — на самом же деле вышло несколько иначе».

Споры между Хвостовым, Белецким и Андронниковым из-за распределения министерских должностей между их ставленниками, а также между Андронниковым и Распутиным из-за денежных сделок привели Белецкого к мысли отделаться от Андронникова. Как на человеке, который мог бы войти в доверие к Распутину, организовать слежку за ним, устроить конспиративную квартиру для свиданий с министром и его товарищем и охранить их от его постоянных требований, Белецкий остановился на жандармском полковнике Комиссарове.

Михаил Семенович Комиссаров — «высокий здоровенный мужчина с красным лицом и рыжей бородой — настоящий Стенька Разин» — был фигурой легендарной. Во время русско-японской войны ему удалось выкрасть шифры иностранных посольств, в революцию он печатал погромные листовки в Департаменте полиции, пока об этом не узнал Витте. С 1909 года он посылался начальником отдаленных жандармских управлений, где вынужден был заниматься расследованиями, кто написал «на стенах отхожего места на базарной площади г. Петровска — „Емпиристрица Сашка торгует в кобоке царь Николашка ебется в бардаке. На хуй монархию, да здравствует революция!“ — с другой стороны доски имеется надпись безнравственного содержания, к делу не относящаяся». Не удивительно, что он обрадовался возможности возвращения в Петроград, единственным условием поставив «во всех случаях общения с Распутиным быть не в офицерской форме, которую он не желает ронять, а в штатском платье».

Комиссаров при встрече произвел на А. Н. Хвостова сильное впечатление, но Белецкого поразило, что он держит себя с министром все более небрежно. На упрек Белецкого он ответил, что не увидел у Хвостова «никаких государственных или идейных соображений... Зная близко и представляясь многим министрам внутренних дел, он, Комиссаров, в А. Н. Хвостове не мог почувствовать министра внутренних дел». 25 октября Комиссаров был назначен начальником Варшавского губернского жандармского управления с временным прикомандированием к Петроградскому управлению в связи с занятием Варшавы немцами — и под этой «крышей» начал организацию «охраны» Распутина. Комиссаров скоро стал своим человеком в доме Распутина. По словам Белецкого, домашние называли его «наш полковник», по словам же Комиссарова, звали его не «наш полковник», а «антихрист». Он обычно приходил к Распутину утром, узнавал новости и старался склонить Распутина к нужным министру и его товарищу планам.

23 ноября 1915 года А. Н. Хвостов был утвержден в должности министра, решил, что его положение при дворе достаточно крепко, и начал говорить Белецкому, «что теперь Распутин нам не только совершенно не нужен, но даже опасен... избавление от Распутина очистит атмосферу около трона... пошатнет положение Вырубовой», в расходах же «на организацию этого дела можно не стесняться». Но Белецкий не был уверен, что убийство Распутина надолго отвлечет раздражение общества от царя и царицы, а Комиссаров, убийство одобряя, все же предупреждал, что Хвостов в Царском Селе укажет на Белецкого как на виновника гибели «старца», а перед Думой припишет эту «честь» себе. Поэтому Белецкий с Комиссаровым решили противодействовать планам Хвостова, внешне разыгрывая полное согласие.

После покушения Гусевой Распутин стал бояться за свою жизнь, может быть, он и пил столько, чтобы заглушить страх. Ему звонили, угрожая: «Твои дни сочтены!» — на что он отвечал: «Ты сам скорее подохнешь как собака!» Получал он анонимные письма, например, с угрозой, что если в течение недели не будет дано ответственное министерство, «то тебя

убьем пощады не будет — рука у нас не дрогнет, как у Гусевой». В июне неизвестная женщина появилась в Покровском и неожиданно исчезла. В ноябре неизвестная женщина расспрашивала у швейцарихи, когда и где бывает Распутин, и просила не говорить о ней агентам. Более всего Распутин нервничал в министерстве Щербатова и Джунковского, опасаясь, что полиция даст его хладнокровно зарезать, жена его говорила Вырубовой, что боится за его жизнь, а царица писала царю об этом. «Меня хотели похоронить, но теперь самого раньше похоронили», — сказал Распутин о смещении Щербатова. Назначение Хвостова и Белецкого успокоило его — но как раз отсюда и угрожала ему опасность. После несостоявшейся попытки Думбадзе утопить Распутина в 1913 году развивался новый полицейский заговор — на этот раз во главе с самим министром.

Обсудили несколько вариантов — Хвостов входил в детали и «даже высказывал желание лично принять участие в деле». «Нельзя ли как-нибудь, когда Распутин поедет пьянствовать, его пришибить?» — предложил он самый простой план. Решили послать за Распутиным автомобиль под видом приглашения к знакомой даме, в глухом переулке автомобиль замедлял бы ход, в него вскакивали люди Комиссарова, оглушали Распутина, затягивали ему на шею петлю и бросали в Неву. Белецкий, однако, указал на слабые места плана: трудно будет удалить филеров охранного отделения и найти даму, к которой бы Распутин поехал, не позвонив предварительно по телефону и не вызвав подозрения домашних. Вместо «дамы» завербовал Белецкий журналиста М. А. Снарского, знакомого Распутину, который должен был пригласить его на вечеринку — но или сам Снарский не хотел быть замешан в убийстве, или заговорщики ему полностью не доверяли, но решили не убить, а хорошенько избить Распутина для острастки. Декабрьским вечером 1915 года в переулке были расставлены филеры Комиссарова — все надежные костоломы, — Хвостов, Белецкий и Комиссаров осмотрели место, но Снарский струсил и не пригласил в этот вечер Распутина.

Белецкого и Комиссарова пугала болтливость Хвостова, который заранее раструбил, что Распутина избили — эти слухи попали и в воспоминания Родзянки, — и многих посвящал в свои планы. Замысел убийства одобрила подруга Родзянко З. Н. Юсупова, и от нее Хвостов узнал о полной поддержке великокняжеской среды. Он говорил об этом с дворцовым комендантом Воейковым, и тот намекал Белецкому не тянуть с убийством. С той же целью посылал к нему Хвостов правых депутатов Думы Маркова 2-го и Замысловского, а к Комиссарову члена Государственного Совета А. Ширинского-Шихматова. Все это только усиливало желание Белецкого и Комиссарова как-нибудь уклониться.

Чувствуя уклончивость Белецкого, Хвостов рвал и метал, грозился сам пристрелить Распутина и наконец вступил в непосредственные переговоры с Комиссаровым, предлагая ему за убийство 100 000 рублей, после чего тот должен будет бежать за границу. Чтобы успокоить Хвостова, Белецкий и Комиссаров предложили добавить Распутину в вино яд, который Комиссаров достанет в Саратове у своего бывшего агента, помощника провизора. Хвостов ухватился за это и даже предложил послать ящик отравленного вина якобы от банкира Д. Л. Рубинштейна, чтобы свалить убийство на евреев, но Белецкий снова предостерег, что Распутин может позвонить Рубинштейну поблагодарить его — и обман раскроется.

По возвращении Комиссарова из Саратова, в январе 1916 года, Белецкий застал его в кабинете министра «сидящим на диване с Хвостовым и объясняющим, как профессор, свойства каждого яда, степень его действия и следы разрушения, оставляемого в организме...» В довершение всего Комиссаров рассказал А. Н. Хвостову, что он перед тем как идти к нему сделал на конспиративной квартире в присутствии филера-лакея опыт действия одного из привезенных им ядов на приبلудившемся в кухне коте, и живо описал Хвостову, как этот кот крутился, а потом через несколько минут сдох. Этот рассказ доставил А. Н. Хвостову, видимо, особое удовольствие, он несколько раз переспросил Комиссарова, а затем... расспрашивал и упомянутого лакея.

Белецкому, однако, Комиссаров сказал, что во флаконах у него были вовсе не яды, а пирамидон с сахаром, и что историю с котом он выдумал, чтобы успокоить Хвостова, и так же велел говорить филеру. Хвостов, однако, позднее утверждал, что Комиссаров «отравил всех кошек на квартире Григория», а Распутин при виде их воскликнул: «Это князь Андронников перетравил кошек!» «Молва шла, что я всыпал яд в молоко кошкам, — показывал Андронников, который „в душе“ против убийства Распутина „ничего не имел“, — но я там даже не бывал! Это испортило мои отношения с Распутиным. Вырубова, очевидно, в это поверила, потому что после этого я ее не видел, как своих ушей...» Скорее всего, слух про Андронникова пустил Хвостов, Белецкий или Комиссаров, чтобы отвести подозрения от себя, и был все же яд настоящий, и кот умер в муках, доставив удовольствие Хвостову, как Илиодору когда-то доставило удовольствие наступать щенку на хвост.

Глава XXI

ВТОРОЙ ТРИУМВИРАТ. ОХОТА НА РАСПУТИНА

Белецкий уговаривал Хвостова повременить с убийством Распутина, пока тот не проведет его в министры-председатели. Но Хвостов уже не рассчитывал на Распутина, избегал встреч с ним и хотел с ним покончить до отставки Горемыкина — не для того он подкапывался несколько месяцев под старого премьера, намекая в Царском Селе, что тот не способен прийти к соглашению с Думой, чтоб на освободившееся место Распутин провел кого-то другого. «Распутин сам говорил, что я молод, — показывал впоследствии Хвостов, — что царь хочет меня сделать председателем Совета министров, но что это не нужно, что нужно посадить надо мной „старшего“...»

«Прогрессивный блок» добивался открытия думской сессии ранее намеченного на ноябрь срока, напротив, Горемыкин как монархист старого закала считал, что собирать Думу следует как можно реже и на как можно более короткий срок, и предлагал оттянуть созыв. Распутин, боясь, что Дума «ошибает» Горемыкина, действительно думал о преемнике — и 12 ноября 1915 года ходил «как проситель... смотреть старого Хвостова». Пришел он, как обычно ходил «смотреть душу» того или иного сановника, с пустяковой просьбой, а «потом, — показывал Хвостов-старший, — он начал говорить об общем положении дел, на что я сказал, что не призван рассуждать с ним на такие высокие темы, встал, и он от меня ушел». Так что «осмотр душ» для Хвостова-дяди оказался так же неблагоприятен, как для Хвостова-племянника четыре года назад.

Белецким и Комиссаровым, втайне от А.Н. Хвостова, Распутину было устроено свидание с бывшим министром юстиции Щегловитовым по прозвищу «Ванька-Каин». Он «угостил Распутина чаем и мадерой, поговорив с ним об общих вопросах, но ничего реального ему Распутин не сказал». Несмотря на чай с мадерой, не удовлетворенный и Щегловитовым, Распутин предложил новый план, полностью одобренный царицей: Горемыкин останется председателем, но на несколько дней «заболеет», и Думу откроет сам царь. Николай II, колеблясь и оттягивая окончательное решение, 23 ноября 1915 года подписал указ об отсрочке созыва Думы.

В конце ноября Распутин встретился с Горемыкиным, но к единому мнению они не пришли. Распутин считал, что Думе «нужно оказать доверие» или по крайней мере дать возможность выговориться: «Потому когда русский человек орет, он никогда злое не сделает, а вот когда молчит, когда у него на сердце, то держись...» Горемыкин возражал, что Думу следует собрать на короткий срок только для рассмотрения бюджета и если она его на этот срок рассмотреть не успеет, то все равно распустить.

Горемыкин был приятен царю и царице. Помня, что на Распутине споткнулись оба его предшественника, он и с ним поддерживал хорошие отношения, руководствуясь советом смотреть на вещи «как можно проще», который он дал своему коллеге князю В. С. Шаховскому: «Что от вас убудет, если вы примете одним прохвостом больше?» "Мы вошли вдвоем с Распутиным, — описывает князь Андронников первый такой «прием». — Горемыкин попросил его сесть: «Ну, что скажете, Григорий Ефимович?» Распутин посмотрел на него долгим взглядом. Горемыкин ему отвечает: «Я вашего взора не боюсь! Говорите, в чем дело?» Тогда он его хлоп по ноге — и говорит: «Старче Божий, говоришь ли ты всю правду царю?» Тот опешил, посмотрел на меня вопросительным взглядом и говорит: «Да. Все, что меня спрашивают, об этом я говорю». После короткого разговора о снабжении Петрограда Распутин сказал: «Ну, старче Божий, на сегодня довольно!»

Распутин уживался со «старче Божиим», еще в октябре замыслил он добиться для него чина канцлера и поручить иностранные дела, сместив англофила Сазонова. «Он говорит, что старик так премудр, — пишет царица. — Когда другие ссорятся и говорят, он сидит расслабленно, с опущенной головой. Но это потому, что он понимает, что сегодня толпа воеет, а завтра радуется, и что не надо дать себя унести меняющимся волнам... По-Божьему не следовало бы его увольнять». Но по-человечьему выходило все же с Горемыкиным расставаться.

Едва ли Распутин относился с большей, чем Горемыкин, симпатией к Думе, имея от нее уже много неприятностей и ожидая еще больше. Считал он также, что один царь лучше будет управлять Россией, чем пятьсот помещиков, заводчиков, попов и профессоров. Он, однако, находил, что, пока война не выиграна, ссориться с Думой, а уж тем более разгонять ее нельзя, что царь — даже по характеру — слишком слаб, чтобы бороться сейчас за роль самодержца. Напротив, посоветовал он царю дать орден Родзянке, чтобы привлечь его на свою сторону и одновременно скомпрометировать в глазах левых, — и 6 декабря Родзянке была пожалована Анна 1-й степени. Пытался Распутин сам сблизиться с некоторыми депутатами, в частности с М. А. Карауловым, «левым», казачьим писателем и впоследствии первым выборным атаманом Терского казачьего войска. В общем Распутин угрожал Думе не более, чем красная тряпка быку, — и если бы Дума на него так слепо не бросалась, он шел бы ей навстречу.

В нервной обстановке слухов то ли о смещении Горемыкина, то ли о разгоне Думы сложился «второй распутинский триумvirат» — из Бориса Владимировича Штюрмера («министра»), митро-полита Питирима («советника») и Ивана Федоровича Манасевича-Мануйлова («посредника»).

Не ясно, кто первый выдвинул кандидатуру шестидесятивосьмилетнего Штюрмера на пост председателя Совета министров: царица или Распутин, с которым Штюрмер был знаком с 1914 года и которого находил «достойным внимания человеком», который «считает себя провидцем», говорит «очень категорично и очень ясно», «делает много добра и отдает все, что имеет».

7 января 1916 года царица советует царю подумать о Штюрмере, царь опасается, что тот «недостаточно молод и современен», 9 января царица передает совет Распутину взять в таком случае Штюрмера «на время» — если Штюрмер недостаточно молод, то А. Н. Хвостов, о котором думал царь, слишком молод. Царя смущала немецкая фамилия Штюрмера, и тот хотел сменить ее на «Панина», по матери, но Распутин сказал, что этого не нужно, — то ли считал, что смена фамилии скорее подчеркнет немецкое происхождение, то ли думал, что «Штюрмер» будет податливее «Панина».

Кроме немецкой фамилии, все прошлое Штюрмера говорило, что он едва ли сумеет успокоить общество. После двухлетней службы в Министерстве внутренних дел намечался он в 1904 году, после убийства Плеве, на пост министра, но выбран был «либерал»

Святополк-Мирский — и в течение двенадцати лет Штюрмер жил с горьким чувством ускользнувшей власти. В Государственном Совете занимал он крайне консервативную позицию, общество не забыло ему погром Тверского земства в 1903 году, а в 1914 году Коковцов воспрепятствовал его назначению московским городским головою, чтобы не дразнить первопрестольную столицу. На вопрос, с какой политической программой он пришел к власти на второй год великой войны и за год до великой революции, Штюрмер впоследствии ответил: «Я полагал, что нужно сохранить то положение, которое было, — стараться без столкновений, без ссор, поддержать то, что есть... А завтра будет видно, что будет дальше». Его и приглашали в надежде на большую, чем у закостеневшего Горемыкина, способность лавировать, «прагматизм», как сказали бы сейчас, — ничего не меняя, нужно было пролить масло на воду, а там «будет видно, что будет дальше».

Царь все же сомневался, и тут решающую роль сыграл митрополит Питирим. В 1914 году, при поддержке Распутина, сделан он был экзархом Грузии, а со смертью митрополита Киевского и Галицкого Флавиана Петроградский митрополит Владимир был в ноябре 1915 года переведен в Киев, чтобы Питирим занял митрополичью кафедру в столице. Кличка «распутинца» и гомосексуальные наклонности, в среде монашества не редкие, затруднили его положение в Петрограде, между тем он был одним из наиболее либеральных епископов, терпимым к инаковерующим, сторонником реформы церковного прихода на выборных началах, обеспечения белого духовенства и сотрудничества правительства с Думой.

Вскоре по назначении он заявил в газетном интервью, что «горе церкви, когда пастыри вместо прямого дела — служения церкви — занимаются политикой», — и месяц спустя, уже «церкви на радость», во все тяжкие пустился в политические интриги. Услышав в начале января о возможном назначении Штюрмера, он попросил журналиста Манасевича-Мануйлова устроить с ним встречу. Штюрмер уверил Питирима, что он за сотрудничество с Думой, и обещал преодолеть сопротивление обер-прокурора Синода Волжина в деле приходской реформы. После этого Питирим послал царю телеграмму с просьбой принять его, и 12 января царь в ставке выслушал его уговоры открыть Думу и взял записку о необходимости «практического» премьера, запив и заев эти добрые советы вином и хлебом с «именин нашего Друга». Чтобы рассеять последние сомнения царя относительно Штюрмера, Распутин послал 13 января телеграмму, что «сам Бог его исповедует радости истинной». 18 января, на третий день по приезде в Царское Село, царь встретился со Штюрмером, и 20 января 1916 года последовало его назначение.

Рассчитывая на поддержку Распутина, но не желая прослыть «распутницами», Штюрмер и Питирим, повторяя несбывшиеся планы Хвостова и Белецкого с Андронниковым, решили посредничество между ними и Распутиным предложить Манасевичу-Мануйлову, старому знакомому Штюрмера. Иван Федорович Манасевич-Мануйлов прозван был «русским Рокамболом». Сын сосланного в Сибирь мошенника, был он усыновлен богатым купцом Федором Мануйловым, сначала променяв иудаизм на православие, а затем православие на лютеранство. По приезде в Петербург он попал в число «духовных детей» князя Мещерского, устроившего его на службу в Императорское человеколюбивое общество. В дальнейшем любовь к человечеству Мануйлов проявлял как агент политической полиции, занимаясь подкупом французских газет, слежкой за русскими революционерами, за католическими миссионерами, за японскими дипломатами, и выполнял другие требующие ловкости поручения, вроде переговоров с Георгием Гапоном. Всюду он обнаруживал денежную нечестность и вел двойную игру, так что в 1906 году был уволен в отставку, а в 1910 году у него был проведен обыск по подозрению в связях с «охотником за провокаторами» В. Л. Бурцевым. С Бурцевым он поддерживал отношения до самой революции, сообщая ему раздобытые в полиции сведения, но точно так же выдавая полученные от него сведения полиции. С 1906 по 1915 год занимался он журналистикой и проведением коммерческих дел, часто шантажных. С назначением Штюрмера был он, по просьбе последнего, причислен к Министерству внутренних дел с откомандированием в распоряжение председателя Совета

министров, после чего стал представляться как секретарь Штюрмера.

Распутин встретил его настороженно, не забыв интервью о банях в 1912 году: «Я те все говорил для души, а у ты вышло все для гумаги», — но Мануйлов сумел сойтись и с Распутиным, взял на себя часть секретарских обязанностей, нанял машинистку писать под диктовку Распутина, так что ему оставалось только ставить наверху крестик и расписываться, — солидная постановка дела очень понравилась Григорию Ефимовичу. Из канцелярии Штюрмера Мануйлов получил автомобиль, на котором они с Распутиным могли разъезжать, отрываясь от слежки филеров Хвостова, Белецкого и Комиссарова.

Уже на следующий день по назначению Штюрмера А.Н. Хвостов встретился с лидером «прогрессивного блока» Милюковым, а затем Штюрмер с Родзянко, и было условлено, что Думу созовут 9 февраля в обмен на обязательство не поднимать там вопроса о Распутине. Неожиданно для многих в этот день Думу посетил царь, после молебна «от всей души» пожелавший «Государственной Думе плодотворных трудов и всякого успеха». Казалось, единение царя и Думы открывает новую эру. Конечно, этот символический жест ничего не мог изменить по существу, но хотя бы оттянул разрыв — под эту сурдинку проскочила и бледная речь Штюрмера. «Все депутаты, без различия партий, были приятно поражены... — вспоминает Родзянко. — В среде царской семьи шаг государя был встречен с большим одобрением. Недовольна была только императрица: она резко говорила против по научению своего злого гения».

В действительности идея посещения Думы, приписываемая либералами своему влиянию, впервые была выдвинута именно Распутиным: «Наш Друг сказал... что ты должен неожиданно вернуться и сказать несколько слов при открытии Думы», — писала царица мужу еще 15 ноября 1915 года. "Месяца за два-три до посещения бывшим императором Государственной Думы... — показывал А. Н. Хвостов, — Распутин пригласил филеров чай пить, и кто-то из этих господ спрашивает его: «Что ты, Григорий Ефимович, грустный? Что задумался?» Он говорит: «Сказано мне подумать, как быть с Государственной Думой... а как ты думаешь?» Тот говорит: «Мне нельзя думать об этом, а то мне от начальства влетит». Распутин говорит: «А знаешь что — я его пошлю самого в Думу: пускай едет, откроет, и никто ничего не посмеет сделать». За несколько дней до открытия Думы Мануйлов с беспокойством говорил Распутину о интригах против ее созыва. "Он стал бегать по комнате, — показывал Мануйлов, — а потом говорит: «Ну ладно, папаша придет в думу, ты скажи этому старикашке (Штюрмеру), что папаша будет в думе, и если его спросят, чтобы он не артачился». «Оригинальный и удачный день», — записал царь в своем дневнике после посещения Думы.

Назначение Штюрмера, при явной поддержке Распутина, вывело из себя А. Н. Хвостова и укрепило его решение покончить с Распутиным как можно скорее. Не доверяя уже ни Белецкому, ни Комиссарову, он решил действовать через «своих людей». Сначала есаул Каменев, одиннадцатилетний при Хвостове для «поручений», взялся организовать убийство с помощью трех знакомых стражников и своего брата, опытного шофера, — снова предполагалось заманить куда-то Распутина и убить в автомобиле по дороге. Каменев, однако, оказался неподходящей фигурой. «Он казак, который бы на все пошел... — докладывал позднее Хвостов следственной комиссии. — Но казак тоже иногда ничего не может сделать! Он человек провинциальный...»

Но нашелся и человек «столичный» — Борис Михайлович Ржевский, привлекавшийся некогда к ответственности за мошенничество, выреченный Хвостовым, пристроенный им сначала в правые нижегородские газеты, а затем устроившийся и в левые петроградские. В 1912 году он проник в монастырь к заточенному Илиодору, в 1914 году написал под диктовку Сухомлинова статьи о готовности России к войне, а во время войны стал уполномоченным Красного Креста. Хвостов пристроил его информатором в Департамент полиции, на жалованье 500 рублей в месяц, поручив на средства департамента организовать клуб журналистов в Петрограде.

Вспомнив о его знакомстве с Илиодором, Хвостов предложил Ржевскому отправиться к нему в Христианию для совместной организации убийства Распутина. Хвостов разработал Ржевскому двойную «крышу»: формальным предлогом поездки была покупка в Скандинавии мебели для клуба журналистов; для царя, стань ему известно о поездке, было заготовлено объяснение, что Хвостов командирует Ржевского к Илиодору (Труфанову) выкупить его рукопись «Святой черт» или хотя бы воспрепятствовать ее публикации до конца войны. Книгу эту, направленную прямо против Распутина и косвенно против царской семьи, Труфанов начал в 1913 году, сразу после снятия монашеского сана, и закончил за границей, благодаря тому, что товарищ министра заведующий полицией Джунковский разрешил — в качестве очередного антираспутинского шага — жене Труфанова вывезти за границу его архив. В действительности Хвостов уже знал из доклада Белецкого, что права на издание куплены у Труфанова одним из русских издателей и экземпляр рукописи находится в Москве.

Белецкий понимал, что Штюрмер и Хвостов долго не уживутся — либо Хвостов попытается повалить Штюрмера, чтобы занять желанное место председателя, либо Штюрмер подкопается под Хвостова, чтобы получить важное Министерство внутренних дел. Узнав по филерским сводкам, что уже на второй день по назначении Штюрмер встретился с Распутиным, Белецкий сообразил, что Распутин проводил в премьеры не Хвостова, а Штюрмера. К тому же Хвостов, желая держать в руках Питирима, уличил его в свиданиях с Распутиным — но тем самым только нажил в митрополите злейшего врага. При коалиции Распутина, Штюрмера и Питирима против Хвостова Белецкий призадумался, стоит ли далее связываться с ним свою судьбу.

«Дело Ржевского» представляло для товарища министра лучшую возможность покончить и с Хвостовым, и со своим двусмысленным положением «заговорщика». Хвостов, Ржевский и Труфанов были отчаянные болтуны, но «слова к делу не подошьешь», и Белецкий начал подбирать документы. Прежде всего, выдав Ржевскому 5000 рублей на дорогу, он посоветовал Ржевскому попросить у Хвостова разрешение на приобретение иностранной валюты — тот, в нетерпении убрать Распутина, подписал отношение в кредитную канцелярию. Как только Ржевский выехал из Петрограда, Белецкий, ранее через агентуру установив, что тот торгует железнодорожными литерами Красного Креста, приказал назначить расследование и подготовил доклад министру о необходимости высылки Ржевского. Далее, при переезде границы жандармский офицер стал чинить Ржевскому и его жене препятствия, тот вспылил, обозвал офицера «хамом», раскричался, что едет по специальному заданию министра, — и об этом тотчас был составлен протокол.

В конце января, пока Хвостов в Петрограде сговаривался с думскими лидерами, что те не будут задевать Распутина, его агент в Христиании обсуждал с Труфановым план убийства «старца». Остановились на том же плане: используя свою жену как приманку, Ржевский под видом шофера повезет к ней Распутина, притормозит в глухом переулке, где в машину вскочат пять царицынских приятелей Труфанова, а после убийства сбросят тело в прорубь на Неве. На организацию выезда пятерых человек из Царицына в Петроград Труфанов запросил 5000 рублей, оплата ему самому должна была идти отдельно. Ржевский немедленно телеграфировал Хвостову о необходимости выдачи денег лицам, намеченным для убийства.

В первых числах февраля Белецкий пригласил вернувшегося в Петроград Ржевского и, с документами на руках, заставил его признаться во всем, а затем доложил министру о злоупотреблениях Ржевского литерами и необходимости его высылки. Белецкий не говорил Хвостову, что ему известна подноготная дела, а тот делал вид, что ему безразлична судьба Ржевского. Теперь Белецкий решил не выдавать Хвостова Распутину, но держать его «делом Ржевского» в руках. Возможно, как ранее Хвостов рассчитывал избавиться от Распутина руками Белецкого, а затем уволить его, так теперь Белецкий рассчитывал выждать убийство Распутина руками Хвостова-Ржевского-Труфанова и посмотреть, кто без Распутина овладеет волей царя. Если Хвостов, то при назначении его премьером потребовать себе место министра внутренних дел, шантажируя его разоблачением. Если Штюрмер, то выдать

Хвостова царю и получить его место в правительстве Штюрмера. Чтобы не помешать людям Труфанова и создать «алиби» себе самому, он решил убрать от Распутина Комиссарова и его агентов. Хвостову он сказал, что делает это для облегчения планов убийства, а Комиссарову поручил, упрекнув Распутина за тайные поездки, которые делают охрану невозможной, все же проститься с ним дружески.

Белецкий имел все козыри на руках, но, как человек хотя и хитрый, но нерешительный, он в конце концов перехитрил самого себя. «Дело Ржевского» — при необычайной болтливости его участников — скоро из достояния Белецкого стало общим достоянием. Ржевский еще до поездки в Норвегию рассказывал своему компаньону по клубу журналистов В. В. Гейне, что получил важное задание от Хвостова, показывал ордер на иностранную валюту, хвастал, что у него будут большие деньги, — теперь, напуганный угрозами Белецкого об аресте, он бросился к Гейне за советом. В тот же день, 4 февраля, Гейне рассказал все Симановичу, а тот Манасевичу-Мануйлову. Тот уже слышал о попытке убийства от самого Распутина на вечере у Снарского, но принял за поэтическое преувеличение его слова: «Вот видишь — моя рука: вот эту руку поцеловал министр, и он хочет меня убить». Теперь же, получив известия от Симановича, Мануйлов немедленно, в 12 часов ночи, позвонил Штюрмеру, у которого на 8 февраля был назначен доклад царю.

— Милейший Алексей Николаевич Хвостов... в роли убийцы. Это напоминает водевиль! — воскликнул Штюрмер, который, по словам Мануйлова, «отнесся к этому крайне недоверчиво: говорил, что это фантазия и, вероятно, — как он сказал, — какие-нибудь жидовские происки и шантаж против Хвостова, который ненавидит жидов». Не обещая, что он доложит царю, Штюрмер на следующий день попросил все же привести ему Симановича и после разговора с ним поручил Мануйлову негласно расследовать дело и допросить Гейне и жену Ржевского.

С начала поездки Ржевского Хвостов и Белецкий старались чаще и самым дружеским образом встречаться с Распутиным, чтобы не вызвать подозрения у него. По-видимому, о планах убийства он впервые услышал от Снарского, вслед за тем последовал уход Комиссарова — обрадовавшись возможности развязаться с Распутиным, он не только не простился с ним «дружески», но «по-русски обратился и очень неприлично отозвался о дамском обществе», затем Распутин получил покаянное письмо совсем потерявшего голову Ржевского, услышал подробный рассказ Симановича — и двинул в бой «тяжелую артиллерию».

«6 февраля 1916 года звонит телефон из Царского Села, — показывал генерал Беляев, помощник военного министра, ведавший контрразведкой, — и Вырубова мне заявляет, что императрица Александра Федоровна желает со мной переговорить... Это было в первый и единственный раз, что она меня вызвала. Я был очень смущен». Еще более смущен он был, когда в тот же вечер в Царском Селе Вырубова, «страшно нервная дама... с костылем», сообщила ему, что на Распутина собираются сделать покушение и она просит его предотвратить это. Вслед за тем вышла императрица и сказала, что она очень привязана к Вырубовой, жалеет ее и что очень хотела бы ей помочь. На следующий день, допросив Симановича, Беляев с двумя контрразведчиками ломали головы, то ли как охранить Распутина, то ли как уклониться от этого, как было получено известие об аресте Ржевского. Срочно арестовать Ржевского и сделать у него обыск приказал Белецкий, увидев, что вся история выплывает наружу, — уже ходили слухи, что Распутин убит. При обыске у Ржевского было обнаружено неотправленное письмо к Хвостову и приобщено к делу, что вызвало ярость министра, считавшего, что жандармы обязаны были доставить ему это письмо в зубах". Вместо этого Белецкий доставил ему на подпись проведенное через Особое совещание постановление о высылке Ржевского в Сибирь за незаконную торговлю литерами. Ржевский был выслан 27 февраля — но это было только завершением разыгравшейся «на верхах» борьбы.

Штюрмер как опытный бюрократ скорее всего не стал бы сам докладывать об этом деле

царю, но тот, приехав 8 февраля из ставки для торжественного открытия Думы, сразу же узнал от царицы о готовящемся покушении на «нашего Друга». Вырубова, заехав к Штюмеру, вместе с письмом Ржевского Распутину передала высочайшее повеление начать расследование, и Штюмеру не оставалось ничего другого, как выполнять его. «Теперь... будут разбирать», — сказал Распутин филерам 9 февраля. Штюмер сам опросил Хвостова и поручил следствие своему старому приятелю Гурлянду, который оттер Манасевича-Мануйлова и убедил Ржевского изменить первоначальные показания о подготовке убийства на показания, что он ездил купить рукопись Илиодора. Возможно, Гурлянд действовал в интересах Хвостова, с которым тоже был в приятельских отношениях, возможно, выполнял указания Штюмера, который боялся, что версия о «министре-убийце» подорвет в глазах общества позиции всего правительства, во всех случаях Гурлянд не хотел «выносить сор из избы». Версия о «покупке рукописи» и была доложена Штюмером царю.

Хвостов рвал и метал, считая, что Белецкий подстроил ему ловушку. Тот возражал, что Хвостов сам сделал ошибку, не посвятив его в суть проблемы, хотя он и докладывал ему несколько раз о деле Ржевского. Хвостову предстоял 10 февраля доклад у царя, он нервничал, и Белецкий уверял его, что арест Ржевского в интересах самого Хвостова, подтверждая отсутствие связи между ними. Он предложил Хвостову, чтобы честно и решительно покончить со всем, подать государю составленный по филерским сводкам доклад о Распутине и тем самым «откровенно раскрыть его величеству глаза на личность Распутина и на рост антидинастического движения из-за него». Хвостов охотно согласился, и всю ночь Комиссаров и Глобачев, начальник Петроградского охранного отделения, работали над докладом. Утром Хвостов просмотрел и одобрил записку, и по дороге на вокзал Белецкий «еще раз постарался укрепить его в мужестве представить эту записку государю».

По возвращении Хвостов рассказал, что государь слушал его нервно, барабанил пальцами по стеклу, в соседней комнате о чем-то повышенным тоном говорил с государыней и простился с ним крайне сухо, оставив записку у себя. Белецкий мог торжествовать: Хвостов снова попался в его ловушку, учитывая судьбу Джунковского после отрицательного доклада о Распутине, теперь оставалось ждать увольнения Хвостова. Что-то, однако, насторожило его в рассказе министра, и, когда Хвостов вышел из кабинета переодеваться, Белецкий заглянул к нему в портфель: записка о Распутине лежала там в тех же переданных ему двух копиях и без всякой пометки государя о прочтении. Белецкий понял, что Хвостов снова вывернулся, но он не знал самого страшного для себя: вместо доклада о Распутине Хвостов сделал царю доклад о Белецком, который якобы сорвал план выкупить рукопись Илиодора и распустил вздорные слухи. Царь согласился на увольнение Белецкого от должности товарища министра с назначением генерал-губернатором в отдаленный Иркутск. Узнав об этом от князя Андронникова, Белецкий бросился к Хвостову: «За что?» Тот ответил, что дело можно поправить, если Белецкий все же ликвидирует Распутину.

Расстроенный Белецкий понимал, что Иркутск — это шаг к дальнейшему падению, умолял Питирима, Штюмера, Вырубову и Распутину быть твердыми с Хвостовым, но все же не решался открыть им подробности дела и тем самым только вызвал подозрение Распутину и Вырубовой. Последний удар он нанес себе сам, дав «Биржевым ведомостям» интервью с прозрачным описанием подготовки Хвостовым убийства Распутину — за «вынесение сора из избы» он был тут же уволен с поста генерал-губернатора в Иркутске, куда он не успел даже выехать. Распутин в своих телеграммах царице все же заступился за него, и он был оставлен в сенате, но его административная карьера кончилась.

Хвостову удалось убедить в своей невиновности царя, но не царицу — 10 и 11 февраля она пишет мужу, что они с Вырубовой переживают за «нашего Друга», тот нервничает, «кричит на Аню», боится выезжать, и им, двум женщинам, «не с кем посоветоваться». Совет был тем более нужен, что Труфанов, напрасно прождав обещанные за убийство деньги, отбил Распутину телеграмму: «Имею убедительные доказательства покушения высоких лиц твою жизнь. Пришли доверенное лицо». По словам А.Н. Хвостова, в качестве такого лица выбран

был генерал Спиридович, по словам Манасевича-Мануйлова, «Штюрмер командировал одного из состоящих при нем офицеров». Вслед за телеграммой в Петроград прибыла и жена Труфанова, с письмами от него Распутину и царице, где он сообщал подробности заговора и предлагал свою рукопись взамен за 60 000 рублей и разрешение вернуться в Россию. Это письмо царица передала Штюрмеру, который вместо ожидаемых тысяч и разрешения на въезд выдал жене Труфанова только 500 рублей на обратную дорогу.

Следствие Штюрмера, письма Труфанова и возможная миссия Спиридовича подхлестывали Хвостова: с одной стороны, он попытался привлечь на свою сторону Мануйлова и Спиридовича, одному обещал повышение жалованья, а другому продвижение по службе, «смазал физиономию сметаной», как он сказал, а с другой, запугать Распутина и Вырубову. Прежде всего, он распустил слухи, что Распутин уличен им в шпионаже в пользу немцев — для широкой публики — и что Распутин выдавал своим гостям проститутку за великую княжну Ольгу — для царской семьи. «Хотя я его не улавливал в шпионаже, но логически мне казалось, что он шпион», — пояснил Хвостов впоследствии, историю же с Ольгой повторял убежденным тоном, благо никто проверить не мог. Затем он приказал провести обыск у нескольких друзей Распутина и выслать Арона Симановича, причем повсюду трубил, что он арестует и самого Распутина. «Вы знаете меня: я человек без задерживающих центров, — весело говорил он журналистам 22 февраля. — Я люблю эту игру, и для меня было бы все равно, что рюмку водки выпить, арестовать Распутина и выслать его на родину. Может быть, не всякий жандарм согласился бы исполнить мое приказание, но у меня есть люди, которые пошли бы на это».

Испуганная Вырубова написала ему письмо, правдивы ли дошедшие до императрицы сведения об аресте Распутина, Хвостов начал всем его показывать, а Вырубовой по телефону предложил встречу и примирение. Вырубова сначала согласилась, но затем, по настоянию Распутина, отказалась. Взвесив положение, от поддержки Хвостова уклонился и дворцовый комендант Воейков, ранее поощрявший его разделаться с Распутиным.

18 февраля из ставки возвратился царь и прочел привезенное Распутиным досье, Распутин, по словам Хвостова, даже «требовал, чтобы сам царь производил допрос этих публичных женщин, которых он набрал в свидетельницы»

— то есть жен Ржевского и Труфанова. Интересно, что если сам А. Н. Хвостов относился с полным презрением к царю, поговаривал даже о своем намерении подсунуть ему какого-нибудь «чудотворца» похлеще Распутина, то царь все еще был под обаянием его «решительности» и колебался расстаться с ним. Картина подготовляемого убийства была ему теперь, однако, ясна.

27 февраля "царь позвал его, Распутина, причащаться и говеть, — с горечью рассказывал Хвостов, — и в день причастия они обнялись... Распутин говорит: «Мне нужно уехать, и я приехал проститься!»... Царь сказал: "Мы не расстанемся с тобою

— ни за что на свете!" Тогда-то он вынул бумажку: мою отставку...". «Сегодня я был в Царском Селе и видел самого папу, — рассказывал Распутин, — и он на меня орал и попрекал за Толстопузого... А я ему ответил: а разве Христос Иуду ко столу не звал и не считал за своего».

Три дня еще прошли в общем волнении. Хвостов писал царю, умоляя принять его, царица — что она «в отчаянии, что мы через Гр[игория] рекомендовали тебе Хвостова», что она боится за «нашего Друга и Аню», пока тот у власти. Штюрмер уговаривал Распутина на время уехать. «Вот ты каков!... — орал на него Распутин. — Убить меня хотите по дороге... Не поеду. Папа, мама приказали остаться — и останусь...» Митрополит Питирим крестился и шептал молитвы. Чем более «охрана» Распутина разрасталась — она включала агентов Петроградского охранного отделения, вернувшихся агентов Комиссарова, агентов

контрразведки Генерального штаба, агентов дворцовой охраны и агентов Манасевича-Мануйлова, — тем более Распутин волновался за свою жизнь. «Нет, паря, верных людей, все убийцы», — говорил он Спиридовичу.

3 марта, в ставке, царь подписал указ о смещении Хвостова и вслед за тем успокоил жену, что он его более не примет. Единственным утешением было для Хвостова, что он, уходя, захватил с собой миллион казенных денег. Позднее на все расспросы следственной комиссии он, следуя своей обычной тактике, отвечал, что эти предназначенные для подкупа печати деньги он раздал «либералам», имен которых не назовет. Заранее царь попросил Штюрмера выбрать ему трех кандидатов в министры, над этим же раздумывал и Распутин. «Вот сегодня утром Аннушка звонила и говорила: „Кого же назначить министром внутренних дел?“ Я сам, говорит, не знаю, кого. Щегловитов хочет, но он разбойник... Крыжановский меня тащит обедать, он хочет, но он — плут... Затем Белецкий хочет. Он, если меня не убивал, то наверное убил бы. А уж старикашка сидит, пусть он один и правит». Министром внутренних дел был назначен Штюрмер.

«Я еще раз вытолкал смерть... — сказал Распутин. — Но она придет снова... Как голодная девка пристанет...». 14 марта, чтобы немного успокоить донельзя взволнованные этим небывалым скандалом Думу, Петроград и всю Россию, он выехал в Покровское — на прощанье оставив царице яблоко.

Если принять всерьез мысль, что происходящее сначала как трагедия затем повторяется как фарс, то «фарс» 1915-1916 годов был повторением «трагедии» 1905-1906 годов.

«Несостоявшимся Витте» этого фарса стал А. В. Кривошеин, желавший создать министерство с бюрократическим опытом, но с опорой на общественные круги и способное провести «европеизирующие» страну реформы. Несомненно умный и хитрый человек, с достаточно широким государственным взглядом, он не обладал, однако, моральным напором Витте и его способностью идти на риск, стараясь оставаться в тени и полагаясь на закулисные интриги, — его карточные домики не выдержали сквознячка между ставкой и Царским Селом, и сам он незаметно удалился в отставку в октябре 1915 года.

«Несостоявшимся Столыпиным» стал А. Н. Хвостов, желавший создать министерство бюрократов, но способное манипулировать общественным мнением, опирающееся на «националистическое крыло» Думы и способное к реформам для охранения строя. Однако он сам, повторяя Столыпина ставкой на силу и пренебрежением к законам, не выдерживал никаких критериев государственного человека — напористый и неглупый, но болтун, шут, лжец, вор и потенциальный убийца, он превратил свое пятимесячное пребывание у власти в сплошную буффонаду и ушел с таким же громом, как и Столыпин, но не будучи убит и в конце концов никого не убив, а лопнув как зловонный пузырь.

К весне 1916 года — за год до революции — власть сосредоточилась в руках крамольного реакционера, если и видевшего, куда идет страна, то не имевшего сил изменить что-то. Страну могло спасти сильное правительство, готовое к кардинальным изменениям, она имела слабое правительство, не желавшее ничего менять. «Паралич и воли, и мысли», о котором девять лет назад предупреждал Столыпин, медленно прогрессируя, наконец полностью овладел русской властью.